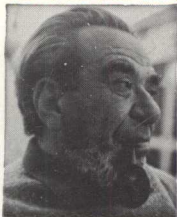


КОНТИНЕНТ14

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Вы, пожалуйста, простите меня за то, что я не мог создать вселенную по-лучше: без негодяев, без войн, без лжи и зла. Этого не мог сделать и Сам Господь Бог... А мы с Ним очень старались, уж поверьте.



Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, Помилуй нас! Дай нам силы стоять до конца, До завесы, которую Ты опустишь над нами...



Давид Дар

Звиад Гамсахурдия

...движение типа Хартии-77 развивает опасную для диктатуры терпимость между людьми, взаимную терпимость людей разных взглядов, оно учит людей уважать чужое мнение, и это истинная основа демократии... Молодежь оценила в Хартии прежде всего ее моральное содержание, ее человеческую ответственность и поэтому так охотно присоединяется к ней. Молодежь эта — тоже



совершенно разных убеждений в смысле политическом, философском, мировоззренческом, но на этой платформе она готова объединиться... Надо научиться жить в мире, независимо от различия убеждений.

Зденек Млынарж

Непонимание по отношению к советским диссидентам подразумевает, влечет за собой непонимание по отношению к нашим собственным свободам. И оно столь же опасно, как и непонимание, проявленное французами в 1937 году, перед лицом того, что происходило в



нацистской Германии. Вырванный из вселенной стен, молчания, кандального звона, я переселяюсь в созвездие своих мучений. В созвучие излучения, обращенного из себя и к себе. За решеткой звездный след, падшей звезды что происходило в свет: целая жизнь.

Андре Глюксман



Мирко Видович

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Александр Галич · Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Милован Джилас · Эжен Ионеско · Артур Кестлер
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Николаус Лобковиц · Михайло Михайлов
Эрнст Неизвестный · Андрей Сахаров · Игнацио Силоне
Виктор Спарре · Странник · Александра Толстая
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

Англия	Владимир Тельников Wladimir Telnikov, 28 St Luke's Rd London W 11
Израиль	Михаил Агурский Michael Agoursky, Ramot 6/30 Jerusalem, Israel
Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Юрий Ольховский George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W. Washington D. C. 200 16, USA
Япония	Госуке Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

14

Издательство «Континент»
1977

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Максимов — Ковчег для незваных.	
Из романа	5
Иосиф Бродский — Шорох акации. Письма династии	
Минь. Развивая Платона. Осень в Норенской	88
Давид Дар — Речь, которую я хотел бы произнести	
у своего гроба	94
Лев Халиф — Миниатюры из цикла «Мемориальный	
чердак»	113
Казимеж Орлось — Дивная малина. Окончание	117
Стихи грузинских поэтов. Перевод и предисловие	
Василия Бетаки	141
Гелий Снегирев — Мама моя, мама...	152
Мирко Видович — Из книги «Белый рыцарь». Перевод	
Н. Горбаневской	193

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Сергей Левицкий — Истоки и перспективы свободы	201
---	-----

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Т. Женклис — Прощаясь с Антанасом Снечкусом. —	
Чего мы ждем от эмиграции? Вступительная	
заметка А. Штротаса	229

ЗАПАД — ВОСТОК

Личная ответственность как общая проблема	
Востока и Запада. Круглый стол «Континента»	251

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Алексей Орлов — Такова спортивная жизнь	279
--	-----

ИСТОКИ

Виктор Каган — Постскриптум к приказу	301
--	-----

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- Алексей Лосев — Ниоткуда с любовью... (Заметки
о стихах Иосифа Бродского)** 307

НАША ПОЧТА

- Ф. П. Богатырчук — Камень преткновения для вза-
имопонимания российской и украинской эмиграции** 333

- КОЛОНКА РЕДАКТОРА** 337

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Вик. Соколов — Издательство «Хроника»** 341
К. Померанцев — Соблазн смерти 344
В. Бетаки — Звездный странник 350
Анатолий Гладилин — «Стальная птица» 356
Д. Черн — «Аполлон» нашего времени 359

- КОРОТКО О КНИГАХ** 369

- ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ** 385

НАША АНКЕТА

- По обе стороны Спасских ворот. Интервью со
Зденеком Млынаржем** 397

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

КОВЧЕГ ДЛЯ НЕЗВАННЫХ

Из романа

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Раскаленные жальца песчинок цепко впивались в каждую пору кожи. Тело хрупко и болезненно позванивало, как бы сотканное из огненной, пористой массы. Губы, полость рта, гортань, будто сплошная, наспех выплавленная труба, исторгали знойно сипящую боль. Но люди, множество людей, растянувшись на многие горизонты, всё шли и шли сквозь этот песок, и никто из них не ведал, где и когда закончится этот их поистине безумный путь.

Песчаное царство сделалось колыбелью, жилищем этих людей. Их жизнь завязывалась и распадалась по его зыбким, но неумолимым законам. В этом царстве, как и во всяком другом, особи каким-то чудом находили друг друга, и от их любви на свет появлялись дети, чтобы, едва встав на ноги, пойти бок о бок с другими дальше. В конце концов выжило поколение, какое, родившись в движении, считало, будто это движение и есть смысл их существования. Им не у кого было спросить, на могилы они не оборачивались, а до тех, которые шли впереди и всё знали, было так далеко, что даже птице туда пришлось бы лететь много дней и ночей подряд.

Но если бы кто-нибудь мог мысленно представить Идущего Впереди, то он увидел бы высокого старца

с глубоко запавшими глазами василиска и горькой складкой у твердых губ. В нем не было возраста, ему стукнуло не меньше Времени, а может, и еще больше. Он шел, опираясь на карагачевый посох, шел, почти не глядя под ноги, казалось — наугад, не сообразуясь ни с целью, ни с выгодой пути. Какое-то затаенное, но точное знание руководило им в его намерениях и поступках. Он знал не только, где и когда они остановятся, — но и то, что творилось у него за спиной, он тоже знал. Знал, но не оборачивался, и лишь с течением лет горькая складка у твердого рта становилась всё горше, а поступь, тем не менее, всё упорней и стремительней.

Рядом с ним, приотстав на полшага, все эти годы тенью следовал крепкий еще муж, в легкой походке которого чувствовались игра ума и пытливость характера. Он безоглядно верил старцу, верил его горней мудрости, высокой миссии и приобщению к Свитку Времен. Ему еще помнился день, когда они выходили из Египта: опрокинутое в зеркало водоема утро, морозная тишина глинобитных улочек и обжигающее поветрие со стороны пустыни. Тогда он был чуть ли не мальчиком, девушки даже не опускали глаз при его появлении, а мелюзга зазывала в свои игры, но с тех пор минуло столько лет и произошло столько событий, что он, по его собственному мнению, мог бы давно стать дедом или даже прадедом. Но, посвятив себя Старцу, он уже не помышлял о женщинах, и плоть более не беспокоила его.

Он считал бы себя счастливым человеком, если бы не стал замечать за собой в последнее время пугающих его странностей. Скорее даже одной странности: ему вдруг порою начинало казаться, что здесь он уже проходил. Уверенность была настолько поразительно полной, что его подмывало зажмуриться, стряхнуть наваждение и более не возвращаться к этому прельстительному соблазну. Но жуткая фата-моргана

повторялась всё чаще и чаще, подвергая его унынию и смущению духа.

Однажды он всё же не выдержал, слишком уж зеркальным показалось сходство: еле заметный выступ глинобитной руинки в обрамлении случайных колючек. Ему вдруг почудилось, что он медленно сходит с ума: руинка была выщерблена по краям, и оттого в середине ее образовался неровный, но характерный конус, точь-в-точь такая же попадалась им на пути долгое время тому. Белая тень безумия коснулась его головы. Не наказывай меня, Господи, не лишай меня разума!

Глубокой ночью, когда над горизонтами горизонтов опустилось сонное забытие и последние уголья дотлевали под пеплом вечерних костров, он неслышно подполз к Старцу и тихо пожаловался:

— Прости меня, ребе, но мне кажется, что я впадаю в безумие.

— Говори.

— У меня такое чувство, будто я уже видел местности, где мы проходим сейчас. Это или бездна, или соблазн, отврати от меня наваждение, если можешь.

— Забудь об этом.

— Но мне страшно, ребе!

— Тебе будет легче, если я скажу, что всё так и есть на самом деле?

— Пощади меня, ребе!

— Ты хочешь пощады или правды?

— Достанет ли у меня сил вынести эту правду?

— Ты уже всё знаешь, и ты в руках Господа.

— Но зачем, зачем, ребе? Зачем столько лет мы устилаем свой путь могилами?

— Но разве ты не слышишь крика новорожденных?

— Чтобы завтра их погрести? Зачем?

— Затем, чтобы, похоронив рабов, мы вышли отсюда свободными и навсегда забыли о рабстве.

Если ты не готов идти дальше, останься и обратись в тлен легко и бездумно.

— Я с тобой, ребе...

И, словно разбуженный его ответом, под ногами у них дрогнул и пополз песок, а следом, из самых глубин подпочвенных недр, докатился протяжный и грозный гул, напоминая о хрупкости и тщете земной тверди.

2

Мокрые, без листочка тополя под окном источались утренней изморозью. Соседние дома гляделись сквозь них особенно подслеповато и уныло. Тусклое, в коротких воробьиных росчерках небо над городом не обещало погожего дня. От трех огромных окон внутрь тянуло устойчивой зябкостью: под главк была наскоро приспособлена здешняя школа-десятилетка, отчего кабинет Золотарева всё еще упрямо смахивал на заурядную классную комнату. Ни штучная люстра, ни увесистые ковры, ни тяжеловатая, красного дерева меблировка так и не смогли сановно замкнуть это, будто специально приспособленное для сквозняков и беготни, пространство.

После уютных и хорошо протопленных, в скрадывающих звуки портьерах и занавесках, кабинетов берлинского пригорода Карлсхорста, где Золотарев поочередно сменил несколько отделов в Экономическом управлении Штаба СВА, он с трудом свыкался с забытой было за эти годы угрюмой бесприютностью родимых стен.

Назначение застигло его врасплох. Еще за день до этого он даже помыслить не мог, что планида его повернется так круто и непостижимо. О том, что в Берлин должен вот-вот нагрянуть «сам», поговаривали давно, но, наверное, именно потому мало кто воспринимал эту байку всерьез. Даже — впрочем, слегка,

на большее никто не осмеливался — разыгрывали друг друга, оповещая о благополучном прибытии высокого начальства, а когда оно действительно нагрянуло, все затаились по своим присутственным норам в ожидании суда и расправы. Этому в первую голову способствовала мрачная слава гостя, курировавшего на верхах органы внутренних дел и госбезопасности. Те, кто когда-либо хоть косвенно сталкивался с ним, вспоминали об этих встречах без особого энтузиазма.

Золотарев ждал, как другие. Он давно усвоил спасительное правило любой службы: позовут не позовут — жди, будь начеку, приготовься во всеоружии. Он дотошно перебрал в памяти все возможные упушения по своему отделу, собрал в тисненую, специально для торжественных случаев, папку важнейшие бумаги, продумал манеру говорить и держаться: «Вроде ничего не забыл, — мысленно подытожил Золотарев, — прнеси, Господи! Да минует меня чаша сия!»

Но «чаша сия» его все-таки не миновала. На другой день к вечеру у него на столе призывно проворковала внутренняя линия:

— Ноги в руки, Золотарев, — в угрожающем полупешепоте старшего адъютанта начальника Управления, как ни странно, сквозило нечто обнадеживающее, — и единым духом — на ковер.

Взгляд искоса вниз (в порядке ли мундир?), левой рукой слегка по волосам (не взлохмачен ли?), тисненую папку в правую руку (как полагается согласно канцелярской субординации!), стремительный и бесшумный бросок вдоль коридора, и через минуту, не более, он уже тянул на себя ручку обитой кожей двери начальника Управления.

Человек в штатском за огромным генеральским столом даже не поднял на вошедшего головы. Так же безразлично, не отрываясь от бумаг, выслушал высокий гость и его уставной рапорт, словно даже не читая, а исследуя каждую страницу и как бы силясь

вникнуть в смысл того, что таилось не в самом тексте, а за ним — за этим текстом. Резко, рывками листая бумаги, он нетерпеливо посверкивал стеклышками пенсне, и безброво женственное лицо его при этом то и дело капризно передергивалось. Так же, не поднимая головы от бумаг, он внезапно огорошил Золотарева:

— Рыбачить любишь?

— Так точно, товарищ Маршал Советского...

— Меня зовут Лаврентий Павлович, — тот впервые поднял на Золотарева глаза: в обратном фокусе увеличительных стекол они казались особенно колючими, — так удобнее и короче. — Едва заметный грузинский акцент только подчеркивал ленивую властность тона. — Это хорошо, что любишь рыбачить. Я ценю, когда человек любит свою работу. У меня есть для тебя такая работа. Начальником главка дальневосточных промыслов пойдешь?

— Готов выполнить любое задание партии и правительства! — Жаркая волна восторга и благодарности подхватила Золотарева. — Дорогой Лаврентий Павлович...

— Ладно, ладно, — лениво махнул на него тот пухлой ладошкой, — верю. — Он медленно встал, отодвинул от себя папку с бумагами (только тут, мгновенным наитием, Золотарев определил, что это его «личное дело»), вышел из-за стола и, заложив руки за спину, вразвалочку закружил по кабинету. — Но ты, Золотарев, должен знать, что не в рыбе суть. Мы доверяем тебе большое политическое и весьма деликатное дело. Наши доблестные воины с боями отвоевали у японских захватчиков исконно русские земли: Южный Сахалин и Курильские острова. Твоя задача — закрепить этот успех. Мы дадим тебе деньги, людей, технику, а ты нам — крепкую советскую власть на новых землях. Понятно?

— Так точно, товарищ... Лаврентий Павлович!

— Ты знаешь, что такое большевик, Золотарев? — тот остановился прямо напротив, глядя на него в упор, и тут же продолжил, не ожидая ответа. — Большевик ставит перед собой цель, прищуривается и идет к своей цели. Ничего вокруг не видит, только цель, и к ней идет, — маршал в штатском наглядно показал, как надо прищуриваться и каким образом идти. — Понятно?

— Так точно, дорогой Лаврентий Павлович...

Но тот уже повернулся к нему спиной:

— Иди.

Через три дня Золотарев обживал новый кабинет в Москве, на Верхнекрасносельской. С молодых канцелярских ногтей усвоив безошибочное правило «начальству виднее», он не задумывался над тем, почему выбор пал именно на него. Сейчас он был полон восхитительного ощущения своей власти над огромными территориями и десятками тысяч людей. Одно лишь сознание того, что по первому его приказу все эти земли и массы оживут, придут в движение, вызывало в нем прилив горделивого воодушевления. «Знай наших, — почти пел он себе, — авось, тоже не лыком шиты!»

Золотарев машинально листал представленные ему на визу списки оргнабора, небрежным взглядом скользя по плотным колонкам цифр и фамилий, когда рассеянное его внимание вдруг напряглось и мгновенно выхватило из машинописного ряда: «Самохин Федор Тихонович, тысяча девятьсот девятнадцатого года рождения. Место рождения: деревня Сычевка, Узловского района, Тульской области».

Ошибки быть не могло: другой Сычевки, что в Узловском районе, да еще в Тульской области, в природе не существовало. И Самохины в этой деревне имелись одни. И парня самохинского, местного заводилу, Золотарев не забыл. «Вот сиротское счастье, — в сердцах посетовал он про себя, чувствуя, как стреми-

тельно улетучивается из него недавнее воодушевление, — земляков мне только под началом не хватает!»

О Сычевке и о сычевцах Золотарев обычно старался не думать. Почти всё, о чем ему не хотелось бы вспоминать, было связано у него с родной деревней. Еще в молодости забросив крестьянство, старший Золотарев подался на Сызрано-Вяземскую железную дорогу паровозным кочегаром, но из немалого по тем временам и деревенским меркам заработка своего до дому доносил меньше половины, оттого хлеб у них бывал на столе через день, а то и реже. Тихий и уступчивый по натуре, отец во хмелю терял рассудок и тогда доставалось всем без разбору: и жене, и сыну, и тестюшке с тещей. Похмельными утрами он вздыхал, казнил, даже в церковь заглядывал, но в день полочки все затевалось сначала. По той причине семейство их на деревне считалось из последних, что стоило младшему Золотареву больших обид и синяков: не дразнил и не бил его только ленивый.

Долгий кошмар этот оборвался внезапно и драматически: отец по пьяной лавочке попал под маневровый паровоз, и хлопотами путейского начальства Золотарева определили в дорожный интернат на полное довольствие. Здесь с воодушевлением новообращенного он бросился в общественную деятельность, где вскоре, как сын беднейшего пролетария, и преуспел. Перед самой войной Золотарев уже был секретарем Узловского райкома комсомола, но, даже прочно защищенный положением и властью, он все же старался по возможности объезжать родную деревню стороной. Он хотел забыть, избыть в мыслях душный кошмар своего сычевского прошлого, но оно, словно ржа в зерне, то и дело упрямо проступало в памяти.

Когда Золотарев впервые сел за письменный стол, ощутил под собой твердую устойчивость стула, вдохнул бессмысленно хлопотной атмосферы присутственного места, он вдруг ликующе осознал, что наконец-то

обрел спасение. Здесь, где авторитет решался не кулаками или луженой глоткой, а тонким умением вовремя промолчать и так же вовремя высказаться, он очутился в родной ему стихии, и ничто отныне, кроме нового светопредставления, не могло бы выбить его с занятой позиции. И он тихой сапой дрался не на жизнь, а на смерть за каждую пядь своего места под солнцем, расталкивая локтями близстоящих, а иногда и перешагивая через них, пока, лихо меняя очередной стул на лучший, не пересел в номенклатурное кресло и не пророс в него всеми своими конечностями и ко-
решками.

По той же причине Золотарев не женился по сию пору: боялся в семейной сутолоке упустить еще один возможный шанс в своем винтовом подъеме. Женщин в его жизни было наперечет, и ни одна из них не оставила сколько-нибудь внятного отголоска или памяти. Однажды только было поддался он жаркому наваждению, и ослаб сердцем, и малодушно изменил себе, своему раз затверженному правилу, и едва не поплатился за это, если не жизнью, то биографией во всяком случае.

Память было вырвала из прошлого крошечный сколок давней яви, но в этот момент зазвонил внутренний телефон: Золотарева вызывали к Министру.

По той подчеркнутой значительности, с какой Министр встал ему навстречу, Золотарев догадался, что разговор предстоит долгий.

— Здравствуйте, товарищ Золотарев, садитесь, — бульдожий подбородок Министра выжидающе напрягся: в меру долгая пауза, с достоинством выдержанная вслед за этим, лишь подчеркнула важность момента. — Сегодня, — он взглянул на часы, — ровно в двадцать один час ноль-ноль минут нас с вами примет, — голос Министра пресекся торжественным хрипом, — товарищ Сталин. Надеюсь, вы понимаете, — корот-

кая, под прямым углом шея его еще более отвердела, — что это значит?

Новость, на миг жарко сдавив гортань, горячей волной ударила в голову: он слишком хорошо знал, что́ это значит. Школа, которую ему пришлось пройти за годы работы в аппарате и в органах, в достаточной мере охладила прежний юношеский пыл, отложив в нем лишь смесь страха и восхищения перед человеком, достигшим такого положения, когда не нужно опасаться соперников или искать чьей-то дружбы. Слепой в прошлом энтузиазм сделался для него сознательной и удобной личиной, с помощью которой он мог свободно плавать в капризных водах номенклатурного моря. Слова в этом море не содержали в себе прямого, соотнесенного с действительностью смысла. Слово здесь воспринималось только как пароль, символ, опознавательный знак. Следовало быть постоянно начеку, существовать как бы в двух ипостасях: субъекта — и слушателя, способного вовремя остановить, поправить самого себя. Лишний звук, избыточная нота, неосторожно составленное выражение влекли за собой гибель или забвение. И вся кружевная паутина этой чуткой сигнализации своей запутанной спиралью восходила к одной-единственной точке, к одному человеку и управлялась оттуда умело и неумолимо. Но баловням судьбы, чудом взлетавшим по ее смертельным лабиринтам к точке всех пересечений и соприкоснувшимся с нею, пути назад не было. Каждый из них становился тем трепетным светлячком, который сиял ровно до тех пор, пока на него падала тень этой точки. Поэтому предстоящий прием сулил Золотареву не одни лишь радужные перспективы: высота открывалась головокружительная, но бездна под нею и того выше.

— Такая честь, товарищ Золотарев, не всякому достается. — Снова взял Министр высокую ноту, но не выдержал тона, обмяк, лицо по-детски расплылось

мясистой гармошкой, обнажая прокуренные зубы. — И нас не забыл. Значит, и мы не последние. А то на Совете Министров мы, как интенданты для фронтовиков, вроде пасынков, всё в последнюю очередь, одни шишки собираем и никакой тебе благодарности. Война кончилась, теперь мы — на коне, народ за настоящую работу взялся, кормить надо. Товарищ Сталин зря не позовет, — Министр выжидательно устался на него. — О молодежи тоже думает, о молодых кадрах заботится, перспективу видит, нам — старикам — достойную смену готовит...

Министр явно заискивал перед Золотаревым, и гость знал действительную подоплеку этой искательности и потому держался на равных, хоть и не выходя за пределы, дозволенные субординацией: так-то оно, подсказывал ему опыт, надежнее. Ведомство, которое направило его сюда, и те, кто командовал этим ведомством, фактически держали в своих руках все нити государственного механизма и осуществляли над ним тотальный контроль, мгновенно и жестко реагируя на малейшие отклонения от общепринятых и одобренных сверху норм, принципов, установлений. Человек, отпечкованный этим ведомством в любую ячейку правительственной машины, становился в ней как бы негласной параллельной властью, готовой в необходимый момент заменить уже существующую. Оттого Министр и вибрировал заискивающе в разговоре с ним, что сам в свое время заместил предшественника при подобных же обстоятельствах, прекрасно отдавая себе отчет в том, чем это для последнего кончилось.

— Что ж, — Министр взглянул на часы, поднялся, его массивная фигура монументально подобралась; он глубоко, всей грудью, вдохнул воздух, словно перед прыжком в воду. — Пора.

Москва за стеклом автомобиля уныло растекалась в холодящей изморози. Даже броские пятна побуревших от воды лозунгов и полотнищ не скраши-

вали ее угрюмой промозглости, в которой озабоченно двигался, перемещался, маячил людской поток. Золотарев, как почти всякий провинциал, не любил столицы, но неизменно тянулся к ней, ибо она таила в себе возможности, осуществление которых позволяло ему свысока смотреть на свое деревенское прошлое, будучи одновременно наградой, призом, компенсацией за все обиды и унижения пройденного пути. Откинувшись сейчас на спинку сиденья и вполуха поворотясь к собеседнику, Золотарев с горделивым удовлетворением отмечал и заискивающие нотки в голосе собеседника, и добротность своей одежды, и почтительность козырявших им вслед постовых милиционеров. «Пошла жизнь, — усмехался он про себя, — видел бы это батя покойный!»

— Поговаривают, — Министр делался все доверительнее, — крупные перемены намечаются. Кое-кому из наших полководцев военный хмель в голову вдарил, наполеонами себя возомнили, гонор покоя не дает, забываться стали. — В ожидании ответной откровенности он даже слегка подался к соседу. — Головокружение от успехов, так сказать. Необходима общая перестройка. План «на ура» не возьмешь, здесь другой стиль руководства требуется. Молодежь надо выдвигать, молодежь, старики застоялись, задубели. — Не чувствуя взаимности в собеседнике, Министр осекся и тут же без стеснения сменил тему. — Курилы у нас сейчас самое слабое место, необходимо...

Пропускная система Кремля действовала с безукоризненной четкостью хорошо отлаженного автомата. После того как они, миновав Спасские ворота, остановились у правительственного подъезда, их уже не оставляло пристальное внимание контрольно-пропускной службы внутренней охраны. Проверка документов начиналась в вестибюле, а затем вновь и вновь происходила на каждой лестничной площадке, переходе и повороте, пока они не вышли в коридор, где по обеим

сторонам, с интервалами в несколько шагов друг от друга, вытягивались по стойке смирно неподвижные, словно изваяния, офицеры госбезопасности, каждый из которых при их приближении слегка раздвигал затвердевшие губы:

— Спокойнее, товарищи... Спокойнее, товарищи... Спокойнее, товарищи... Спокойнее...

И от этого почти дружеского предупреждения сердце еще больше напрягалось и обмирало.

Человек, поднявшийся им навстречу в приемной, был мал, желт, худ, с круто срезанным назад голым лбом:

— Здравствуйте, товарищи. — Глубоко запавшие, цвета талой воды глаза изучающе посверливали вошедших. — Сейчас товарищ Сталин примет вас. Предупреждаю: вопросов не задавать, отвечать только, когда спросят, не перебивать, не пускаться в рассуждения. Понятно, товарищи? — Не ожидая ответа, он бесшумно выскользнул из-за стола, летучей походкой проследовал к двери кабинета, скрылся за нею и мгновенно, будто по волшебству, появился оттуда, уступая им дорогу. — Пройдите к товарищу Сталину.

Сталин сидел за столом в глубине кабинета и что-то писал, заслонив, словно от солнца, глаза ладонью. Ни звуком, ни жестом не отозвавшись на их появление, он продолжал писать, а они, устремленные жадным вниманием в его сторону, молча теснились у порога в ожидании кивка или слова. Провальной паузе уже, казалось, не будет конца, когда он, наконец, отложил перо, опустил со лба ладонь, придвинул к себе раскрытую этикеткой к ним коробку «Северной Пальмиры», взял оттуда папиросу, долго и старательно разминал ее между пальцами, закурил и лишь после этого встал и вышел из-за стола, оказавшись сутулым, но еще крепеньким старичком в маршальской паре, заправленной почему-то в щегольские, ручной работы бурки.

— Курилы, — размеренно, без всякого вступления начал он, медленным шагом пускаясь вдоль кабинета, — это наше дальневосточное подбрюшье. — Слово, видно, ему понравилось. — Вот именно, подбрюшье. Наш форпост на территории противника. — Он снова одобрительно повторил: — Главный дальневосточный форпост. Не следует забывать также, что это исконно русские земли, которые отошли к японцам в результате проигранной царизмом войны. — Его кавказский акцент, о котором так много кругом говорилось, как бы подчеркивал вескость сказанного. — Развитие нашей рыбной промышленности на Курилах не только и не столько экономическая задача, но прежде всего задача политическая. Ваш главк, товарищ Золотарев, играет сейчас роль нашего полпреда на этих территориях. Выходит, вы, товарищ Золотарев, — тут он впервые поднял на гостей тяжелые, в склеротических прожилках глаза, — наш курильский посол или, если хотите, наш государственный генерал-губернатор. — Чувствовалось, что это сравнение его развеселило, он проследовал мимо них, удовлетворенно потирая руки. — Мне вас рекомендовал Лаврентий Павлович как дельного и перспективного работника. — Он вдруг остановился и сбоку, стоя вполоборота к ним, быстро взглянул на Министра. — А вы как думаете, ваше мнение, товарищ Министр?

Тот, мгновенно усыхая в размерах и молитвенно подбираясь, рассыпался захлебывающейся готовностью:

— Так точно, товарищ Сталин! Товарищ Золотарев — молодой растущий специалист с большим опытом руководящей работы. — В вопросе хозяина тайл-ся подвох, и поэтому он спешил, торопился опередить события. — Считаю, что на любом участке Золотарев оправдает высокое доверие партии и правительства.

Тот, повернувшись к ним спиной, вновь двинулся вдоль кабинета, видно, считая тем самым вопрос исчерпанным.

— Японские милитаристы с помощью своих океанских друзей несомненно попытаются в будущем предъявить права на Курильские острова. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность — вот наша генеральная линия в освобожденных районах...

Золотарев и раньше краем уха слышал, что вождь рыж, рябоват, длиннорук, но теперь, очутившись лицом к лицу с оригиналом, он заставлял себя не замечать этого, стараясь запомнить другие, более существенные для себя и своего будущего черты и детали. Он верил, что, начиная с сегодняшнего дня, его судьбе суждено круто и бесповоротно измениться: в иерархическом подъеме он выходил на последнюю прямую, и на этом пути любой ложный шаг мог стать для него смертельным.

Сталин производил на Золотарева впечатление человека, который постоянно к чему-то прислушивается, чего-то ждет, чем-то источается, выражая в разговоре лишь внешнюю связь с окружающими обстоятельствами. Казалось, он обкладывает, огораживает, баррикадирует словами то, что происходит у него внутри, от проникновения или вмешательства извне. Полая необязательность этих слов как бы обеспечивала ему надежность бесконечной самообороны.

— Как говорит русская пословица: делу — время, потехе — час. — Сталин решительно загасил папиросу в пепельнице. — Посмотрим фильм, товарищи. Хороший фильм знаменитого Чарли Чаплина. — Он жестом пригласил их следовать за собой. — Товарищ Сталин учит, что в нашей стране, — не скрывая усмешки, он распахнул перед ними боковую дверь, — каждый имеет право на труд, на отдых и на образование.

Подобное приглашение на кинопросмотр считалось с его стороны, как было известно, знаком особого внимания, отчего Золотарев сразу же приосанился и осмелел.

Чуть не на цыпочках они друг за другом проследовали мимо Сталина в открытые перед ними двери, оказавшись в небольшом зале с экраном во всю фронтальную стену и несколькими отдельными столиками с приставленными к ним стульями, где их встретил всё тот же немногословный человек из приемной, кивком головы указавший гостям, на какие места им надлежит сесть:

— Внимание, товарищи, — оповестил он их шепотной скороговоркой, — не оборачиваться, не переговариваться между собой, без разрешения не вставать.

И растворился, исчез во внезапно наступившей темноте. Где-то за спиной у них прошелестел ряд неразборчивых фраз на два голоса: одни с приказной, другие с услужливой интонацией, после чего вспыхнул экран, на котором появился чужак в нелепой паре, в котелке и с тростью, попадавший на каждом шагу в самые неожиданные и смешные ситуации. Все фильмы с ним Золотарев просмотрел еще до войны и по нескольку раз, потешаясь и давясь от смеха, но только теперь, в этом маленьком зале, ощущая у себя за спиной присутствие силы, перед лицом которой вещи, события и люди казались уменьшенными до микроскопических размеров, он вдруг увидел, что смеяться здесь, собственно говоря, не над чем, что чужаку на экране вовсе не весело и что в карусельной веренице его неудач кроется какая-то не подвластная простому смертному закономерность...

Свет зажегся одновременно с появлением человека из приемной, с той же шепотной скороговоркой над их ухом:

— Товарищи, прошу следовать за мной. К товарищу Сталину не обращаться. Головы не поворачивать.

Гуськом, след в след, они двинулись к выходу. Сталин сидел за столиком возле двери, заслонив, как и в самом начале, словно от солнца, глаза ладонью. Перед замыкавшим шествие Золотаревым он слегка раздвинул пальцы, как бы желая еще раз в чем-то в госте удостовериться, и тот, с обвалившимся вдруг сердцем, заметил, что глаза его мокры от слез.

«Вот те на, — опамятовался Золотарев по дороге, — и на старуху бывает проруха. Тяжела ты, шапка Мономаха...»

На обратном пути Министр подавленно молчал и лишь у самого дома, выходя из машины, глухо выговорил:

— Указания вождя, товарищ Золотарев, для нас руководство к действию. — Видно, смирившись со своей обреченностью, он все же решил любыми способами оттянуть неизбежное. — Завтра же оформляйте командировку на острова, в сроках не стесняйтесь, новая обстановка требует внимательного изучения и анализа. Кстати, по пути загляните в наше Байкальское хозяйство, присмотритесь к производству, это вам пригодится на месте. Утром я подпишу приказ. До завтра.

Он с силой захлопнул дверцу, и тяжело, как бы сразу состарившись, двинулся через тротуар к подъезду.

«Укатали сивку крутые горки, — мысленно посочувствовал ему Золотарев. — Вот она, судьба наша, индейка!»

3

Золотареву необходимо было как можно скорее освободиться от переполнявшей его ноши, выложить, рассказать кому-то обо всем случившемся с ним в этот

вечер. Друзьями в Москве Золотарев обзавестись не успел, да, по совести говоря, и не спешил ими обзаводиться, времена не располагали к откровенности, родни столичной за ним тоже не числилось, поэтому, расставшись с начальством, он попросил отвезти себя на Преображенку, по единственному частному адресу, который значился в его записной книжке: «Улица Короленко, дом 6, квартира 11, Кира Слуцкая».

С Кирой он встретился в Потсдаме, куда она приезжала с концертной бригадой. Во время ужина, устроенного городским комендантом в честь москвичей, они оказались рядом за столом. Много пили, дурачились и танцевали, а потом он увез ее к себе. После той единственной ночи у них завязалась ни к чему не обязывающая переписка: он делился с ней подробностями своего полувоенного быта, она отвечала, описывая ему ровным почерком школьницы столичные новости из актерской или околослитературной жизни, со смешными и зло подмеченными деталями. Тон ее письма носил слегка снисходительный характер обращения старшего к младшему, хотя они были однолетками, но это лишь забавляло его, представляясь ему с высоты того положения, которое он занимал, наивным ребячеством. Кира была не замужем, считая, как призналась, брак для актрисы делом излишне хлопотным, жила одна, родители сгинули в ленинградской блокаде, и, видно, это ее с ранней молодости самостоятельное одиночество проступало в ней резкостью мысли и категоричностью суждений.

Перебравшись в Москву, Золотарев как-то позвонил ей, но не застал, а затем, закрутившись в организационной суматохе, никак не мог выкроить времени, чтобы вновь попытаться ее найти, и поэтому сейчас, по дороге к ней, он боялся вновь не застать Киру дома или, еще хуже, застать не одну, тем более, что ехал без предупреждения.

Золотарев с трудом отыскал в темноте холодного коридора необходимый номер, долго, обжигаясь, палил спички, высматривая фамилию Киры против пуговичного набора квартирных звонков, еще дольше звонил, прежде чем услышал за дверью ее торопливые шаги.

— Заходи. — Увидев его, она несколько не удивилась, будто они еще вчера виделись. — Здравствуй. Только тише. Соседи спят. — Это была ее манера — разговаривать отрывистыми фразами. — Вот сюда.

Он так спешил, горел, торопился выложиться, что, еще не раздеваясь, выпалил:

— Я только что от товарища Сталина!

— Да? — вяло молвила она, копошась у плитки. — И что же?

Но сдержанность Киры не охладила его порыва. Горячась, сбиваясь и перескакивая с одного на другое, он рассказывал ей о происшедшем со всеми возможными подробностями, не забыв, разумеется, и замеченных им слез на глазах Сталина. Когда Золотарев наконец умолк, Кира всё еще стояла спиной к нему, склонившись над плиткой с чайником. В небольшой, в одно окно комнате было пустовато и серо. Стол, безликий шкаф, горбатое, в ветхой бахrome кресло, тахта, несколько фотографий на пожелтевших обоях почти не скрашивали ее безликой неуютности. Казалось, что хозяйка, наспех и кое-как расставив здесь случайные предметы, тут же без сожаления забыла о них: отсек-одиночка, как две капли воды похожий на тысячи таких же в утлом ковчеге столичного поезда.

— Хорошая режиссура, — не оборачиваясь, откликнулась она. — Классический Станиславский.

— Что? — Он сначала не понял ее, а когда понял, кровь бросилась ему в голову. — Ты отдаешь себе отчет...

— Отдаю, отдаю, милый, я не самоубийца. — Она повернулась, подошла к нему и, успокаивая, взъерошила ему волосы. — Просто, Костя, в большом деле без режиссуры нельзя. Великие люди склонны к театру, артистизм натуры сказывается.

— Можно подумать, что ты каждый день встречаешься с великими людьми...

— Нет, но моя подруга близка с одним человеком оттуда.

Золотарев мгновенно насторожился: ему немало пришлось слышать о театральных похождениях своего руководства.

— Может быть, и ты тоже?

— Мне туда дорога заказана, — буднично, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся, сообщила она. — Я еврейка, ты разве не замечал? Еврейки у вас теперь не в чести.

Новость скорее озадачила, чем встревожила его. До сих пор ему вообще не приходилось всерьез задумываться над этой проблемой. Она попросту для него не существовала. С евреями Золотарев сталкивался чаще всего лишь по службе. От всех прочих сослуживцев в большинстве случаев они отличались только деловитостью, умением принаравливаться к обстоятельствам и склонностью к легкой общительности. Но продвижение его по иерархической лестнице было таким безоблачным и крутым, что ревности к их талантам он не испытывал. И хотя до него доходили смутные слухи о перемене наверху курса по отношению к ним, особого значения он этому не придавал: «Сегодня так, а завтра по-другому!»

— Ерунда, — он встал и привлек ее к себе, — выброси из головы, какое это имеет значение, я у тебя паспорта не спрашиваю, откуда ты знаешь, может быть, я — татарин?

И вдруг его словно обожгло: он увидел в ее глазах столько робкой признательности и такую благодар-

ную мольбу, что не выдержал и, боясь собственной слабости, отвернулся.

В эту ночь он как бы впервые разглядел Киру: в ней удивительно сочеталась ранняя зрелость женщины с доверчивой наивностью подростка, что подчеркивалось ее мальчишеской стрижкой и мягким, почти детским овалом лица. Забываясь, она закрывала глаза, отчего выражение мольбы и признательности на этом ее лице становилось еще более нестерпимо обезоруживающим.

— А знаешь, — приходя в себя, жалась она к нему, — говорят, на этих Курилах бывают страшные землетрясения.

— Наверное, бывают, — бездумно поддакнул он. — Ведь это рядом с Японией. — И потерял виском о ее висок. — Тебе-то чего бояться, оттуда до Москвы, как до луны.

— Как сказать! — еще теснее прижималась она. — У нас зимой тоже были толчки.

— Какие уж там толчки, разговоров больше.

— Всё равно страшно.

— Спи, дурочка, я с тобой.

— Я уже сплю...

Утром он не стал будить ее, тихонько собрался и, уходя, оставил записку: «Мне сверху видно всё, ты так и знай. Целую». И лишь на улице, с удивлением к себе, отметил мысленно, что еще никогда не писал женщинам записок.

Небо над Москвой стерильно очистилось, день обещал быть солнечным, и, пешком пересекая пустынную столицу, Золотарев не сомневался, что отныне собственная судьба у него в руках, что поездка на Курилы станет началом его очередного восхождения и что главное в отведенной ему ниве жизни только начинается.

В полдень военный самолет, взмыв над Подмосковьем, уносил Золотарева на восток.

Его мучили старческие немощи. Они навалились на него внезапно, вдруг, как бы из-за угла. Казалось, еще вчера не на что было пожаловаться: он поднимался около полудня в бодрой готовности провести следующие шестнадцать часов в каторжном круговороте встреч, заседаний, телефонных переговоров. Его никогда не покидала уверенность в предназначенном ему долголетьи, что укреплялось в нем ходячими легендами о невероятной кавказской живучести. Он скрупулезно собирал сведения обо всех долгожителях на земле, и услужливые писаки, зная эту его слабость, чуть ли не каждый день публиковали в печати соответствующие факты. Всякое открытие в этой области становилось предметом его тщательного изучения. И когда одна бывшая медсестра из околоподпольных девиц, которых, кстати сказать, он всю жизнь недолюбливал за их восторженную болтливость, доказала чудодейственное влияние содовых ванн на омоложение организма, ее, по его приказу, наделили всеми мыслимыми степенями и премиями.

Но однажды утром он проснулся от обморочного сердцебиения. Голова тошнотворно кружилась, в кончиках пальцев зудело и покалывало. В течение дня затем ныло в висках и отчаянно мерзли ноги. С тех пор недомогания не оставляли его: то ни с того, ни с сего изменяло зрение, то в самый неподходящий момент ватно немели конечности, а то вдруг, стоило неловко поворотиться, принималось судорожно сводить спину и шею. Не помогали ни содовые ванны по рецепту бывшей медсестры, вырвавшейся с его помощью в медицинские академики, ни умеренность в питье и курении, ни вороватая, втайне от приближенных гимнастика после сна: он разваливался на глазах у самого себя.

Докторов он не любил и побаивался. И не то что бы его пугала вероятность козней, заговора, злого умысла — пусть поверженный враг утешается этой версией, тем более, что сам он, поддерживая эту версию, в нужный момент извлекал из нее свою политическую выгоду. К тому же, в жестокой борьбе за лидерство он сумел давно обезвредить свое ближайшее окружение. Медицина претила ему опасностью постороннего проникновения в его потаенную жизнь. Всякий изъян, недостаток, недуг мог сделаться в руках умного противника оружием против него — мало этого, он и сам не имел большой охоты особо просвещаться на этот счет, так ему было проще. Как-то, еще в двадцатых годах, он доверился одному бородачу-невропатологу, тот поставил дурацкий диагноз, проникший в зарубежную прессу, пришлось расхлебывать эту кашу через ГПУ, а потом, дабы надежнее застраховаться, отделяваться и от тех, кто расхлебывал. В докторях он презирал также их неистребимое чистоплюйство, из-за которого у него чуть было не провалилось несколько важнейших политических акций. По его твердому убеждению, лучше было обходиться без них, придерживаясь проверенного временем правила: никого не подпускать к себе ближе, чем это диктуется насущной необходимостью.

За годы внутрипартийных схваток он усвоил спасительный закон дистанции, по которому ближайшее окружение должно было постоянно оставаться на том отдаленном расстоянии, откуда человек видится целиком, без изъянов и слабостей, именно таким, каким пристало ему, по его мнению, выглядеть со стороны. Но он усвоил также и то, что люди склонны скоро привыкать к своему положению, со временем зрение их обостряется, слух делается чутче, откладывая в памяти замеченные светотени. Поэтому через определенные промежутки ему приходилось тщательно выпалывать пространство вокруг себя, чтобы тут же за-

полнить возникший вакуум новой порослью, свободной от груза истории и опыта.

Взять хотя бы того же Золотарева, которого выудил для него в тихих омутах своей епархии вездесущий Лаврентий: знал, лукавый хитрец, чем ему угодить! Парень сразу расположил к себе: русский, высокий, неловкий в движениях, с почтительным восторгом в васильковых глазах. Не существо — чистый лист бумаги, пиши на нем, что твоей душе угодно, потом стирай и переписывай снова, в соответствии с текущей необходимостью. По сравнению с новичком, старый министр выглядел потеющим бором в белом подворотничке. От них — этих тучных, с вечной одышкой бонз настала пора избавляться, они уже достигли того рокового предела, за которым появляется опасная привычка к власти, уверенность в себе, известное притупление чувства дистанции, что угрожало сложившемуся порядку взаимоотношений между ними. Победная война с ее неизбежной откровенностью и ослаблением житейских запретов породила в некоторых ложные иллюзии, тщетные ожидания и несбыточные надежды. Структура аппарата нуждалась в коренном обновлении. На смену обреченным должны будут прийти такие вот, вроде этого Золотарева, лишённые клановых предрассудков и чрезмерных поползновений, не люди — глина, из которой он вылепит затем всё, что ему вздумается. Только с ними — дала бы ему судьба еще два-три десятка лет — этими рослыми парнями с почтительным восторгом в васильковых глазах, он в конце концов поставит мир на колени.

Но торопиться, было его правилом, не следовало. Пусть этот Золотарев немного пообомнется там, на забытых Богом Курилах, проявит себя в самостоятельном деле, хлебнет хозяйского лиха вдали от кабинетной крепости, а выдержит, тогда можно будет подставить парню для пробы еще ступеньку. Не спот-

кнется — пойдет дальше, до самого предела, пока не наступит и его роковая очередь.

Мысль о Курилах настроила его на отвлеченный лад. Это ведь, подумалось ему, где-то у черта на куличках, где, как мрачно шутил Лаврентий, не ступала нога заключенного: даже на карте они обозначались едва заметной россыпью коричневых брызг среди океанской голубизны. От него внезапно, такое с ним случилось, отлетела явь: он разглядывал себя со стороны, поражаясь, как он мал и незащищен в этом огромном и яростном мире. Ему вдруг захотелось оказаться сейчас где-нибудь далеко-далеко, хотя бы вот на тех Курильских островах, где бы он мог забиться в какую-нибудь нору и, согревшись, сидеть в ней, не видя и не слыша ничего вокруг.

Пусть какой-нибудь одинокий путник, такой же уставший от суеты бедолага, как он сам, постучится в эту его теплую, вроде той, что была у него в курейской ссылке, нору и скажет:

— Пусти меня к себе, человеке, мне тяжело одному.

— Входи, — радушно ответит он. — В тесноте — не в обиде, вдвоем веселее.

Путник протиснется к нему и спросит:

— Кто ты, человеке, и как тебя зовут?

И тогда, это обычно приберегалось им напоследок, с присущим ему скромным достоинством он тихо и просто ответит:

— Сталин.

«Любопытно, — усмехнулся он про себя, — сразу гостя кондрашка хватит или немного погода?»

Он даже зажмурился от предвкушения удовольствия, но в то же мгновение память услужливо напомнила ему о недавнем разговоре с экспертами-синологами, которые в числе прочего отметили частые в этих районах колебания морского дна, что сразу вернуло его к действительности, к делам и заботам быстротекущего дня.

Под занавес дневного круговорота ему еще предстояло подписать очередной список на изъятие. Документ лежал у него на столе в ожидании последней резолюции. Списков таких за минувшие десять лет он утвердил множество и никогда потом не жалел об этом. В его положении раскладка была проста, как дыхание: или — ты, или — тебя, третьего не дано, поэтому не о чем задумываться. Но на этот раз в аккуратной колонке фамилий значилась землячка, состоявшая с ним в отдаленном родстве. Родство было, правда, дальнее, седьмая вода на киселе, кто в маленькой Грузии кому не родственник, но с этой женщиной, теперь уже наверное старухой, его связывала одна давняя история, полузабытый случай, всплывший сейчас из небытия.

Сколько ей было тогда? Шестнадцать? Семнадцать? Восемнадцать? В последнее время острая когда-то на события и факты память стала ему изменять. Ее провалы год от года становились всё полнее и продолжительнее. Это бесило и мучало его, он пытался записывать возникавшие порою в голове обрывки видений прошлого, чтобы по ним восстановить затем целое, но испытанное вроде средство не помогало, и ему ничего не оставалось, как смириться с возрастной неизбежностью.

Но то августовское утро в старом Тифлисе, когда он метался по глухим лабиринтам Навтлуги, сбивая со следа сыскную погоню, запомнилось так резко, так отчетливо, словно всё это происходило не далее, чем вчера.

В тот день впервые после Великого Ограбления полиция шла по его пятам. Петля оцепления сжималась ту же и ту же, готовая в любую минуту сомкнуться вокруг него, когда на выходе к конке, где его уже стерег полицейский кордон, между ним и филерами выпорхнула девочка, эдакое воздушное существо в обрамлении чего-то белого и голубого.

Она, разумеется, мгновенно уловила суть происходящего, замерла и воззрилась на него своими огромными, в пол-лица глазами, полными восхищенного ужаса и решительности. Ее внезапное появление, вызвавшее короткое замешательство филеров, спасло его тогда. Он беспрепятственно проскользнул между ними и проезжавшей мимо конкой, канув на другой стороне улицы в лабиринте проходных дворов.

Но вовсе не благодарность вызывала в нем его теперешнее замешательство: и до, и после нее ему на помощь приходили многие, что не избавило их от уготованной им доли, — а этот вот краткий миг ее восхищенного ужаса и решительности: впервые в его жизни девочка, девушка, женщина одной из самых почтенных грузинских семей, известная всему Тифлису красавица Нателла Амираджиби взглянула на него с такой неподдельной готовностью на всё. И хотя он боялся признаться в этом даже самому себе, но именно тогда, тем августовским утром, в краткий миг их встречи лицом к лицу, он окончательно поверил в себя, в свою звезду, в свое вешнее назначение.

Многие годы она избегала участи других, он инстинктивно берег ее как залог, гарантию, патент на предначертанную ему судьбу, но на этот раз настал и ее черед. С годами у нее стал слишком развязываться язык, сказывался, видно, возраст, и не в меру разбухло самомнение, что могло бросить тень на чеканные письма его биографии. Женщину необходимо было убрать, чтобы выправить ситуацию.

К женщинам у него всегда было настороженно-пренебрежительное отношение. Это проявилось еще в детстве, в родном доме, где тихая мать безропотно гнулась перед вечно пьяным отцом. Как всегда, мысль о матери вывела его из равновесия, и всё, что смутно мучило его, что душило с самого отрочества, что порою лишало сна, вновь нахлынуло на него с выжигающей изнутри горечью.

Сколько он помнил себя, в школе, в семинарии, затем в подполье и борьбе за власть, это было его пыткой и проклятием, его Гефсиманией, Страстной Пятницей, Голгофой. Он бежал этого иссушающего душу наваждения в двух своих, оказавшихся, правда, неудачными, женитьбах, в мимолетном разврате, иногда в пьянстве, в сыскных оргиях против вчерашних друзей, но оно — это наваждение — цепко тянулось за ним, преодолевая забытие и время. В конце концов он запер мать в четырех стенах роскошного тифлиссского особняка и постарался забыть о ней, не явившись даже на ее похороны, но память не оставила его и после этого. И чем выше он поднимался, чем незыблемее становилась его власть, тем нестерпимее делалась для него давняя ноша. В детстве ему удавалось отбиваться от нее кулаками, в юности молитвой, в зрелости службой в охранке, но ничто не в состоянии было задушить в нем мстительного шепота памяти: «Ты сын городской потаскухи, родившей тебя в отместку пьянице-мужу от богатого соседа Реваза Игнатошвили, ты — незаконнорожденный, и твоя мать — блядь!»

«Будь ты проклята, — отмахивался он в сердцах, — думать не хочу, изыди!»

Он знал почти наверняка, что это ложь, что у матери, по горло занятой поденщиной, просто не оставалось времени для себя и своих интересов и что сплетня скорее всего пущена каким-нибудь забулдыгой под пьяную лавочку, в духане, в застольной ссоре с его отцом, но убедить себя в этом до конца так и не смог, а может быть, и не хотел.

Одного за другим он устранил всех, кто хотя окольно мог знать или слышать об этом, но те, в предчувствии гибели, успевали передать этот запасенный на него камушек в очередные руки. И прошлое, наподобие бумеранга, возвращалось к нему вновь и вновь.

К тому же, еще ходил, еще топтал паркет вокруг него, посверкивая во все стороны фальшивыми стеклышками, бакинский дружок его (именно там, на нарах городского централа, он и поделился — о глупая молодость! — и пооткровенничал с ним на свою голову; кто тогда знал, что окажется дальше!), собутыльник по старческим оргиям, его Малюта, его серый кардинал, которого приблизил он к себе перед самой войной за пыточный опыт и услужливую забывчивость. Ходил в ожидании своего часа, лстивый ворон, чтобы в удобную минуту, вопреки пословице, выклевывать ему глаз, держа в запасе, на самом доньшке темной своей души, этот главный козырь против него. Только не родился еще человек, способный состязаться с ним в искусстве терпеливого ожидания; один немец, не чета прочим, дельный был малый, пытался, но и у него в конце концов ничего не вышло, не выйдет и у этой лисицы в пенсне, сколько бы она не старалась, ей жить ровно до той поры, пока в ней имеется нужда. И, как бы утверждая себя в этом решении, он, скрипя новыми бурками, подошел к столу, не садясь, размашисто вывел резолюцию в углу листа и нажал кнопку звонка.

На пороге почти мгновенно выявилась тщедушная фигура с пергаментным лицом и, повинувшись еле уловимому знаку его бровей, бесшумно устремила к столу, но на полпути выжидательно замерла, всем своим видом изображая преданную деловитость и сознание ответственности момента одновременно.

О, как он презирал их всех: и тех, кто еще окружал его, и тех, кого давно уже не было, и этого вот гнома, с собачьей готовностью на пергаментном личике! И вместе, и по отдельности они являли собою ту легко податливую часть человеческой породы, которая при всей своей податливости, а может быть, именно благодаря ей, оказывалась способной на любую гнусность, если эта гнусность обеспечивала им неиссякае-

мую кормушку и собственную безопасность. Одушевленные издержки естественного отбора: он наугад выуживал их из безликого окружения, умело пользовался ими, а затем без раздумий и сожаления сметал их в небытие.

В списке на столе значилась и жена стоявшего сейчас перед ним гнома в полувоенной паре. Тот еще не знал о случившемся, документ ему занес Лаврентий, минуя секретариат, поэтому, глядя теперь на преданно устремленного в его сторону помощника, он не удержался, чтобы не позлорадствовать про себя: «Любишь кататься, люби и саночки возить, так-то!»

Он молча придвинул к помощнику утвержденный список, тот тенью метнулся к столу, подхватил бумагу и, получив беззвучное позволение, так же тихо, как и вошел, улетучился из кабинета: воплощение такта, быстроты, исполнительности.

Ему не приходилось даже напрягать воображение, чтобы представить себе, что произойдет затем по ту сторону двери, но это его уже не волновало: те, кто переступал черту круга, в центре которого стоял он, должны были научиться платить. Платить каждый день и чем угодно: самолюбием, близкими и, если потребуется, жизнью. Так пусть заплатит и этот, тем более, что для него самого сегодняшняя резолюция означала еще одну, хотя и не столь значительную потерю.

Многолетний навык выработал в нем умение мгновенно оценивать возникавшие ситуации и столь же мгновенно вживаться в них, по ходу действия осваиваясь с деталями. Но то, что произошло в следующую минуту, всё же вызвало у него легкое замешательство.

Массивная, обитая с оборотной стороны дорогой кожей дверь медленно отворилась, и в ее обнажившемся проеме он увидел стоящего на карачках помощника с только что утвержденным списком в зубах.

На карачках же, по-собачьи поскуливая, тот пересек кабинет и, оказавшись на расстоянии протянутой руки от него, встал на колени, истекая преданностью и мольбой.

Но это не пробудило в его душе ничего, кроме угрюмой брезгливости. Он не любил в людях обнаженной слабости, считая каждое ее внешнее проявление признаком внутреннего распада.

«Бабу ему, сукиному сыну, жалко, — мысленно ожесточился он, — а что эта баба уже готова запродаваться любой иностранной разведке, это его не касается!»

Небрежным движением он выдернул у помощника документ и, бегло окинув аккуратную колонку фамилий, вновь сунул бумагу тому в зубы.

Дальнейшее его не интересовало.

Он отвернулся к окну, выключив помощника из сферы своего внимания и памяти. Оставшись наедине с собой, он удовлетворенно потянулся, расстегнул ворот маршальского мундира, к которому после свободного покроя френчей так и не смог привыкнуть, поднялся и, чуть приволакивая левую ногу, не спеша направился в сторону бокового выхода, за дверью которого у него имелась спальная комната со старой железной кроватью под грубым солдатским одеялом.

Тяжело засыпая, он почему-то опять вспомнил о землетрясениях на Курилах и тут же решил, что на следующей неделе вызовет столичных сейсмографов для подробного доклада по этой проблеме.

2

С некоторых пор он взял за правило записывать события дня. Сначала записи ограничивались беглым перечислением встреч, разговоров, актуальных фактов и сведений, но потом, исподволь, они стали обрастать

детальями, отступлениями, сносками, постепенно приобретая форму регулярного дневника.

Как-то, перечитав написанное, он убедился, что всё это, собранное вместе, явственно выливается в нечто вроде внутреннего монолога или исповеди, слишком откровенной, чтобы сделаться достоянием историка. Его цинизм простирался лишь до той черты, за которой таилась угроза для него самого. Сказывалось семинарское воспитание: где-то в потаенной глубине души он так и не смог изжить в себе страха перед возможным наказанием. Но, сознавая гремучую опасность своего занятия, он так и не смог отказаться от него, даже еще более к нему пристрастился, находя в этом какое-то особое, почти наркотическое удовольствие.

Он записывал всё: мысли, фразы, выражения, которые казались ему удачными; беседы, ситуации, воспоминания, отбирая те из них, что никогда не решился бы высказать вслух. Писал упоенно, легко, раскованно, отбрасывая без жалости слова, какими привык пользоваться в официальном обиходе. Впервые с той давней поры, когда он по настойчивому совету Ильи Чавчавадзе оставил юношеское рифмоплетство, его одержимо несло вдоль по листу бумаги.

И хотя ни одна живая душа не могла безнаказанно проникнуть в его жилье или кабинет, он, заканчивая день, всякий раз бережно прятал рукопись в нестораемый шкаф, вмонтированный в стену спальни над его головой, где у него хранились самые заветные его документы: архив Нечаева, состоявший из нескольких сшитых в одну тетрадок, и прощальное письмо второй жены. Там, в стене над изголовьем, они казались ему сохранные.

Но чем объемистее становилась рукопись, тем тревожнее становилось у него на душе. В его голове вдруг стали возникать самые фантастические предположения ее возможной пропажи: во время одной из его

кратковременных отлучек или болезни, случайного пожара, умышленного поджога, сна, забытья, удара, когда записи могли если не украсть, то, по крайней мере, сфотокопировать, как это делалось во многих известных ему кинодетективах. Чаще всего преследовало именно это: застигнутый параличом врасплох, он лежит беспомощный, неподвижный, глядя, как подлый некто, может быть, из самых близких, с наглой усмешкой опустошает заветный тайник у него на глазах. В особенности бесила, доводя до иступления, эта вот вызывающая усмешка негодяя.

Сегодня привязчивое видение изводило его с самого утра. Он пытался избыть муку в бесцельной ходьбе по кабинету, в телефонных разговорах, в чтении деловых бумаг наконец, но вязкая фата-моргана по-прежнему не оставляла его, иссушающе выматывая душу.

К концу дня пытка сделалась почти нестерпимой. И тогда он всё же решил прибегнуть к средству, от которого до сих пор отказывался, приучив себя не доверять до конца никогда и никому. Но прежде чем вызвать помощника для вынужденного разговора, он включил магнитофонную запись: на всякий случай соглашение должно быть зафиксировано.

Тот появился на пороге чуть ли не одновременно со звонком — как всегда, вытянутый в чуткую струнку, докладная папочка в руке прижата к боку, наглядно демонстрируя высшую степень постоянной готовности.

— Иосиф Виссарионович, — еле слышно прошелестело с порога. — Слушаюсь.

— Вот что, голова, — подступаясь к делу, он еще угнетался сомнением, тянул время, прицеливался, — слушай меня внимательно. Там у меня, — он слегка повел взглядом в сторону смежной комнаты, — есть кое-что. Понимаешь?

У того мгновенно напряглись глаза, кадык на тонкой шее судорожно дернулся, туловище подобралось и

вытянулось: казалось, помощник приготовился взлететь по малейшему его знаку.

— Понимаю, товарищ Сталин. — Слова уже не звучали, а невесомо слетали с губ. — Слушаюсь.

— В случае чего, уничтожить. — Выговорив главное, он облегченно обмяк, откинулся на спинку кресла. — Понимаешь? Ключ у тебя есть, храни, как зеницу ока. Ни Лаврентию, никому ни-ни. Чуть что, сразу жги. — На этот раз молчание помощника было красноречивее всяких слов: соглашение состоялось, стороны проникались сопереживанием значительности момента. — Что еще у тебя?

— Вы заказывали справки по Курилам, Иосиф Виссарионович. — Помощник еще вибрировал, усваивая только что услышанное, рука с протянутой к столу папочкой слегка подрагивала. — Здесь две.

Действительно, после недавнего разговора с синологами и специалистами по Дальнему Востоку он затребовал сжатый обзор самой необходимой информации по этой проблеме, ибо не любил подробностей, мешавших ему видеть вещи в целом, без балласта обстоятельств и околичностей. Он даже приказал до предела сократить всеобщую энциклопедию, считая издание Эфрона и Брокгауза слишком обременительным для усвоения.

Знакомясь сейчас с доставленными справками, он лишь убеждался в своей правоте. То, на что ушло почти два битых часа гипотез, статистики, доказательств, было изложено здесь с лапидарной точностью всего на двух веленевых полустраничках:

«КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА — гряда островов на востоке СССР между о. Хоккайдо (Япония) и Камчаткой. Длина около 1200 километров. Острова отделяют Охотское море от Тихого океана. Насчитывает свыше 30 более значительных островов: Ишуруп, Парамушир, Кунашир, Уруп, и множество мелких островков и скал. Рельеф горный, с преобла-

дающими высотами 500-1000 м. Максимальная высота свыше 2889 м. Много вулканов, среди них до 38 действующих. Берега обрывистые, скалистые. Курилы находятся в области муссонного климата. Средняя температура самого холодного месяца от -6° до -7° . Летние средние температуры (август) $+17^{\circ}$, на севере $+9-10^{\circ}$. Осадков более 1000 мм на юге и около 600 мм на севере. Частые туманы. Растительность тундровая. Лес (ель, пихта) — на юге. Пушной зверь. У берегов водится рыба. Лежбище котиков, бобров, сивуча. Прилегают к Сахалину».

«ЦУНАМИ — волны, возникающие на поверхности океана в результате сильных подземных землетрясений. Скорость распространения цунами от 400 до 500 км/час. Высота волн у прибрежных скал и в узких устьевых частях речных долин достигает 15 — 30 м. Обрушиваясь на низкий берег, цунами может проникать далеко на сушу и причинять большие разрушения. Большей частью цунами наблюдается у берегов Тихого океана».

— Ладно. Что еще?

— Звонила Светлана Иосифовна, — помощник пятясь уже отступал к двери, — когда она может вас увидеть?

Напоминание о дочери вновь озаботило его, возвращая к повседневным неприятностям. Он по-своему любил эту угловатую девочку с неизменной тенью улыбки на продолговатом лице, баловал как умел, издалека следил за ее развитием, но, к его досаде, с возрастом у нее стал заметно проявляться характер ее матери: душевная неустойчивость, склонность к излишнему общению, глубоко затаенное упрямство. К тому же, в последнее время он заметил, что она скрывает какую-то очень существенную и недоступную ему часть своей жизни, и это было особенно нестерпимо. «Лучше бы уж ей, — сетовал он про себя, — купечествовать, вроде братца, — по крайней мере, всё на виду!»

И потом эта необъяснимая тяга к евреям! Они, как доносил Лаврентий, вились вокруг нее целыми стаями. Из них она выбирала себе друзей и провожатых, с ними проводила свободные часы, среди них выбрала своего первого поклонника, от которого пришлось избавляться с помощью того же Лаврентия. Со вторым тоже обошлось не без хлопот, хоть ей и это не пошло впрок, только слезливости прибавилось.

С этим народцем у него были особые счеты. В молодости он мало обращал на них внимания, принимал как неизбежное зло или досадную издержку всякого рискованного дела. Но с годами его отношение к ним уверенно менялось. Чем выше он поднимался, тем чаще приходилось с ними сталкиваться, каждый раз раздражаясь сквозящим в них снисходительным высокомерием. В конце концов он возненавидел в них всё: привычку по любому поводу или без повода сыпать цитатами, свойственную им внимательность к мелочам, самомнение, даже небрежность в одежде, граничащую с неряшливостью.

Он никогда не мог простить им иронических улыбочек во время его выступлений, заносчивых реплик из зала, многозначительных смешков у себя за спиной. Одно лишь воспоминание об этом ввергало его в тихое исступление. «Болтуны несчастные, — внутренне трясся он, — пархатая сволочь!»

В нем всплыло вдруг давнее, радековское: — У нас со Сталиным расхождения по аграрному вопросу: я хочу, чтобы в земле лежал он, а он хочет наоборот.

Болтун, талмудист вшивый! Вздумал перехитрить самого Сталина! Только не родился еще тот человек, у которого бы это получилось! Поди теперь, изучай аграрный вопрос в преисподней, теоретик херов!

Им, этим трепачам от марксизма, и в голову не приходило, что, кроме науки словесных перепалок, которой они упивались, словно глухари, существует еще куда более насущная для политика наука командо-

вать, управлять, властвовать, что в этой-то науке он, в отличие от них, плавает, как рыба в воде, и здесь любой из них по сравнению с ним просто слепой щенок. В полном согласии с его сценарием они в конце концов передушили друг друга собственными руками.

Но даже те, что остались, служа ему не за страх, а за совесть, продолжали раздражать его своим рвением, услужливой эластичностью, вязким гостеприимством. Взять хоть того же Мехлиса: суетливая, готовая на всё балаболка. И чего только нашла его дочь в этом пустом и хлопотливом народце?..

— Всё?

— Так точно, Иосиф Виссарионович.

— Успеет, — отмахнулся он и, снисходя, обласкал. — Ну, что ходишь, как в воду опущенный? Бабу забыть не можешь? Дрянь твоя баба, враг, изменница. Мало ли у нас других, настоящих советских женщин? Будет тебе жена, я тебе гарантирую. Иди...

Возвращаясь к прерванному размышлению, он вновь, в который раз за последние дни, подумал о Золотареve. «Таких вот надо выдвигать, не испорченных теоретической болтовней. — Ему вспомнилось, с каким нескрываемым обожанием въедался в него своими васильковыми глазами этот русоволосый дe-тина. — Гнать, гнать пархатых трепачей вместе с толстыми боровами, вроде рыбного министра. С такими, как этот синеглазый туляк, куда надежнее. Справится с Курилами — дать ему министерство».

Ближе к ночи его принялась одолевать усталость: сказывался возраст. Он обессиленно прикрыл веки, и ни с того, ни с сего ему пригрезился вечер в Бакинской тюрьме, перед вторым побегом.

Тогда, помнится, он с утра резался в очко с камерной головкой из местного ворья. Карта к нему шла счастливая, от козырей в глазах рябило, он снимал банк за банком, и, когда наконец партнеры выпотрошились вчистую, один из них, знаменитый городской

налетчик Самед Багиров, срывая зло, блеснул в его сторону откровенной издевкой:

— Скажи, Сосо, правду говорят, что ты осетинский еврей, уж больно тебе везет?

Дорого потом обошлась смельчаку в сердцах оброненная шуточка, но тогда, в тот душный вечер, под перекрестной пыткой нескольких пар глаз, ему стоило немалого труда и выдержки смирить себя и не броситься на обидчика.

Даже сейчас, в свинцовой полудреме, подспудно сознавая нереальность случайного видения, он при одном воспоминании об этом на мгновение обморочно захлебнулся от бешенства...

— Скажи, Сосо, правду говорят, что ты осетинский еврей, уж больно тебе везет?..

С этой ненавистной дразнилкой в памяти он и забылся до следующего полудня.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В майском небе, на высоте птичьего полета, плавно раскачиваясь, плыла лошадь. В корявой клетки, наспех сколоченной из свежего горбыля, она казалась снизу естественно вознесенным над землей существом из другого, еще неведомого здесь мира, настолько спокойно и величаво блистали сквозь широкие щели досок ее мерцающие глаза.

Лошадь плыла, покачиваясь, в майском небе, а кругом, чуть не от береговой кромки до самых высоких зубцов окрестных скал, многоярусно громоздился гулкий и долгий город с лесом мачт и подъемников почти по всему подножью.

Видно, берег в этом месте Азии когда-то сильно накренился, и океан хлынул в прибрежные горы, за-

полняя собой каждую впадину, каждый закоулок, каждое отверстие окружающего материка. С тех пор крутая подкова образовавшейся бухты представляла из себя причудливое кружево лагун, островков, заводей. И над всем этим с рассвета до сумерек трепетно тянулась сизая или голубая, в зависимости от погоды, дымка, марево, фата-моргана.

Пожалуй, Федор, хоть и покружило его по разным странам и городам, едва ли мог бы назвать место богаче и просторнее, если бы не ощущение, причем почти неосоздаемое, сквозящей вокруг тревоги или, вернее, настоженности. Здесь человек чувствовал себя как бы на постоянном прицеле, в незримой западне, в петле, в загоне. Словно там, у стрелок последнего семафора перед вокзалом, за каждым входящим и въезжающим тут же опускался некий занавес, который делил мир на две уже непреодолимые половины.

Федору, может быть, долго пришлось бы доискиваться истока, причины этого состояния, если бы действительность сама не выявилась перед ним.

Пирс, где в ожидании погрузки сгрудилось вместе с пожитками сотни полторы семейств, вдруг еле заметно ожил и тут же опять, но уже недобро, затих: так улитка, едва высунувшись, вновь спешит втянуть свой страх в надежную бездну раковины. Но, даже спрятавшись, страх продолжал тянуться тоскующим взглядом в ту сторону, откуда в молчаливом окружении собак и конвоиров сворачивала из портовых ворот к соседнему пирсу безликая серо-черного цвета колонна: быстрее, быстрее, быстрее! В молчаливой их полурыси было что-то испуганно угрожающее, отчего головокружительно перехватывало дыхание, и на сердце принимались гулять ознобистые сквознячки.

Колонна, наподобие гармошки, сначала стремительно растянулась вдоль берега, а затем, чернея, плотно собралась у соседнего пирса.

— Са-а-адись!

Резко горбясь и выгибаясь, плотная масса стала быстро оседать книзу, пока, укрошенная, не сникла совсем: черная лента на сером фоне пирса и голубом — моря. Черная ветошь, черные лица, и даже запах, исходивший от нее, казался Федору черным.

В этом скоплении почти неразличимых лиц не было для Федора ничего сколько-нибудь примечательного. На многодневном пути от Москвы до Владивостока он пересекался с такими же множеством раз: то в окне забранного колючей проволокой вагонного люка мимоидущего товарняка, то целым скопом на убегающей от состава таежной прогалине (даже разглядеть не успеешь как следует, как их уже и след простыл), то четко, с подробностями — на короточках у подъездных путей, в ожидании кого-то или чего-то. Они примелькались, стерлись в обзоре, стали частью пейзажа, метой дороги, принадлежностью повседневного быта.

Но сейчас его вдруг неодолимо потянуло к ним — этим взглядам исподлобья, этим лицам без черт, этому горькому и нечистому запаху. Всё происходило, как во сне, когда всякое сопротивление только обостряет тягу к близкой неизбежности. Была не была!

Федор шагнул к этой безликой черноте, и вдруг голова его медленно пошла кругом, а в ушах гулко и горячо зазвенело: из этой черноты перед ним явственно выделилось и обрело контуры одно-единственное лицо, вроде бы и не отличавшееся сильно от других — голодно запавшие глазницы, жесткая щетина на истонченных щеках и долгий взгляд, только не наружу, а вовнутрь.

Но даже, если бы оно — это лицо — изменилось еще более, Федор узнал бы его из тысячи: взводный! Взводный Сан Саныч — вечная улыбка от уха до уха, с неизменной добавкой чуть не к каждому слову «значит» и отчаянной, почти до горячки, бесшабашностью...

Где было забыть Федору ту смертную оборону среди Пинских болот! Он и сейчас еще, едва вспомнив, ознобливо повел плечами, будто в одно мгновение заново пережил всю стылую промозглость снежной зимы сорок третьего года. Их плотно зажали тогда среди мерзлых кочек, без надежды когда-либо выкарабкаться, обогреться и передохнуть. Сутками выгревали они собой стылую топь, а закадычный кореш его, взводный Сан Саныч, горячо дышал ему в полуобмороженное ухо, хрипло похохатывал, ерничал:

— Эх, Федька, нам бы с тобой сейчас двух баб на разжижку, за милую бы душу раскошегарились! И чего ты, Федька, такой мерзлячий, какие твои кровя, у меня моча и то теплее. Ты ворочайся, ворочайся, сукин сын, ты что здесь, ночевать думаешь? Не деревяней, не деревяней, брательник, у нас еще войны впереди от пуза, нам главком одних пайков задолжал недели за две, а то и больше. У тебя еще девок неперепорченных на деревне вагон остался, сыграешь в ящик, на том свете пожалеешь...

Под лихорадочную скороговорку взводного в теплое окочение Федора вливалось душное свиридовское лето, и колокольчики на косогорах позванивали у него над головой: «Я у маменьки жила, не едывала кокочки, таперя эти кокочки бьют меня по попочки». Частушка была дурацкая и неизвестно откуда возникшая, но всё повторялась и повторялась в памяти, словно раз и навсегда заведенная пластинка.

Звук оборвался так же неожиданно, как и возник, и сразу вслед за этим, будто мгновенный переход из ночи в день, начался крошечный ад: казалось, болота вокруг сами по себе вздыбились и, пробудившись от морозной спячки, пустились в смерчевой пляс. Такой артподготовки Федору не доводилось переносить ни разу с начала войны. Их расстреливали почти в упор, без жалости и передышки. Багровый свет вспыхивал и мерк перед глазами, и от неборимой жути холодно

мокли ладони: злой страх медленно отогревал тело. Федор знал это состояние, за три года фронта он уже привык к тому томлению ожесточенности, когда на смену первому замешательству вдруг приходит и жарко заполняет сердце синяя тяжесть ненависти.

В миг очередной вспышки Федор искоса выхватил из светового круга торжественно четкое, без привычной улыбки, упрямое лицо взводного и скорее почувствовал, чем услышал его короткую команду:

— Двинули!

Тело Федора сделалось обугленно легким, почти невесомым, он даже не вскочил, а прямо-таки взлетел над промерзлыми кочками, и они, как в бреду, рванулись вперед, сквозь этот взрывающийся ад, через его черный пламень и прогорклый дым, навстречу хоть и призрачному, но желанному спасенью.

— Ура-а-а-а!..

Когда он упал, он не почувствовал ни боли, ни самого падения, его просто накрыла тьма, и во тьме перекатывалась из конца в конец задыхающаяся хрипотца взводного:

— Шел Федор с гор, воз на себе пёр... Ну и дерьма в тебе, братишка, в корове меньше... Ты на меня положишься, выволоку, я двужильный... Я, брат, заговоренный, меня ни вода, ни огонь не берет...

Федор плыл вместе со своей тьмой, слушал знакомый голос, думая с вялым раздражением: «Ну, чего плетешь, чего плетешь, не деревенский ведь, только притворяешься».

Знать, он, конечно, знал мало (Сан Саныч — душа нараспашку — в душу к себе никого не пускал), но догадывался, что взводный его совсем не «Ванька» и соображает не хуже генерала, а может, и выше. Уж больно не по званию разговаривал его лейтенант с начальством (эдак свысока, с ухмылочкой, для постороннего, впрочем, почти незаметной), уж больно не по чину книжки на отдыхе почитывал, уж больно не

по возрасту думал много между байками да улыбочками. «Эх, Сан Саныч, Сан Саныч, — частенько жалел про себя Федор взводного, — не сносить тебе головы, свою ли ношу на плечи берешь!»

Поэтому когда после госпиталя, уже в Восточной Пруссии, Федор, вернувшись в часть, узнал об аресте взводного, то не удивился этому, хотя долго еще потом горевал по нем и печалился: «Вот тебе и заговоренный, выходит, правду старики говорят: от суммы да от тюрьмы не отказывайся. Какой парняга ни за поных пропал!...»

Всё это в миг пронеслось в нем, осело горечью, отстоялось, и он не выдержал, потянулся в сторону бывшего взводного:

— Слышь, лейтенант... Сан Саныч, не узнаешь, что ли?

Тот даже глазом не повел, только поежился, продолжая смотреть перед собой и в себя, а конвоир уже надвигался на Федора с автоматом наперевес:

— А ну, осади назад! Делаю первое предупреждение, твою мать!

— Браток, — заспешил, заторопился Федор, — понимаешь, взводный мой вроде тут, позволь два слова сказать. Сам воевал, видно, у меня с ним фронтовой узелок...

Насмешливые, зеленого отлива глаза смотрели на Федора в упор, не мигая, словно и не видели его вовсе:

— Твои лейтенанты нынче на пеньках стойку делают да волкам хвосты крутят. А ну, осади!

Федор почувствовал вдруг, что задыхается. Знакомая, белая, сводящая скулы ярость бросилась ему в голову и радужно застелила глаза. Беспamięтно взбывшись, он двинулся на конвоира:

— Ах ты, гнида вохровская, вошь тыловая, ну нажми, нажми гашетку, курва, или только в спину можешь? — Федору чудилось, что он истошно кричит, но на самом деле говорил почти шепотом. —

Чегой-то я тебя, рвань вологодскую, на фронтах не видал, видно, некогда было, людей не успевал в расход пускать? Ну, пальни, пальни попробуй, или духу только на двор ходить хватает?..

Неизвестно, чем бы всё это кончилось (а кончилось бы, судя по всему, плохо: несколько ближних овчарок, плотоядно поскуливая, уже рвали поводки из рук надзорслужбы, и зеленоглазый, осмелев, решительно спустил предохранитель), но в момент, когда, казалось, неминуемое должно было случиться, оттуда, с другого конца пирса, прозвучало зычное:

— Подыма-а-ай-йсь!

Замершее было черное чудище колонны тут же ожило, принимаясь волнообразно распрямляться и выравниваться. Хвост колонны еще колыхался, утаптываясь на месте, а голова ее уже отплескивалась узкой цепочкой по трапу лендлизовской самоходки, под окрики конвоя и собачий скулеж.

— Твое счастье, — облегченно бросил ему на ходу конвоир, подаваясь к колонне, — ты бы у меня сплясал на мушке. — И уже в сторону строя: — А ну, разберись в затылок, господа фашисты!

Федор в последней надежде еще потянулся взглядом за взводным, но тот ничем — ни жестом, ни движением — не ответил ему: вместе со всеми поднялся и, чуть сгорбившись, уткнулся глазами под ноги. Колонна медленно стронулась, потекла вперед, а заодно с нею стронулся и потек вперед бывший взводный и вскоре слился со строем, черный и неразличимый, как пепел в хлопьях сожженной бумаги. «Эх, жизнь наша, — в сердцах скрипнул зубами Федор, — какого человека загубили!»

— Что ж ты на рожон-то лезешь, сукин сын! — замельтешил вокруг Федора отец, слепо смаргивая слезящимся глазом. — Нынче таких, как ты, быстро в память приводят. Перед ими маршала носом землю роют. Думать надоть...

И до того слякотно, до того мутно было в эту минуту на душе у Федора, что он не вынес, не выдержал, оборвал отца — впервые, пожалуй, в жизни:

— Пошел, ты, батя, к едрене бабушке, надоели вы все мне хуже горькой редьки!

Тот, видно, сразу понял сыновнее томление, отошел молча, сник, стушевался.

А в майском небе, на высоте птичьего полета, всё так же плавно раскачиваясь, плыла лошадь, и печаль ее загнанных глаз благостно изливалась вниз, на людей, на землю.

2

Вода за иллюминатором стояла стеной, время от времени высвобождая для обзора кусочек низкого, в серой пелене неба. Едва приспособленный под пассажирские перевозки грузовой трюм раскачивало чуть ли не под прямым углом. Обшивка судна скрипела и потрескивала, словно яичная скорлупа в чьих-то сильных, хотя и осторожных ладонях. Временами чудилось, что бока не выдержат, треснут по всем швам, расползутся, не сдержав натиска. Кто-то стонал, кто-то ругался, кого-то рвало вниз, под нарами, часто, остервенело. Вещи, взбесившись, ожили, тесня и осаждая людей по всем закуткам и закоулкам. И в этом треске, столах и ругани какой-то чужак всё же ухитрялся с пьяненькой невозмутимостью тренькать на балалайке:

Я к солдатке на ночевку
Прихожу не впопыхах:
Первый парень на Сычевку,
Вся рубаха в петухах...

Ему — этому балалаечнику, вроде и дела не было до того, что творилось вокруг, он вроде и не выезжал

никогда из своей деревни, а в окружающей толчее оказался случайно, по пьяной лавочке:

...Первый парень на Сычевку,
Вся рубаха в петухах...

Федор сидел в ногах у бабки, придерживал ее сбоку, стараясь по возможности уберечь старуху от качки. Привычно держа руки поверх стеганого, из цветного лоскута одеяла, она смотрела прямо перед собой острыми, сухого блеска глазами, и бескровные губы ее судорожно шевелились. Бабка говорила сама с собой о чем-то своем, одной ей ведомом и понятном. Что ей грезилось сейчас, на исходе жизни, за тысячи верст от родимой деревни, на краю мыслимой ею земли, этой тульской девочке неполных восьмидесяти лет? Сквозь восемь без малого десятков осенних паутин, избороздивших ее пожухшее лицо, сквозь голубой туман горячки, через слепотную пелену она прозревала сейчас что-то постоянное и окончательное, простые тайны судьбы, детские истины людской суеты, чистый тлен жития человеческого: мокрые галки на блистающем после плуга суглинке, прогорклый дым весной над яблоневою порошей, душная щекотка сухого сена на дальних покосах и подол в спекшейся крови после первого родильного беспамятства. Тени, призраки, видения прошлого звали ее туда, откуда уже не возвращаются. Из праха выйдя, во что обратишься ты?

Тяжелые, в жесткой окалине, совсем не женские руки бабки мерно подрагивали, словно она то и дело прикасалась к чему-то острому или горячему. Сколько Федор помнил себя, весь свой сознательный век, лопатистые бабкины ладони всегда служили ему надежным ориентиром дома, знаком тепла, семейным залогом их дела и рода. Прошное откладывалось сейчас в нем, будто набор цветных фотоснимков: бабка ставит на стол чугуны с дымящейся картошкой; она же в хлеву, с вилами в руках, по щиколотки в навозной

жиже, ладная, смеющаяся, в легкой кацавейке нараспашку и съехавшем на плечо платке; мокрое белье, распластанное на прибрежном камне, утренне сизый туман над водой, и в этом тумане, словно две большие, темно-коричневого отлива лопасти, ловко плавают бабкины руки; заскорузлые пальцы ее, в который раз перебирающие пожелтевшие бумажки в заветной, из мягкой жести коробке: мужнину похоронку, два-три письма, безликие фотки тридцатилетней давности; вот он у старухи в охапке визжит от крапивной боли, застигнутый в жарком малиннике: «Не кради, не кради, жиган, спроси у бабки, сама даст!» Господи, когда это было, да и было ли это вообще? Тщета, тщета, тщета!

Бескровные губы старухи всё шевелились и шевелились, складывая одной ей слышную речь, но постепенно Федор проникся ее взыскующей мукой, и слова, сложенные ею, наконец, отозвались в нем:

— Пожить хочу, Господи, почитай и не жила вовсе, быдто родилась только, и в одночасье помирать надо, чем же я прогневала Тебя, Господи, хоть год бы еще миловал. Тебе жалко, что ли, а мне, старухе, всё радость белый свет поглядеть, как родилась, нигде не бывала, весь век на деревне своей промыкалась, на земле горбатила, из навоза не вылезала, с зарей ложилась, с зарей вставала, помню осьнадцати годов еще...

— Может, чего надо, ба, — попытался Федор пробиться к ней, — скажи, ба...

— Господи, — не слышала, не видела она его, — не гневайся на меня, старую, что я виновата рази, что пожить еще охота, хоть чуток, ить чего в Сычевке-то наплетут, сорвалась, мол, на старости, вот-де Бог и покарал, а ить я за детьми, за внуком вот, потянулась, куды ж мне одной-то век вековать, перед смертушкой и воды подать некому, какая такая моя доля...

— Баушка...

— Господи, не взыщи с горемычной, сама себя клянупу, да остановиться силов нету, нечистая сила крутит...

— Ба...

— Господи, быдто у маменьки я еще в люльке...

Она обессиленно затихла, а вместе с ней укрощалась и болтанка, переходя в плавную перевалку. Лицо ее обмякало, разглаживалось, принимало светло-землистый оттенок. Истончившийся лоб подернуло холодной испариной, нос заострился и посинел. Она еще дышала, еще теплилась живой плотью, но дух жизни уже расставался с нею, и никакая сила в мире не могла отныне остановить этого расставания.

Федор растолкал отца:

— Батя, — тот, измученный качкой, обморочно дремал на полу, среди скарба, уткнувшись в колени жены, которая тоже в полузабытье клевала носом, — слышь, батя, присмотри за бабушкой, вздремнула вроде.

У того только и хватило силы, чтобы согласно мотнуть головой и тут же вновь отвалиться в бессильном изнеможении.

К выходу он пробивался сквозь почти непроходимое нагромождение разномастного скарба и распластанных тел. И всё это ходило ходуном: стонало, ругалось, плакало. В общем чаду выделил Федор чью-то раскрытую шахматную доску, желтой птицей прыгающую среди всего окружающего бедлама. Эта доска была так нелепа здесь, так неуместна, что ему самому впервые сделалось муторно.

А в дальнем углу чей-то пропитый тенорок все еще утверждал под балалайку, что он-де, именно он и никто другой, «первый парень на Сычевку, вся рубаха в петухах».

Только на палубе Федор полной грудью вдохнул свежего, влажного воздуха, и огляделся, и замер сердцем: море вокруг гудело и дыбилось, в этой, казалось

бы, бессмысленной пляске проглядывалась какая-то целенаправленная сила. Трудно было предположить, что́ это была за сила и куда ее несло, но темная глубина, ощущаемая в ней, обещала путнику горные выси и великие бездны. Это — как сны в детстве, после болезни, когда порою стоишь у такой тьмы, у таких пещер огненных, что хочется, ой как еще хочется, прикоснуться, а даже руку протянуть боязно.

Здесь же, в клетях, притороченных к палубе, колотилась всякая живность: куры, утки, гуси, овцы, коровы, лошади. В крытом закуте для коровы примостилась даже клетка с двумя кролями. Почти по-человечески мучительное страдание этого царства вызывало щемящую жалость. В сыром ветре родной запах навоза и животного испарения ощущался особенно резко. Прощай, Сычевка, но помни — я вернусь! Если бы ему знать тогда!

Федор протянул было ладонь в коровью клеть, чтобы прикоснуться к возбужденному сейчас зеркальцу телки, ощутить под пальцами его нежность и теплоту, чуть успокоить ее, наконец, но в это время кто-то требовательно толкнул парня под локоть:

— Ты чо здесь?

Федор обернулся, но под брезентовым капюшоном, кроме сивой бороденки, ничего не разглядел:

— А ты чо?

— Сторожую.

— А чего сторожевать-то, не украдут.

— Не украдут, а глядеть надоть, ненароком сорветь.

— Так не удержишь ведь?

— Удержать — не удержу, а подмогу кликну, остатнее выручим.

— Сам откуда?

— С-под Ожерелья, а что допытываешь, документ е?

— Чо, папаня, ослеп совсем, документов моих не

видишь? — и Федор глазами указал тому на «иконостас» над правым карманом своей гимнастерки. — Я за этот самый «документ» четыре годика в землянках вшей давил.

— Много вашего брата нынче с эдакими документами шастает до первого уполномоченного. — Но все же смягчился. — Подымить е?

— Бери, — широким жестом Федор выкинул перед ним пачку «Беломора». — Бери пару.

Мужик довольно хмыкнул, взял, откинул капюшон, обнажив крупную голову в старенькой солдатской шапке, под которой оказалось совсем еще не старое лицо с синими глазами и малость ноздреватым уже носом. Старательно разминая папиросу, он заботился ни табачинки не рассыпать, долго и с явным удовольствием обнюхивал ее со всех сторон, пока, наконец, с меньшим удовольствием прикурил от протянутой Федором трофейной зажигалки:

— Раз предсельсовет угощал, а боле не доводилось. — Он осклабил в блаженной улыбке свои желтые, крепкие опять же, зубы. — Как люди живут, куды нам при нашей темноте!

— Шапку-то носишь, на фронте был? — Федору хотелось завязать хоть какой разговор, лишь бы не спускаться туда, в ту вонь и ругань, и даже гармошка там, с ее дурацким припевом, вызывала у него здесь, на палубе, одну только злобу, не более. — У кого?

— Не, — безоблачно и охотно ответил тот, — у мене язва. С издетства еще. Я и по малолетству желудком слабый был, а как пошло-поехало, колхозы да голодуха, тюрья да лебеда, совсем ослабел. — Беседа вроде бы погасла сама по себе, еще и не начавшись, но тот вдруг сам словоохотливо взял ее в руки. — Я в эту самую заваруху, в семнадцатом, в парнях ходил, вскорости и обженился, никому века не зажил, света не застил. Баба мне попалась как баба, ни красы в ей той не было, ни ленивая, ни работающая,

а так, с середины на половинку. Тольки, парень, сильно я ее любил, без нее жить не мог, присохла моя грешная душа к ней, будто кузнецким железом намертво припаяло: кайлом рви — не оторвешь, гвоздодером тяни — не оттянешь. Только это нынче, а тогда жили навроде всех людей: землю работали, хлеб когда был — ели, детишками распложились. Деревня наша, от трубы до трубы — воробью раз сигнуть, осьнадцать дворов, как отдать, избенки все мелкота, ни одного пятистенника, и церкви тожеть нету, одно, пони-маешь, название, что деревня. Какие мы там никакие, а тожеть — люди. И что это за напасть такая на человека, — он даже как бы всплеснул или, вернее, пытался всплеснуть руками: уж больно неудобно в его брезентовом плаще колом было это сделать, — не могут в ладу на белом свете жить. Как пошло тогда, как поехало в семнадцатом, то да се и крутится. А по нашей-то деревеньке вшивой, времечко золотое-то такой косою да эдаким кистенем прошлось, что любодорого! В самую первую голодуху закатилась к нам ватага не ватага, команда не команда, а так, ватажонка, команденка одна — восемь рыл, как на подбор: «Давай хлеб!» А иде его тогда, хлеба-то того, нам взять было, только родить оставалось. Почитай, в каждой избе покойник али полпокойника. Тряхнули и мене, грешным делом. Хорошо тряхнули, славно, — «хорошо» он произнес вразтяжку, будто для прыжка напрягался, и чуть побитые ноздри его яростно вздрогнули, — век помнить буду... Только зачем ее-то восемь лбов, очередью, ить не жалезная... Вот она тебе язва моя, даром оставляю, я добрай...

И двинулся себе, даже капюшона не натянул, по шатко-валкой палубе, будто в лобовую двинулся.

«Лезешь с разговорами, — обязавил себя Федор, — нарвешься когда-нибудь, болтун — находка для шпиона!»

И тоже повернул, но только в другую сторону, туда, в ад, в чад, в ругань и плач, в дребедень бала-лаечную, и новое, неизвестное дотоле смущение властно входило к нему в душу.

3

Отец сказал:

— Будя, вылезай, чего рыть, всё одно там камень, сплошь камень, вот земля-то, прости Господи, тьфу.

Земля и впрямь была короткая, до пояса доберешь — камень, причем такой, хоть на кремни. Но зато на запах и цвет Федор — а уж он-то покружил по свету — ничего подобного до сих пор не встречал: больше на торф походила, только другой крепости и окраски — черная, с синеватым отливом, с запахом давно остывшей печи.

Вдвоем с отцом они опустили бабку в эту землю, разогнулись и молча замерли, как бы оценивая свою работу. Но это им только казалось, если казалось вообще. Просто в эту короткую для них минуту они расставались с чем-то таким, что уже не возвращается: с зовом чьего-то праха, с тенью чьей-то радости, с теплом зимних вечеров, запахом свежеиспеченного хлеба, рвущим легкие дымом далекой Сычевки, да разве можно высказать все, о чем думает человек в эту минуту!

Ее, этой старой девочки гроб, сколоченный на скорую руку из подручного материала, плыл в убогой могиле, словно детский кораблик по талой воде, и никто его уже не направлял, и негде уже ему было остановиться. Господи, что же это такое: судьба, рок, предназначение, чтобы сычевская, в тридесятom колене крестьянка отдавала Богу душу на бывшей японской земле без креста и покаяния? Господи, утоли ея печали!

Мать не плакала, даже не причитала по обычаю, а только сухо смотрела перед собой, и такое запрокинутое отчаяние стояло у нее в глазах, что всё вокруг как бы увядало и старилось.

— Ладно, будя, — буркнул отец, чуть покосившись в ее сторону, — заваливай, все там будем. — И первый принялся за работу: резко, нахраписто, с каким-то непонятным остервенением. — Пожила.

В две лопаты они быстро накрыли бабу, выровняли и даже обложили холмик заваливающим деренком. Потом отец выдернул с ближнего пригорка какую-то местную диковинку с пузырчатым стволом, вкопал ее в могильное изголовье и лишь после этого отряхнулся, охолонул, отмяк:

— Ну вот, всё как у добрых людей. — Он расчувствовался, глядя на свою работу, мягко засветился весь. — Наш брат тоже не без понятия. — Он вновь поискал глазами в сторону жены. — Пошли, мать, чего уж там, не наплачешься.

Та, действительно, словно заведенная, поднялась, повернулась и двинулась к поселку, а он подался за ней, стараясь и не оказаться назойливым, и в то же самое время всем своим видом убедить ее, что он, ее муж, здесь, рядом, и «тоже понятие имеет», и в случае чего окажет себя.

Со стороны эти заходы его могли показаться немного смешными, но Федор-то доподлинно знал, что любит отец свою бессловесную жену, до беспмятства любит, хоть, видно, двух слов ей ласковых за всю жизнь не сказал, век в страхе держал, характер показывал, и поэтому, глядя на них сейчас, парень вновь и вновь проникался к ним обоим острой, до ломоты под ложечкой, нежностью: «Дал Бог родителей, водой не разольешь, черти полосатые!»

Жизнь впереди представлялась ему теперь маняще загадочной. Хоть за четыре года военной карусели он и по привычке к резким переменам судьбы, но это

вот, почти внезапное перемещение из одной части света в другую вызывало в нем чувство полусна-полуяви, невсамделишности его сегодняшнего существования: «Надо же, елки-палки, занесло куда, к черту на кулички, хочешь — не хочешь, живи теперь!»

С океана тянуло легкой прелью и канатной смолой. Ровная, почти без морщинки вода распластывалась до горизонта, и блистающая ее поверхность беззвучно дышала, слегка испаряясь бледно-сиреновой дымкой. Видно, таким и увиделся этот простор тому, кто назвал его «тихим».

Поминать завернули в столовую. С трудом нашли свободное место, где мать выпростала из полотенца тарелку с приготовленной заранее кутьей:

— Помянем, Христа ради, рабу Божию Аграфену, — она мелко перекрестилась. — Буде земля ей пухом, Царствие ей Небесное.

— Готовил к новоселью, а пить за упокой приходится, — отец воровато извлек из-под телогрейки бутылку с самогоном, зубами выдернул обернутую тряпицей затычку. — Добро бы пригласить кого, непорядок это — без гостя поминать, мы все ж таки народ крещеный.

Федор машинально огляделся, неожиданно для себя встретившись глазами со своим собеседником с парохода: тот в одиночестве сидел за пустым столом, понятливо устремляясь в их сторону.

— Здоров, земляк, — кивнул ему Федор. — Подгребай, гостем будешь, бабка вот померла, поминаем.

Поминали сперва молча, но после третьей деревенский первач взял свое: языки развязались.

— Значит, Аграфеной звали? — гость завел издалека, как бы прилаживаясь, примеряясь. — Это надо же, всю жизнь в деревне прожила, на Курилы помирать приехала. Сдвинулась Расея-матушка, поехали за кудыкины горы, а где остановка будет, один Бог знает. На этих Курилах и земли-то, считай, нету,

один камень, и тот на огне стоит, вот-вот провалится. Вон, чувствуете? — Где-то вдали глухо и сдавленно погрохатывало, отчего утлая коробка столовой едва ощутимо сотрясалась. — То-то и оно. Говорят, из Москвы начальство появилось — порядок наводить. Одначе у небесной канцелярии свое начальство, ихних приказов не слушается. Сидеть бы нашему брату на месте, у печи, а не шляться туда-сюда по миру...

Речь его грозила затянуться надолго, и Федор, которому позарез необходимо было показаться кадровику, заспешил:

— Допивайте без меня. Мне еще оформиться надо, а потом к военкому на учет становиться. Бывайте...

4

В отделе кадров оказалось не протолкаться: люди сидели, стояли, входили и выходили, до самого потолка густо пластался табачный дым, в котором бестелесными рыбами тонули, плавали голоса, множество голосов.

Кто-то рядом с Федором, бровастое лицо под шапкой-ушанкой в дремучей щетине, монотонно жаловался без адреса:

— Пригнали, куда Макар телят не гонял, а порядка нету. Дали жилье на пятерых, вдвох не повернуться, не жилье, а сени, изо всех дырок текет. Опять же харчи. Мне ихней рыбы на дух не надоть, витамина, говорят, много, полезная, значит, а мне эта витамина безо всякой пользы, только на двор тянет. Мне без круп еда — не еда. В Москве кисельные берега сулили...

Из-за жиденькой перегородки, отделявшей кабинет начальника от его же приемной, доносился скрипучий, с надрывом фальцет:

— Какой ты к чёртовой матери сварщик, без году неделя к ведрам дужки приваривал, да и на кой чёрт мне сварщики, рабочие к сетям нужны! Да не суй ты мне свою красную книжечку, у меня их целый ящик, хоть на елку вешай, на ремзаводе вашего брата полный комплект. Вербовался разнорабочим, вот и давай к сетям. Всё... Следующий!

Промаявшись в этой колготне чуть не до вечера, Федор проник, наконец, в заветный кабинет, где очутился перед взъерошенным горбуном лет пятидесяти, в очках с проволочной оправой, из-под которых на него вопросительно уставились колющие от постоянной злости глаза:

— Договор при себе? — Он цепко выхватил у Федора протянутые им бумаги, едва взглянув, выдвинул волосатую руку к горе папок на полке сбоку от себя и, будто фокусник крапленую карту, ловко выдернул оттуда необходимый скоросшиватель. — Так. Посмотрим, — быстренько перелистал и сразу же обмяк, подобрел. — Прямо скажем, Самохин Федор Тихонович, личное дело у тебя красивое. — Он откровенно любовался посетителем. — С такой анкетой хоть сейчас в партию, сам рекомендацию дам. Нам такие люди нужны, Самохин, такие орлы нынче на дороге не валяются, сюда всё больше шпана, рвачи, золотая рота за длинным рублем налетела: дерьма без присмотра не оставь, разворуют и пропьют. И к тому же, граница близко, глаз да глаз нужен, спьяну-тр чего в голову не взбрет. Нам на почтовый катер человек требуется, пост ответственный, японские воды — рукой подать, глядеть нужно в оба, тут необходим проверенный кадр. Я вот смотрю, ты в войсковой охране служил, шоферское дело тоже знаешь, тебе и карты в руки. Механика нехитрая, на ремзаводе ребята натакают. Лады? — И, заметив, видно, что Федор еще колеблется, зашпешил, заторопился: — Давай, дуй в медпункт, здесь же в бараке, с другого бока, бери

справку о здоровье и оформляйся. Всё. Следующий!..

Около медпункта стоять не пришлось. Дверь, ведущая туда прямо с улицы, была открыта настежь. Федор, постучавшись для порядка о косяк, вошел и, едва открыв рот, захлебнулся начатым словом: у открытого шкафчика с медикаментами стояла женщина в белом халате и смотрела на него так, будто давно и уверенно ждала его прихода.

— Полина Васильевна... Полина... Поля...

И на него пахнуло той гулкой, сырой осенью сорок первого года, когда он после контузии, полученной при отступлении от Брянска, отлеживался в одном из московских госпиталей в ожидании выписки и отправки на фронт. Дни за окном стояли тусклые, похожие один на другой, с порывистой изморосью и мокрыми туманами по вечерам. Сквозь ржавую хвою госпитального парка хмуро просвечивало разбухшее небо, распатланные облака вяло волочили вихрастые космы по верхушкам деревьев, и приплюснутый сыростью окрест мутно растекался к окраинным горизонтам.

С утра до отбоя, изнывая от безделья, Федор резался в шашки со своим соседом по палате Яшей Куперником — стрелком-радистом, в бинтах, как в коконе, с прорезями глаз и рта на безликой марле, дни текли под стать погоде, грузно, серо, и госпитальной тяготине этой, казалось, теперь не будет конца.

На Яшу это спертое однообразие никак не действовало, скорее наоборот: день ото дня тот становился всё оживленнее и напористей. Федора располагала в нем неиссякаемая дурашливость, сквозь которую временами, словно ржа на зеркальной жести, проступала, прорезалась потаенная горечь. Казалось, Яша с яростной одержимостью укачивал в себе словами, потоком, лавиной слов долгую и уже неутолимую боль.

— Родители считали меня вундеркиндом, — он влажно поблескивал глазами из-под бинтов, завораживая напарника вязью нервной скороговорки, — только потому, что я в пять лет умел одним пальцем отбарабанить на пианино «чижик-пыжик, где ты был». И можешь себе представить, они потащили меня в столицу нашей родины, к самому Ойстраху. Что там было, вспомнить страшно: папа кричит, мама плачет, Ойстрах последние волосы на себе рвет: еще один вундеркинд на его голову! И на мое еврейское счастье я-таки в конце концов попал в эту самую консерваторию, чтоб ей было пусто, и даже почти кончил ее, спасибо, война помешала. Теперь вот, — легонько постучал друг о друга загипсованными кульями, и сквозь марлевые прорезы на Федора излилось короткое отчаянье, — слава Богу, отмучился, разве что на барабане без палочек приспособят...

Это почти исступленное отчаянье с каждым днем всё более отягощало Федора сознанием какой-то смутной вины. Федор постепенно начинал стыдиться своей легкой контузии, своего аппетита, даже своих не поврежденных войной рук. Ему казалось, что, уцелев такой недорогой ценой, он как бы обокрал Яшу и вообще ребят вроде этого Яши, а теперь живет за их счет, на их хлебах и здоровье. И, хотя в голове по утрам еще тошнотно позванивало, острой болью отдаваясь в затылке, Федор томился ожиданием вырваться отсюда в любое пекло, лишь бы поскорее. Он уже потерял было надежду, когда однажды под вечер его вызвали в кабинет дежурного врача, где навстречу ему поднялся высокий, с ранними залысинами майор:

— Самохин? Федор Тихонович? Девятнадцатого года рождения? — Майор, не глядя на него, резко перелистывал папку, то и дело слюнявя прокуренные пальцы. — Комсомолец? Из крестьян? Деревня Сычевка Тульской области? Не женат? Прошел боевое крещение? Так. — Здесь он в первый раз вскинулся на

Федора, взгляд был долгий, неподвижный и скорее в себя, чем вовне. — Что ж, Самохин, анкета у вас подходящая, пролетарская кость застрянет в горле у любого врага. Берем вас на объект особой важности, проявляем к вам доверие, понимать должны, строжайшая секретность, как говорится, ешь суп с грибами... Понятно?

— Понятно, — Федор не знал, горевать или радоваться: возможность наконец-то вырваться из госпитальных стен празднично облегчала его, но в то же время служба в ведомстве, о котором вокруг говорилось с опасливой оглядкой, ему никак не светила. — Наше дело солдатское.

Майор одобрительно крикнул, захлопнул папку, воззрился в его сторону, заученно определил:

— Завтра в восемь ноль-ноль, в приемном покое. Документы получите у меня. Ясно? Выполняйте.

Наутро обшарпанная полуторка, переваливаясь с колеса на колесо, тащила его подмосковными перелесками к новому месту назначения. Поздняя осень окисала сыростью и распутицей. Голые чащи с пронзительно яркими вкраплениями рябиновых гроздьев источались липкой, словно плесень, изморосью. Редкие прогалины стекали под колеса сплошной хлябью, и временами казалось, что машина вовсе не катится, а плывет сквозь рухнувшее на землю небо.

Федор маялся в кузове, среди мешков и ящиков, покуривал, поругивался тихонько на ухабах, чутко подремывал: приходилось часто вставать, спускаться в придорожную топь, подсовывать под колеса заготовленные на этот случай горбыли, а затем в паре с майором упираться плечом в задний борт, помогая колымаге выскрестись из очередной ловушки.

Шофер — долговязый старшина, ушанка сдвинута почти на ухо, новенький бушлат нараспашку — мрачно матерился с подножки, посверкивая в их сторону металлическими зубами:

— Техника, твою мать! Утильсырье на колесах, туды твою растуды, на ней не ездить, а только орехи колоть, и то не годится, мать твою перемать! Резина совсем лысая, сколько прошу, едреный стос, никакого внимания, одно название, что органы, мать их так!

— Прекратите, Губин, за такие разговорчики и под трибунал недолго попасть. — Стоя по щиколотку в грязи, майор было попытался для пущего убеждения даже притопнуть ногой, но в голосе его при этом не чувствовалось ни воли, ни настойчивости, одна только усталость: сплошная, долгая, глубокая. — Вы чекист, Губин, стыдитесь!

С наступлением сумерек на пути стали возникать дозоры боевого охранения. По мере следования они учащались, выявляясь из полутьмы в самых неожиданных местах: сказывалась близость прифронтовой полосы. Майор обменивался с часовыми шепотной скороговоркой, и полуторка следовала дальше: в лес, в ненастье, в наступающую ночь.

Когда, наконец, фары выхватили из чернильной теми бревенчатый дом с наглухо задвинутыми ставнями, Федору уже не хотелось ни вставать, ни двигаться: ночь навалилась на него всей своей сонной мощью. Всё последующее звучало, мельтешило, двигалось где-то извне, вокруг, поверх осевшей в нем дремотной тяжести. С этой тяжестью его и несло затем через слякоть и темь в тускло освещенную семилинейкой комнату, где перед ним обозначилось крепкое, в мелких рябинах лицо широкоплечего парня в расхристанной гимнастерке:

— Сморило, служивый! — Парень суетился вокруг стола, расставляя на нем нехитрую снедь: спирт, хлеб, консервы. — Опрокинь с дороги и — на боковую. Я тут пожух, один сидючи, душу отвести не с кем. Хотя место тут, — он многозначительно подмигнул гостю, — скучать не приходится...

Под его ласковый говорок Федор и заснул, окончательно сморенный хмельной истомой. И снилось ему жаркое лето в деревне, с голубыми бубенцами васильков в почти коричневой ржи, через которую причудливо вилась пыльная колея. По ней, по этой колее, навстречу ему, как бы не касаясь земли, двигалась его мать, и дорожная пыль из-под ее босых ног плыла наподобие легкого облачка: «Испей, Феденька, водички, а то кваску холодного! Феденька!..» И голос ее обволакивал Федора безмятежностью и синевой.

И сон в руку: Федор пробудился, осиянный такой слепящей благодатью, что хотелось зажмуриться и долго лежать так, неподвижно, освобождаясь от вчерашней тяжести и пасмурных воспоминаний. За окном щедро царствовало солнце. Полая еще накануне даль ожила, раздвинулась и принарядилась. Празднично умытое небо туго вытянулось к самому зениту. Сквозь остов ближнего леса белесой паутиной тянулся туман, в котором, словно цветные рыбы в аквариуме, трепетала полуистлевшая листва: черное с золотом, подсвеченное дымчатой каплейю.

— Считай, что погоду привез, солдат, — вчерашний парень стоял на пороге с охапкой дров на руках, сияя своим крепким, в мелких рябинах обликом, застегнутый на все пуговицы и молодецкато подтянутый, — закисли, в самом деле, от этой мокроты, думали, так до снега и доморосит. — Он ловко орудовал растопкой, огонь занимался у него под рукой споро и весело. — Разом чайком опохмелимся и — на доклад к начальству. Майор наш только с виду строг, а в деле мужик уважительный.

Так же ловко и аккуратно он собрал на стол, заварил чай, разлил кипяток в кружки, а затем по-хозяйски уселся напротив. Было видно, что он искренне рад новому сослуживцу, что роль хлебосольного хозяина ему нравится и что вообще для него собеседник или слушатель — долгожданный подарок. «Да, видно,

наседелся ты здесь бирюком, брат, — присматривался, прислушивался, мотал на ус Федор, — дорвался теперь до разговору».

— Меня, для ясности, Николаем зовут, Носов фамилия. — Он явно блаженствовал, прихлебывая из кружки. — Тоже после госпиталя сюда попал, возле Киева под бомбежку угораздило, осколок чуть повыше поясницы застрял, к погоде ноет, а так — ничего. У нас тут все чем-нито поврежденные, кто — телюю, кто — кумполом. Одно слово, полтора инвалида да баба впридачу. Только баба, я тебя скажу, жох, одной титькой двух прибьет, с характером женщина, ничего не скажешь, врачаха, сам увидишь. Механик при самолете опять же фрукт, тронут, правда, но безвредный. Майор этот, вот и вся команда. Летунов, когда надо, из поселка привозят, верст пять будет, там у их полк стоит.

— А когда это самое «надо»-то? — попробовал осторожно пощупать Федор. — Что за объект тут такой?

Тот словно только и ждал этого его любопытства: радужно просиял, заспешил, заторопился, отставив кружку в сторону и доверительно к нему подавшись:

— Оно, конечно, наше дело телячье, солдатское, винт в руки и — топай себе в боевое охранение, однако, верно я скажу тебе, братишка, объект этот самый что ни на есть секретной важности. Разведку в тыл врага забрасываем, понимать надо! Всё больше молодняк, вроде нас с тобой, зато по-немецкому, как по-нашему, чешут. Майор их здесь натаскивает напоследок, а Полина Васильна, врачаха значит, насчет здоровья проверяет, больного на такое дело не пошлешь. Плохо только, — он сожалительно вздохнул, поднялся, — промеж себя, как молчуны, живем, всяк в своей щели прячется, одно — по службе и говорим, если что. С механиком другой раз можно перекинуться,

когда он тверезый, только ить не просыхает совсем. Мы с тобой в этой халупе вдвох обитаем, белая кость там, — он кивнул в окно, — в сосняке живет. — Парень, с ног до головы — по уставу, уже нетерпеливо топтался у порога. — Пора по начальству, солдат. — И уже выходя: — Как зовут-то тебя?

За редкими деревьями перед крыльцом проглядывалась большая, тщательно выкошенная поляна в окружении густого подлеска, за которым возвышалось темное полотнище бора. Тропа вывела их сначала на поляну, а потом через нее и через подлесок в самый бор, к дачного вида строению, облепленному со всех сторон целым набором пристроек и пристроек.

— Заходи, не укусит, — Носов легонько подтолкнул его к дому. — Как войдешь, дверь по левую руку, а я покурю покуда. Главное — молчи, пускай позудит, он это любит, позудит, позудит и отпустит. С Богом!

После слепящего света поляны в прихожей было, как в погребке. Федор почти на ощупь отыскивал нужную дверь, постучал. За дверью некоторое время стояла тишина, затем глухо отозвалось:

— Войдите. — Майор сидел, шинель на плечах, глядя куда-то сквозь Федора, вялым жестом пресек попытку гостя доложить по форме. — Отставить. Садитесь. — И сразу, без всякого выражения на лице, сухо, затверженно, с каждым словом всё уходя и уходя долгим взглядом в самого себя: — Органы, Самохин, — карающий меч революции, глаза и уши нашей партии. Внутренний враг сегодня действует у нас в тылу заодно с врагом внешним, под угрозой завоевания великого Октября. Международная гидра задумала вновь навязать нашему рабочему классу и трудовому крестьянству царя, помещиков и капиталистов. Одним словом, — закончил он буднично и почему-то мотнул затылком на портрет Дзержинского, одиноко висевший у него над головой, — смотри в оба. Всё, что делается на объекте, — военная тайна. Что видишь,

что слышишь, тут же забудь, выброси из головы. Любое разглашение — трибунал, вплоть до высшей меры. Ясно? Насчет обязанностей Носов просветит. Зайдите сейчас к врачу, дверь напротив, покажитесь для порядка. Идите.

Еще до того, как Федор ее увидел, вернее с того момента, когда Носов упомянул о ней, его не оставляло смешанное чувство смутной тревоги и преддверия какой-то вещи для него неожиданности. И стоило Федору увидеть ее, чтобы предчувствие лишь укрепилось и обрело явь: перед ним оказалась рослая и ровно в меру этого роста полная женщина лет тридцати с насмешливо властным выражением на крупно и ладно вылепленном лице. Темные волосы, уложенные в высокий пучок, венчали ее упрямой посадки голову, словно корона.

— Здоров, как бык, — отводя от его груди стетоскоп, добродушно хмыкнула она, — можешь облачаться. Жить тебе и жить, солдат, до ста лет, если раньше не умрешь. Из деревни, видно? — Ее насмешливость не обижала, скорее подзадоривала, вызывала на разговор. — Откуда, из какой области?

— Тульский. — Федор невольно заражался ее тоном. — Нас еще самоварниками зовут.

Она коротко колыхнула всем телом, просияла уверенным обликом, младенчески обнажая две ямочки на щеках, одну — на подбородке:

— Ладно, топай, самоварник, служи Советскому Союзу, тебе к докторам рано ходить, а так, на огонек, заглядывай, тоска здесь, не приведи Господи, зеленая.

Она снисходительно, как маленького, погладила его по стриженной голове. И это ее бездумное движение вызвало в нем такую жаркую волну ребячьей благодарности, что он, боясь расплакаться, опрометью бросился прочь.

Носов подался Федору навстречу, нетерпеливо при-

плясывая: парня заметно распирало тряское любопытство:

— Ну как? — Он кивнул в сторону дома. — Хороша парочка: баран да ярочка? Друг дружки стоят! Живут, как кошка с собакой, только виду не показывают. Чегой-то у них промеж себя давно тянется, думаю так, с довойны еще, катавасия какая-то. — Прищурил белесые ресницы, вопросительно воззрился. — Зазывала, небось? Не связывайся ты с этим делом, погоришь, как швед. Тут до тебя много перебивало, все на фронт загремели, у этого майора не забалуешься, мягко стелет да жестко просыпаться. Пойдем-ка лучше к механику, с им веселее будет, хотя тоже пыльным мешком из-за угла трахнутый...

Они обогнули дом и задним ходом, через террасу, поднялись по шаткой лестнице в мезонин, сплошь заваленный горами летней рухляди. На всем здесь лежал налет тлена и запустения: беспорядочная мешанина мебельного лома, пыльного тряпья и паутины.

— Леонид Петрович, — опасливо позвал Носов, заговорщицки подмигнув спутнику, — спите?

В дальнем углу, справа от единственного окна, натужно заскрипели пружины, потом на фоне оконного света проявилась взлохмаченная голова без лица. Постепенно привыкая к полумраку, Федор разглядел на слитном пятне этой головы пухлые или распухшие губы в обрамлении недельной щетины, над ними — нос картофелиной и глубоко запавшие светлячки глаз. Прежде чем он услышал голос, на него потянуло запахом устойчивого перегара.

— А-а, это ты, Никола, подгребай давай. — Голова исчезла, откачнувшись в темь, снова тяжело скрипнули пружины. — Здесь вроде еще осталось малость, добьем.

Когда глаза Федора окончательно освоились с пыльным сумраком, он разглядел в углу под окном старый диван без спинки, кое-как застеленный армей-

ским одеялом, а на нем сильно помятую похмельем фигуру с полупочатой бутылкой в руках.

— Следующий прибыл? — Губы среди щетины раздвинулись в хмурой ухмылке. — Так сказать, еще один эксперимент. Посмотрим, посмотрим, хватит ли вас, дорогой товарищ. — Он извлек откуда-то из-под себя погнутую вкривь и вкось кружку. — А пока садитесь, дорогой товарищ, обмоем, так сказать, ваше прибытие. Приборов больше нет, привыкайте, дорогой, по очереди.

Куца выпивка слегка вдарила в голову, но к разговору не расположила. Только механик, замыкаясь в хмельном кругу, отрешенно светился дальними видениями:

— Вот помню, в Гори ребята с моста прыгали... — Но, видно, живо представив себе, как они — эти ребята — прыгали с моста в Гори, он счел тему исчерпанной и умолк до следующего воспоминания. — Когда я увидел ее в первый раз там, в Краснодаре...

Кого и как он увидел в Краснодаре, слушателям оставалось догадываться. В конце концов механик сомлел, откинулся на спину, и по щетинистому его лицу разлилась блаженная дремота: наверное, в эту минуту ему мерещилась еще одна радужная картина прошлого, которая уже не нуждалась в свидетелях со стороны.

На обратном пути Носов беззлобно жаловался Федору:

— Видал компанию? Считаю, четвертый месяц с ими валандаюсь, и конца краю этому не видно. Правду сказать, служба тут — не бей лежачего: три печи вытопить да за мотором присматривать, вон возле стожка под маскировкой прячется. — Федор проследил его взгляд: в противоположной части поляны, впритык к лесу, стоял затянутый маскировочной сеткой одинокий «кукурузник». — Харчи из поселка возят, стирка тоже там; одно слово — солдат

спит, служба идет, жить можно. Чего я на фронте том не видал, нынче дураков нету. Обойдешь сегодня в ночь это хозяйство разок-другой и спи себе до третьих петухов, а завтрава мой черед... Только от кого тут караулить, кругом оцепление на оцеплении, оцеплением погоняет.

Поздним вечером Федор вышел в свой первый обход. Осенняя темь матерела, набирала силу, круто сгущая холодеющий воздух. Время от времени то тут, то там от стылой бездны отрывалась звезда и, пересекая небо наискосок, осыпалась, исчезала в ночной черноте. Всё кругом дышало ровным покоем, жилой глубиной и мирной безмятежностью. Даже не верилось, что где-то совсем рядом вытягивался фронт, может быть, самой большой на этом веку войны.

«И сподобило же тебя попасть сюда, Федя, — подвел он черту минувшему дню, — не сносить тебе тут головы!»

5

Погода установилась ясная, с ранними заморозками, с солнечной капелью в полдень, с зябкими туманами по вечерам. Обязательства у Федора оказались и впрямь несложными. На рассвете он, наскоро перекусив, отправлялся в лес, рубил сухостой на дрова, загружал и растапливал две печи — у майора и врачихи — в большом доме и шел отсыпаться до самого обеда к себе в караулку. В те часы, когда Федор управлялся, оба еще спали, а потом спал он, после чего каждый из них закрывался на своей половине, и поэтому за два дня жизни на объекте ему так и не удалось толком увидеть их, не то что перекинуться словом. Вечерами, обходя хозяйство, Федор подолгу вглядывался в светящийся проем ее окна, но зайти, сколько себя ни уговаривал, все-таки не решился.

«Не по тебе дерево, Федя, — отмахивался он от соблазна заглянуть в манящую пропасть, — только на смех подымет».

На третий день утром, возвращаясь из леса, он на крыльце большого дома нос к носу столкнулся с черно-волосым парнишкой, почти мальчиком, в спортивной паре и парусиновых тапочках на босу ногу. Тот, деловито поздоровавшись, сбежал по ступенькам, сосредоточенно занятый на ходу гимнастикой. «Не поможет тебе, друг, твоя физкультура, — усмехнулся про себя Федор, глядя на его щуплую, даже тщедушную плоть, — попроси лучше маму родить тебя сызнова».

Майор, против обыкновения, оказался на месте. Тут же находился и механик, на этот раз выбритый до синевы, в заношенной, но щегольской кожаной куртке, из-под которой виднелась новенькая гимнастерка с сержантскими треугольниками в голубых петлицах.

— Вот что, Самохин, — майор впервые окинул Федора оценивающе осмысленным взглядом, — поступаешь в распоряжение Лялина. С сегодняшнего дня каждое его слово для тебя — приказ. На объекте состояние боевой тревоги номер один. Ясно? Выполняйте.

По дороге механик морщился похмельно тяжелым лицом, говорил отрывисто, в сердцах:

— Чудит на радость маме, чмур недоделанный... Поможешь заправить, — он боднул воздух впереди себя, — эту керосинку, вот и вся твоя, дорогой товарищ, тревога номер один. Остальное — моя забота. — Вяло копошась вокруг самолета, он продолжал тихонько поругиваться и ворчать. — На нем не только в тыл врага, на нем дышать страшно, вот-вот развалится... Конашевич — сумасшедший, вот и взлетает... Этот Конашевич и на швейной машине взлетит... Нашли дурака, вот и пользуются... Иди себе, солдат,

не путайся под ногами, лучше выпей с Николой, больше пользы будет.

— Мне приказано, я и путаюсь, — обиделся Федор. — Начальников много, а я один.

Механик повернулся к нему всем корпусом, виновато поморщился, сказал тихо, печально, назидательно:

— Человека с похмелья понимать надо, солдат, человек в это время не в себе находится, человек в это время в мятежных сферах витает, его дух разрушения жаждет... Чу! — внезапно встрепенулся он: неподалеку, среди леса, возникло сбивчивое тарахтение мотора. — Еще один гроб на колесах грядет, Конашевича на заклание тащат.

По дороге, ведущей из леса, вперевалку выкатилась знакомая Федору полуторка и вскоре заглохла перед крыльцом караулки. Тут же от машины отделился человек в коже с головы до ног и почти бегом направился к ним через поле.

— Леха! — он еще издалека принялся размахивать летным шлемом над собой. — Не дрейфь, за счет фанеры взлетит, она легкая! Здорово, Леха!

Появление гостя преобразило механика: глаза его ожили, приобрели блеск, плечи выпрямились, на опавших щеках проступило нечто вроде румянца:

— У тебя, Вовчик, и без фанеры взлетит, здорово! — Лялин бросился к нему навстречу, они обнялись и так, обнявшись, принялись неуклюже тискать друг друга. — Прогреем разок-другой, захлопочет, как миленькая, не таких в чувство приводили.

— Давно мы с тобой не пили, Леха, — удовлетворенно похохатывал гость, — вернусь, напьемся — нальемся в драбадан!

— В доску!

— В лоск!

— В дымину!

— В стельку!

— В дрезину!

Они, видно, повторяли эту игру не в первый раз, в чем угадывался какой-то особый, понятный только им двойим смысл, отчего их разбирало еще большее веселье.

— В зеленого змия!

— В него, ползучего!

Потом они втроем сидели в караулке, коротая время за чайком, под который Конашевич щедро одабривал их своей смешливой говорливостью:

— В полку ребята писают под себя кипятком: новые машины пришли. Старье на турецкую границу отправляют. Может, наконец, воевать начнем, а то не война, а сплошные поддавки, только людей гробим. И каких людей! Кадровых ассов на удобрение переводим, сердце кровью обливается! — Он вдруг погас и ожесточился. — Ваши тоже чудят. Куда их там, этих сосунков, забрасывать? Им еще в «казаки-разбойники» играть. С первого курса берут: айн, цвай, драй да хенде-хох, вот и весь ихний ин-яз. Бросают, как горох на камень: глядишь, прорастет. Да не прорастет ведь! — Его даже перекосило. — Перестреляют, как куропаток!

Носов с шумом объявился на пороге, всей своей выправкой выказывая услужливую исполнительность:

— Товарищ старший лейтенант, к майору!

— Начинается волынка, — нехотя поднимаясь, ухмыльнулся тот, — поговорить не даст, чёрт полосатый! — И уже за дверью: — Ждите, мужики, скоро вернусь...

— Человек! — глядя ему вслед, механик торжественно поднял палец вверх. — Мы с ним вместе взлетали, вместе падали, вместе из окружения выходили. Да где там выходили, он меня на себе выволок. Я за ним с закрытыми глазами куда угодно, в огонь и в воду. Теперь таких раз-два и обчелся, теперь такие,

как мамонты, вымирают, скоро совсем не останется, ценить надо, дорогие товарищи.

— Чего говорить, — поспешно согласился с ним Носов: он, по всему судя, готов был соглашаться со всем и с каждым, если это не требовало от него обязательств или усилий, — старшему лейтенанту палец в рот не клади, с головой мужик.

Механик безглаголиво скривился, сузил глаза и посмотрел на солдата так, как смотрят на что-то крохотное, почти неразличимое:

— Топчешь планету, Носов, а зачем? Какой палец, какой мужик, какая еще голова? Я тебе про высокие материи толкую, про жизнь и смерть, про родство душ, а ты ко мне со своими прибаутками лезешь. Эх, колхоз! — но тут же смягчился: — Ладно, садись, слушай, хоть ты этого и не заслуживаешь... Сбили нас под самым Львовом...

Это была история, точь-в-точь похожая и непохожая на десятки других, подобных же, из тех сотен, что довелось выслушать Федору горьким летом войны. В ней тесно переплетались правда и вымысел, с терпким привкусом пережитого страха, скрытого стыда и восхищения собою. В ней два человека, прячась, плутая, путаясь в трех соснах, словно замученные, чужаясь жилья и дорог, пробирались в ту сторону, откуда поднималось солнце, а оно светило им навстречу — долгое, палящее, безжалостное. Скорбное солнце начала войны...

Конашевич вернулся, когда поле и лес за окном медленно растворялись в густеющих сумерках, тепло земли отлетало к студеным высям, где уже изрядно и резко высыпало: две временные поры пересекались друг с другом на стыке дня и ночи, и зима заметно одолевала.

— Замучил, лягавый, — он остервенело сплюнул, — делать ему нечего, мильтону. Подъем, братва,

труба зовет, через час-полтора можно взлетать, начальство уже на месте...

К самолету двигались молча: атмосфера сугубой важности происходящего настраивала их на несколько торжественный лад. У них на глазах и с их участием совершалось некое таинство, секретное действие, запретный обряд. И обряд этот обязывал каждого из участников к известному самоограничению или жертве, что сообщало им чувство сослужения с чем-то, куда более значительным, чем каждый из них сам по себе.

На месте их уже ждали. Майор выступил из темноты, забубнил вполголоса:

— Пора, время не терпит. Товарищ старший лейтенант авиационной службы, вы готовы к выполнению боевого задания? Рядовые Носов, Самохин, собирайте костры для посадки: ровно через два часа пятнадцать минут машина будет обратно. Ясно?

— Ясно, — буркнул Конашевич и нырнул в темь, к самолету. — Не маленькие, а насчет «обратно» расписание у Всевышнего. — И затем к механику: — Гляди в оба, Леня, взлетаю вслепую.

И слился с крылатым силуэтом.

— Копни сенца посуше, — шепнул Носов Федору. — Я хворосту подтащу, разложим в разных концах, зальем бензинчиком, полыхнет за милую душу. Иди, иди, — тихо и, как показалось Федору, с особым значением гоготнул он, — не бойсь.

Но едва расплывчатое пятно копны выделилось перед ним из лесного сумрака, как навстречу ему оттуда же выпростались и поплыли, переплетаясь, два голоса:

— У меня это в первый раз было, честное слово, Поля...

— Я знаю.

— Разве это можно знать?

— Можно. Я старая, я все знаю.

— Какая же ты старая, десять лет — не разница.

— Еще какая! Это тебе сейчас кажется, что немного, пока молодой, а повзрослеешь, сразу заметишь.

— Я тебя всё равно не забуду, Поля.

— Спасибо, милый.

— Я к тебе вернусь.

— Возвращайся, я ждать буду, обязательно возвращайся, кого же мне ждать еще...

— Правда, Поля?

— Правда, правда, Миша, чистая правда...

Ночь отозвалась голосом майора:

— Лейтенант Гуревич, вы готовы? Пора.

В темноте зашуршали сеном:

— Есть, товарищ майор!.. До свиданья, Поля, теперь надолго, пока война не кончится.

— До свиданья, Миша, береги себя, смертей много, жизнь — одна.

— Только для тебя, Поля, только для тебя. Жди...

Сначала в Федоре все замерло, затем оборвалось, перехватив горло обжигающе удушливым колотьем. Еще вчера, смутно прозревая только что случившееся, он всё же не ожидал, что это произойдет так внезапно, так близко, так до унительности обыденно. «Так вот оно, однако, как бывает, — Федору казалось, что он задыхается, — будто и вправду птичий грех!»

Остальное доносилось до него уже сквозь яростный шум в ушах и легкое головокружение:

— От винта!

— Мотор!

— Поехали!..

Под свист рассекаемого воздуха и стрекот пропеллера крылатая тень выскользнула на освещенную молодой луной поляну, стремительно уменьшаясь, пронеслась по ней и в следующее мгновение трепетно взмыла над зубчатой кромкой леса, а вскоре безраздельная тишина снова заполнила собою ночь.

И лишь после этого в глуховатом голосе майора прорезалась снисходительная нота:

— Ладно, хлопцы, примете машину и можете быть свободны, отсыпайтесь, хоть до обеда. — И вдруг тоненько, почти жалобно: — Товарищ Демидова, куда вы, подождите!.. Полина Васильевна!.. Полина Васильевна! — Голос его звучал всё дальше и глуше. — Полина!..

Устраиваясь около Федора, Носов долго шуршал сеном, сопел, сплевывал, хмыкал и, наконец, прорвался:

— С Лялиным пошла, да от него какой толк, ему бы только выпить. Вот эдак кажинный раз, майор за ей, она — от него, не баба, а стервь, веревки из нашего брата вьет, а посмотреть — не лучше других, одна статья — тела много, а вот ведь присушивает. Путается с кем ни попадя, а с майором чистый зверь. Думаю, назло ему и путается-то. С чего это у них пошло, не знаю, только волынка ихняя давно тянется, это точно.

Он помолчал коротко, вздохнул. — Говорю тебе, Самохин, не встречай ты в этот омут, костей не соберешь. — И заторопился: — Давай-ка теперь загодя поставим метки, запалить потом — плевое дело.

Но и работа не отвлекла Федора от его навязчивого наваждения: он по-прежнему не мог думать ни о чем другом. В его жизни, и он был уверен в этом, такого еще не встречалось. Правда, жизни позади набралось — воробыю по колено, оттого, кроме школьных писуль да случайных обнимок на посиделках, ему и вспомнить нечего было по этой части, а сейчас он чувствовал себя так, будто его долго и остервенело били: в нем болело, ныло, саднило всё сплошь, с корешков волос до ног. Федора трясло от одной лишь мысли, что с нею мог быть кто-то другой, до него...

Звук возник сразу, из ничего, и повис, разрастаясь над лесом.

— Пали! — не то крикнул, не то выдохнул Носов. — Я с того конца, ты — с этого.

И кинулся прочь. Через минуту поляна озарилась пляшущим пламенем нескольких костров. В их неверном свете наискосок через поле бежал механик, приплясывая на ходу:

— Труби сбор, братва, пить будем! За Конашевичем не останется, гульнем по буфету!

Звук всё нарастал, приближался, стекал книзу, пока, наконец, подсвеченная спереди и с нижних боков птица не появилась над лесом.

Весело урча, она устремилась к ним, перед самой поляной резко осела, качнулась, колеса ее, легонько подпрыгивая, заскользили по траве. С чихом и тарахтеньем машина подрулила к стоянке и умиротворенно заглохла.

— Задраивай, братва, эту керосинку и айда пить! — В два прыжка Конашевич оказался на земле, извиваясь в объятиях механика. — Замерзли, надо думать, в ожидании выпивки?

Возня с маскировкой заняла у них не более получаса, после чего они гурьбой подались в караулку, где старший лейтенант достал из привезенного еще утром рюкзака обещанное угощение: три бутылки спирту и увесистую банку тушенки.

— Займись, Носов, это по твоей части, — Конашевич устало увядал. — Обмоем еще одного моего крестника, чтоб ему повезло.

Начинали молча, без тостов, будто отбывая обязательную повинность. После третьей душа переполнила грудь, сердце оттаяло, слова попросились наружу. Первым не выдержал тот же Конашевич.

— Вроде я здесь ни при чем, — понесло его, — приказано, выполняю, а вот тут, — он ткнул себя кулаком под сердце, — болит, будто я этого птенца сам в расход послал. Не могу больше, не полечу! Пусть судят: больше вышки не дадут, дальше фронта

не пошлют. Я не лягавый, я — летчик-истребитель! Хватит!..

Но речь его теперь была — не в коня корм: каждого уже одолевала своя собственная болячка. Механик, настигнутый окружившими его видениями, принался гнуть свое:

— Помню, мать моя покойная, она в горочистке секретаршей работала, сказала мне...

Что именно сказала ему мать, никого не интересовало, но покладистый Носов на всякий случай сочувственно кивал:

— Оно конечно... Это само собой... Какой может быть разговор!.. Бывает же!..

Окружающее как бы не касалось Федора. Он пил, не отставая от других, но хмель не действовал, а лишь распалял воображение. Какая-то гибельная сила тянула его туда, к светящемуся в холодной ночи окну. И, не в состоянии более противостоять этой силе, он под общий говор встал и двинулся через караулку, через лес, через поле навстречу плывущему из черной пропасти свету. И, преодолевая удушье, постучал. И она открыла. И, впуская, погладила его, как маленького, по голове.

И дальше не было ни яви, ни памяти.

6

Это затянулось у них до белых мух, до твердых заморозков, до тех пор, пока тяжесть зимы не обложила всё вокруг долгими холодами. По утрам, когда после бессонной ночи Федор отсыпался в караулке, Носов, занятый хозяйством, беззлобно гудел у него над ухом:

— Говорил я тебе, чудаку, не связывайся, не твоего огорода такой овощ. Вон в поселке девок навалом, сами просятся, хоть кажинный день новую, а эдакие-то не для нашего брата, мы им вроде баловства, с жиру

бесится стерва, тела девать некуда. А майор узнает, на фронт пойдешь, а чего ты там не видел на фронте-то, или не навоевался? Брось, парень, верно тебе говорю, брось!..

Федор и сам сознавал, что тот прав, что ношу он примеряет для себя непосильную и что груз этот в конце концов придавит его. Но едва на дворе высыпало и там, в доме на той стороне взлетной площадки, вспыхивал свет, его, словно лунатика, поднимало с места, и он опять украдкой пробирался туда, чтобы начать всё сначала.

Это прервалось лишь с появлением очередного «мальчика», жизнь которого на объекте против обыкновения затянулась: что-то застопорилось в отлаженном механизме переброски. Федор потерянно кружился, тыкаясь из угла в угол, с замирающим сердцем следил, как зажигается, а затем гаснет свет в ее окне, клял себя, свою блажь, свою слабость и мучился ревностью: «Сука, сука, — размывало его ревнивое иступление, — змея подколотная!»

Вялый после запоя механик при встречах выговаривал ему лениво и скорбно:

— Не жилец ты, Самохин. Смертник, можно сказать. Это для тебя, как мина замедленного действия: рано или поздно взлетишь на воздух. Она не таких в распыл пускала. Залей лучше этот пожар ратификатом, похмелись с перепоею и забудь, завяжи морским узлом на веки вечные. Я тоже чуть не попал, еле выбрался. Послушай дяденьку, дорогой товарищ, дяденька битый. Упрешься, не сносить тебе головы...

И надо же было тому случиться, что однажды утром он встретил их — ее и его, этого нового мальчика, — по дороге из лесу. Огибая поле, они шли мимо него вдоль опушки, локти их касались друг друга, и по той снисходительной доверительности, с какой Полина в разговоре наклонялась к спутнику, Федор обморочно догадался, что все слова, которые он слышал от

нее в самые сокровенные между ними минуты, она уже слово в слово повторила и этому парню. И томительное отчаяние последних дней вдруг сменилось холодной яростью: он убьет ее, пристрелит, как собаку, и будь, что будет, ему теперь все равно! «Больше вышки не дадут, — почему-то вспомнил он летчика, — дальше фронта не пошлют!»

После обеда наконец-то объявился Конашевич, и события потекли своим чередом: встреча, разговор за чаем в караулке, подготовка к вылету. Федор куда-то ходил, с кем-то переговаривался, на кого-то смотрел, но явь вокруг существовала как бы помимо него и того, что в нем. Решимость, двигавшая им теперь, не нуждалась в поддержке или подтверждении со стороны, жила сама по себе, цельной, отдельной от всего жизнью.

Это его состояние не укрылось от одного лишь Конашевича. Выходя поздно вечером следом за ним из караулки, старший лейтенант вполголоса заговорил:

— У тебя белые глаза, солдат, белые, как перегорелый антрацит. Не сходи с ума, солдат, зачем тебе этот затяжной прыжок без парашюта? У тебя вся жизнь впереди, не считая войны, конечно. Посмотри на себя в зеркало, у тебя лица совсем нет, сплошной сланец...

Но Федор уже не слышал ничего и никого вокруг. Ему было не до размышлений или разговоров: воля, куда более властная, чем рассудок, руководила сейчас каждым его движением и мыслью. Прежде всего, следовало сразу же после отлета Конашевича незамеченным нырнуть в темь и, опередив Полину, первым оказаться в большом доме, за перегородкой, отделявшей врачебный кабинет от ее жилья, и, когда она только войдет туда, нажать курок. Главное, убеждал себя Федор, не дать ей заговорить, открыть рта: он боялся, что самый ее голюс может лишить его силы. «Не о чем мне с ней разговаривать, — мысленно по-

вторял и повторял он, осваиваясь с темнотой за перегородкой, — не о чем, поговорили вдоволь, хватит!»

Ему были известны в этой комнате каждый закоулок и всякая вещь. Любое прикосновение к чему-либо больно ранило память: слишком многое здесь было с ней связано. Так, ощупывая предмет за предметом, он добрался до висевшей над кроватью портупеи с пристегнутой к ней кобурой. Прохладная сталь пистолета, остудив ладонь, только придала ему решительности. «Лишь бы не заговорила, — снова испугался он, — лишь бы не заговорила!»

Сначала Федор услышал голос майора, просительно окликавшего ее, затем быстрые, судя по легкой поступи, женские шаги, которые тут же пресеклись шлепающим топотом:

— Полина, постой, надо же в конце концов объясниться.

— Не надоело тебе, Виктор? — послышалось на ступеньках крыльца. — Десять лет объясняемся.

Ступеньки опять скрипнули, но уже тяжелее, напористей:

— В последний раз, Полина, честное слово, в последний раз. Когда-нибудь надо же кончать.

Коротко взвизгнула дверь: Полина вошла к себе, и уже из комнаты откликнулась со злым вызовом:

— Что ж, заходи, Виктор, если вправду в последний раз. Пора тебе, Виктор, закругляться, я сыта по горло.

— Хорошо, Поля, хорошо, — майор за перегородкой дышал трудно, со сбоем, — давай по порядку, мы не дети.

— Еще бы! Детей ты, Виктор Николаевич, на смерть посылаешь, — она не скрывала ярости, — своих нет, так ты чужих туда!

— Подумай, что ты говоришь, Поля, я выполняю задание государственной важности, родина оказывает

этим ребятам свое высокое доверие. Партия поручила мне...

— Прекрати, Виктор, ты не на собрании, а я плохой объект для твоих воспитательных талантов. Почему-то таким, как ты, партия всегда поручает только подлые задания. Наших мужиков кулачить, здрасте-пожалста, Пашин Виктор Николаевич тут как тут, в первых рядах, будь готов, всегда готов! Врагов из пальца высасывать, опять Пашина зовут, у него палец сладкий. Ты, Пашин, идейный-идейный, а своей выгоды не забываешь, Борьку моего не ради партии утопил, ради своего удовольствия: Полькой Демидовой попользоваться захотел. Попользовался, Пашин, попользовался, Виктор Николаевич, переспала я с тобой, жизнь Борькину вымолить думала, да разве такие, как ты, способны на жалость?

— Но, Поля, он же признал себя виновным по всем пунктам, — спокойствие майору явно давалось с трудом, — и в связях с группой Косарева, и в саботаже.

— Признал! Будто ты не знаешь, не ведаешь, как у вас люди признавались, напраслину на себя наговаривали? Если вы его до смерти еще на следствии не забили, то инвалидом сделали наверняка.

— Полина Васильевна, не забывайте, что вы тоже работник органов, стены слышат, враг начеку, за такие слова вы можете понести ответственность по всей строгости. — Но не выдержал тона, виновато сорвался: — Поля, ты же знаешь, революция требует жертв, лес рубят, щепки летят, не он первый, не он последний.

— Для вас, может быть, а для меня и первый, и последний! — продолжила она почти со стоном. — Нашли себе японского шпиона, ему еще и двадцати не было, будьте вы прокляты! Сами не живете и другим не даете жить. Чумовые вы! Чума в вас сидит, собственным страхом дышите, весь воздух вокруг вас

страхом держится. И не пугай ты меня, Виктор Николаевич, после Бориса ничегошеньки я не боюсь, жить мне нечем да и незачем.

— Хорошо, Поля, хорошо, — тот безропотно сдавался, — я понимаю, Поля, успокойся.

— Не уговаривай ты меня, ради Бога, не маленькая, не по твоей — по своей воле жить буду. Брось за мной по пятам таскаться, Пашин, всё равно ничего не получится. Не удержат меня твои высокие дружки около тебя, так или иначе, но скроюсь. Лучше уж с первым встречным, чем с тобой.

— Ты себе хозяйка, Поля, но зачем же вот так — напоказ? Люди же видят, разговоры начинаются. — Майор едва не молил. — Это у тебя пройдет, Поля, это от обиды. Я подожду, Поля, подожду.

— Нет, Виктор, не жди, не пройдет! Как жила, так и жить буду, для меня любой из них, как Боря: зеленые мальчики, которых вы на смерть посылаете. Никакой радости у них позади, ни любви не знали, ни женщины. Так пусть хоть напоследок облегчатся, им умирать легче, а от меня не убудет. И не приставай больше, завтра же рапорт на фронт подам, не останусь я здесь, а не отпустят, руки на себя наложу, застрелюсь. Мне около тебя дышать нечем.

— Ладно, успокойся, Полина, ложись. Утро вечера мудренее. Завтра без горячки поговорим.

— Уходи, Виктор, и не показывайся мне больше на глаза, — голос ее перешел во взбешенный шепот, — не доводи до краю, если мне своей жизни не жалко, то твоей и подавно, у меня рука не дрогнет. Уходи!

Чуть слышно захлопнулась дверь, и в тишине, наступившей за этим, Федор услышал за перегородкой сдавленный вскрик: Полине заметно стоило усилий не разрыдаться. От его недавней решимости остались только опустошающая усталость и стыд. Стыд за себя, за нее, за майора и еще за что-то такое, чего он и сам покамест не мог определить, выразить отдель-

ным понятием или словом. «Вот и всё, — пронеслось в нем, — и вся любовь до копейки».

За перегородкой вспыхнул свет, качнулся и, приближаясь, потек в проем смежной двери. Полина появилась на пороге с керосиновой лампой впереди себя и, едва увидев сидящего на кровати Федора с пистолетом в поникшей руке, поняла всё. Ее заплаканное лицо мгновенно потухло, заострилось, пошло тенями.

— Эх, Федя, Федя, — еле различимо выдохнула она, — за что тебе такая тяжесть, за какую вину? Поднимешь ли...

Ему нечего было ответить ей, в словах теперь не оставалось ни нужды, ни потребности. В эту минуту горло его стиснулось такой пронзительной жалостью к ней, к ее беде и незащитности, что, молча проходя мимо нее, он не выдержал и бережно коснулся ладонью ее волос.

Вернувшись в караулку, Федор застал ребят мертвецки спящими прямо за неприбранным столом, а утром уже стучался к майору с письменной просьбой о переводе в распоряжение здешней комендатуры. И по легкой поспешности, с какой майор не глядя наложил утвердительную резолюцию, его осенило, что тому о нем с Полиной давно всё известно. «Носов, — запоздало догадался он, — сума переметная!»

Та же полуторка с тем же старшиной за рулем тащила Федора голыми перелесками в обратную сторону. Оттеснив его в угол кабины, старшина, как и в прошлый раз, бесился, остервенело сплевывал, поругивался:

— Надоело, твою мать, гоняют туда-сюда, как извозчика, чуть что, фронтом пугают, туды твою растуды! А чего мне фронт, я почище виды видывал, такие воронки водил, до сих пор волос дыбом стоит, одни маршала с наркомками, битком, как сельди в бочке, стоямя под себя ссали, мать твою бабушку!

Дорога вынесла их в луговой простор, и тут, на

стыке леса и жнивья, Федор в последний раз увидел Полину. Она стояла среди безлистных берез и, щурясь от солнца, пристально следила за ними. Глядя на ее устремленную вдогонку своему собственному взгляду фигуру, Федор вдруг ответно просветлел и вытянулся: «Прощай, Поля, Полина, Полина Васильевна, товарищ Демидова. Дай-то тебе Бог того, чего хочется!»

.....

— Здравствуйте, Полина Васильевна. — И тут же нерешительно поправился: — Здравствуй, Поля...

Чуть заметно сотрясая стекла, вдали за окном гудело и погрохатывало.

ШОРОХ АКАЦИИ

Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска
уводят людей из города. По вечерам — тоска.
В любую из них можно спокойно ввести войска.
И только набравши номер одной из твоих подруг,
не уехавшей до сих пор на юг,
насторожишься, услышав хохот и волапюк,

и молча положишь трубку: город захвачен; строй
переменился: всё чаще на светофорах — «Стой».
Приобретя газету, ее начинаешь с той
колонки, где «Что в театрах» рассыпало свой петит.
Ибсен тяжеловесен, А. П. Чехов претит.
Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит.

Солнце всегда садится за телебашней. Там
и находится Запад, где выручают дам,
стреляют из револьвера и говорят «не дам»,
если попросишь денег; там поет «ла-ди-да»,
трепеща в черных пальцах, серебряная дуда.
Бар есть окно, прорубленное туда.

Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк.
Это одно способно привести вас в восторг.
Единственное, что выдаёт Восток,
это клинопись мыслей: любая из них — тупик,
да на банкнотах не то Магомет, не то его горный пик,
да шелестящее на ухо жаркое «ду-ю-спик».

И когда ты потом петляешь, это — прием котла,
новые Канны, где, обдавая запахами нутра,
в ванной комнате, в четыре часа утра,
из овального зеркала над рамой, мыча,
на тебя тарашится, сжав рукоять меча,
Завоеватель, старающийся выговорить «ча-ча-ча».

ПИСЬМА ДИНАСТИИ МИНЬ

1

«Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки
вырвался и улетел. И на ночь глядя таблетки
богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного,
откидывается на подушки и, включив заводного,
погружается в сон, убаюканный ровной песней.
Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной
невеселые, нечетные годовщины.
Специальное зеркало, разглаживающее морщины,
каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке.
Небо тоже исколото шпилями, как лопатки
и затылок больного (которого только спину
мы и видим). И я иногда объясняю сыну
богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки.
Это письмо от твоей, возлюбленный, Дикой Утки
писано тушью на рисовой тонкой бумаге,
что дала мне императрица.
Почему-то вокруг всё больше бумаги, всё меньше риса.»

2

«Дорога в тысячу ли начинается с одного
шага, гласит пословица. Жалко, что от него
не зависит дорога обратно, превосходящая многократно
тысячу ли. Особенно, отсчитывая от «о».
Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли —
тысяча означает, что ты сейчас вдали
от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова
перекидывается на цифры; особенно на ноли.

Ветер несет на Запад, как желтые семена
из лопнувшего стручка, — туда, где стоит Стена.
На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф;
как любые другие неразборчивые письмена.
Движение в одну сторону превращает меня
в нечто вытянутое, как голова коня.
Сила, жившая в теле, ушла на трение тени
о сухие колосья дикого ячменя.»

РАЗВИВАЯ ПЛАТОНА

1

Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река
высовывалась бы из-под моста, как из рукава — рука,
и чтоб она впадала в залив, растопырив пальцы,
как Шопен, никому не показывавший кулака.

Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветеран-
тенор исправно пел арию Марио по вечерам;
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере
бормотал бы, сжав зубы от ненависти: «баран».

В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб.
По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб
я узнавал бы о наступлении воскресенья
и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмене руб.

Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.

Изю всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные — пенальти и уголовной.

2

Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых
я листал бы тома с таким же количеством запятых,
как количество скверных слов в ежедневной речи,
не прорвавшихся в прозу. Ни, тем более, в стих.

Там стоял бы большой Вокзал, пострадавший в войне,
с фасадом куда занятней, чем мир вовне.

Там при виде зеленой пальмы в витрине авиалиний
просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне.

И когда зима, Фортунатус, облакает квартал в рядно,
я б скучал в Галлерее, где каждое полотно
— особенно Энгра или Давида —
как родимое выглядели бы пятно.

В сумерках я следил бы в окне стада
мычащих автомобилей, снующих туда-сюда
мимо стройных нагих колонн с дорического прической,
безмятежно белеющих на фронте Суда.

3

Там была бы эта кофейня с недурным бланманже,
где, сказав что зачем нам двадцатый век, если есть уже
девятнадцатый век, я бы видел, как взор коллеги
надолго сосредотачивается на вилке или ноже.

Там должна быть та улица с деревьями в два ряда,
подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда;
и портрет висел бы в гостиной, давая вам
представление
о том, как хозяйка выглядела, будучи молода.

Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах,
не имеющих отношения к ужину при свечах,
и огонь в камельке, Фортунатус, бросал бы
багровый отблеск
на зеленое платье. Но под конец зачах.

Время, текущее в отличие от воды
горизонтально от вторника до среды,
в темноте там разглаживало бы морщины
и стирало бы собственные следы.

4

И там были бы памятники. Я бы знал имена
не только бронзовых всадников, всунувших в стремя
Истории свою ногу, но и ихних четвероногих,
учитывая отпечаток, оставленный ими на

населении города. И с присохшей к губе
сигаретою сильно заполночь возвращаясь пешком к себе,
как цыган по ладони, по трещинам на асфальте
я гадал бы, икая, вслух о его судьбе.

И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,
подрывную активность, бродяжничество, менаж-
а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,
тыча в меня натруженными указательными: «не наш!» —

я бы втайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри,
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри
то, на что ты так долго глядел снаружи,
запоминай же подробности, восклицая «Вив ля Патри!»

ОСЕНЬ В НОРЕНСКОЙ

Мы возвращаемся с поля. Ветер
гремит перевёрнутыми колоколами вёдер,
коверкает голые прутья ветел,
бросает землю на валуны.
Лошади бьются среди оглобель
черными корзинами вздутых рёбер,
обращают оскаленный профиль
к ржавому зубью бороны.

Ветер сучит замерзший щавель,
пучит платки и косынки, шарит
в льняных подолах старух, превращает
их в тряпичные кочаны.
Каркая, кашляя, глядя долу,
словно ножницами по подолу,
бабы стригут сапогами к дому,
рвутся на свои топчаны.

В складках мелькают резинки ножниц.
Зрочки слезятся виденьем рожц,
гонимых ветром в глаза колхозниц,
как ливень гонит подобья лиц
в голые стёкла. Под боронами
борозды разбегаются пред валунами.
Ветер расшвыривает над волнами
рыхлого поля кулигу птиц.

Эти виденья — последний признак
внутренней жизни, которой близок
всякий возникший снаружи призрак,
если его не спугнёт вконец
благовест ступицы, лязг тележный,
вниз головой в колее колесной
перевернувшийся мир телесный,
реющий в тучах живой скворец.

Небо темней; не глаза, но грабли
первыми видят сырые кровли,
вырисовывающиеся на гребне
холма — вернее, бугра вдали.
Три версты еще будет с лишним.
Дождь панует в просторе нищем,
и липнут к кирзовым голенищам
бурые комья родной земли.

РЕЧЬ, КОТОРУЮ Я ХОТЕЛ БЫ ПРОИЗНЕСТИ У СВОЕГО ГРОБА

(Из книги «Маленькие завещания»)

1

Сегодня вы хороните одного из самых счастливых стариков на свете. Мое счастье заключается в том, что я не поверил ни Жан-Жаку Руссо, ни Карлу Марксу, ни Ленину, будто каждый человек имеет право на хлеб, труд и счастье, на свободу, равенство и братство. Когда я родился на свет, я не ставил никому никаких условий, и мне никто ничего не обещал, как никто ничего не обещает ни новорожденному таракану, ни новорожденному щенку, ни новорожденному льву.

Поэтому я ни от кого ничего не требовал: ни от природы, ни от общества, ни от родных, ни от друзей.

И, может быть, именно по этой причине мне всегда очень везло.

Мне везло в юности: я не заразился триппером, не связался с хулиганами, не стал пьяницей.

Мне везло на войне: я не был убит, не попал в плен, и мне не отрезали раненую ногу.

Мне везло и после войны: меня не объявили врагом народа, моя дочь не стала проституткой, и в шестьдесят лет у меня еще не было ни рака, ни инфаркта.

Каждый вечер я говорил себе:

— Просто даже удивительно, если подумать, сколько у меня могло быть неприятностей сегодня.

Я мог бы попасть под трамвай, у меня могли вытащить бумажник, продавщица в магазине могла мне нахамить. А у меня, слава Богу, всё благополучно. Ну и повезло же мне сегодня!

И, весьма довольный жизнью, я прятал в дальний ящик стола отвергнутую редактором рукопись, обдумывал, где бы достать на завтра денег, глотал валидол, принимал снотворное и, кряхтя от ревматизма и астмы, готовился заснуть, радуясь тому, что у меня есть крыша над головой, одеяло над животом, подушка под крышей и что мне так везет в жизни.

Мне не повезло только один раз, позавчера, когда я умер. Но и это нельзя считать таким уж большим невезением, потому что и смерть имеет свою положительную сторону.

Во-первых:

она навсегда избавила меня от страха смерти, и только теперь, два дня спустя, я как бы сбросил с себя груз, который всю жизнь тяготил меня чрезвычайно.

Во-вторых:

мне сейчас лучше, чем вам, хотя бы уже потому, что мне больше ничего не грозит в жизни, а вам, к сожалению, кое-кто еще грозит своим костлявым пальцем, и я могу свободно шутить по поводу своего единственного невезенья, которое уже осталось в прошлом и стало для меня как бы пройденным этапом, в то время как вам вряд ли хочется шутить по поводу той неотвратимой беды, которая вас ожидает в будущем и которая значительно страшнее, чем моя беда, так как каждая не совершившаяся еще беда страшнее, чем беда уже совершившаяся.

Из этого я делаю весьма оптимистический вывод, что каждую случившуюся беду следует рассматривать как удачу. И не только потому, что она осталась в

прошлом, но еще и потому, что как бы она ни была велика, но могла быть еще больше.

2

Между прочим, именно это рассуждение очень помогало мне жить всегда, с самого детства, вернее с того дня, когда я узнал, что меня оставили на второй год в шестом классе.

А оставили меня на второй год потому, что я плохо учился. Почему я плохо учился, я не помню, но отлично помню, что учился так плохо, что меня вполне могли бы совсем выгнать из школы.

Я пришел в тот день домой весьма довольный.

— Чему же ты так радуешься? — спросила меня моя добрая мама, когда я сообщил ей, что меня оставили на второй год.

— Как ты не понимаешь? — удивился я. — Ведь меня вполне могли выгнать из школы. Теперь ты поняла, как мне повезло?

Но она не поняла этого. И не понимала до тех пор, пока меня действительно не выгнали из школы. А выгнали меня уже из девятого класса за то, что я во время урока нагрубил нашему славному учителю биологии.

Большой, толстый и добродушный, он стоял перед нами в классе и, разводя свои могучие ручки, радостно объяснял, что человек создан не по образу и подобию Божьему, как написано в Библии, а по образу и подобию любого млекопитающегося, например, собаки или мышки.

Хотя я несколько не сомневаюсь и не сомневался тогда, что Бога не существует и потому у Него нет образа и подобия, но я вовсе не желал, чтобы Рита Бархатова, прелестная девочка, которую я каждый день провожал из школы, читая ей по дороге стихи, которые сам написал, и рассуждая с нею о Канте,

Спинозе и Фрейде, которых сам не читал, увидела во мне подобие собаки и особенно — мышки.

Быть подобием мышки казалось мне унижительным, тем более, что и в шестнадцать лет, так же, впрочем, как и в шестьдесят, я считал себя личностью единственной в своем роде, отличающейся от всех других личностей, которые существовали прежде, существуют сейчас и будут существовать после меня.

Так же, наверное, как и вы, я чувствовал особое, ни с чем не сравнимое значение своей личности в окружающем меня мире, и только такое уважение к себе побуждало меня писать стихи, рассуждать о Канте, Спинозе и Фрейде и считать заслуживающими внимания те мысли, которые приходили мне в голову.

Но какое уважение может быть к подобию мышки? Сравнение с мышкой оскорбляло мое чувство собственного достоинства, и я вежливо высказал это нашему славному учителю биологии.

Но когда он радостно продолжал клеветать на меня, на себя, на вас и на всех других людей с таким видом, будто сообщал нам нечто приятное, я счел себя обязанным выступить в защиту человечества и по причине своей юношеской неопытности выступил так неудачно, что меня, как вам уже известно, выгнали из школы.

В тот день я вернулся домой чрезвычайно довольный.

— Чему ты так радуешься? — спросила меня моя добрая мама, когда я сообщил ей, что меня выгнали из школы.

— Как ты не понимаешь? — сказал я. — Ведь меня за хулиганство могли отправить в колонию, а меня только выгнали из школы. Теперь ты понимаешь, как мне повезло?

И мама, надо отдать ей справедливость, поняла мою несовершеннолетнюю мудрость и махнула на

меня рукой, и с тех пор ее жизнь стала легкой и светлой и никакие беды не могли омрачить ее старость.

3

Но юность моя с тех пор была омрачена. Не тем, что меня выгнали из школы, а тем, что я поверил нашему славному учителю, будто человек создан по образу и подобию мышки.

Сначала я даже обрадовался этому и считал, что нам с вами повезло: если бы мы были созданы по образу и подобию червяка или, скажем, таракана, то было бы еще хуже.

Но позже я заметил, что, встречаясь с Ритой Бархатовой, споря с товарищами или даже просто гуляя по улице, я почему-то старался скрывать от других, что создан по образу и подобию мышки.

Но скрывать это мне становилось всё труднее, потому что вдруг я потерял былую красноречивость, стал каким-то суетливым и юрким и даже раза два или три пытался вильнуть хвостиком, которого у меня не было.

Правда, иногда еще, сочинив новые стихи, или намереваясь прочесть философский трактат Гегеля, или поразив остатками своего красноречия Риту Бархатову, я чувствовал, что в мою несовершеннолетнюю душу вливается горделивое чувство значительности, но — но в тот же самый миг появлялась мысль, что, может быть, такое же горделивое чувство своей значительности испытывает и мышка, когда ей удастся стащить со стола кусочек хлеба. И от этой мысли сразу же горделивое чувство выливалось из моей души обратно, и мне не хотелось больше ни писать стихов, ни читать Гегеля, ни поражать остатками красноречия Риту Бархатову, не хотелось даже учиться и работать, а хотелось только лежать на диване в своей норке, слушать радио и таскать со стола кусочки хлеба.

Некоторое время я так и жил: не учился, не работал, не писал стихов, не читал книг, не встречался с Ритой Бархатовой, а только весь день лежал на диване в своей неприбранной норке и таскал со стола кусочки хлеба, размышляя о том, что, по-видимому, мышку, по образу и подобию которой я создан, нисколько не терзают никакие сомнения, так как она довольно весело виляет хвостиком. А мне это, увы, почему-то не удается, и что-то меня в такой жизни не устраивает.

Озабоченный этим весьма грустным обстоятельством, я однажды дождался возле школы нашего славного учителя, который шел домой, сдвинув на затылок шляпу и весьма довольный жизнью.

Я принес ему свои извинения за то, что случилось в школе, и спросил:

— Скажите, пожалуйста, а вас самого нисколько не смущает, что вы созданы по образу и подобию мышки?

— Нисколько, — бодро ответил он.

— А меня это смущает, — признался я. — Я как-то не могу увидеть в мышке личность.

— А зачем мышкам личность? — спросил он. — Они и без личности прекрасно живут, если только в доме нет кошки.

— Но почему же в таком случае я попробовал жить, как мышка, и мне это не совсем понравилось, хотя у нас в доме нет кошки.

— Очень просто, дружок, — весело ответил он. — Потому что во всемирной гармонии мышке предназначена одна роль, а тебе — другая. Мышке предназначено скрестись под полом, таскать со стола кусочки хлеба и опасаться кошек. И, выполняя свое назначение, она вполне довольна. А тебе, мой дружок, предназначено работать, влюбляться, писать стихи и опасаться дурных соблазнов. И если ты станешь выпол-

нять свое назначение в мировой гармонии, то можешь быть уверен, что будешь довольным, как мышка.

4

Поблагодарив своего славного учителя, я поспешил устроиться на работу, переехал в общежитие, еще сильнее влюбился в Риту Бархатову, стал писать не только стихи, но и рассказы, а что касается дурных соблазнов, то я просто бежал от них во всю мочь, чтобы тем самым выполнить свое назначение в мировой гармонии и стать довольным, как мышка.

Но должен признаться, что, хотя я и выполнял свое назначение на все сто процентов, стать довольным, как мышка, мне не удавалось, потому что, встречаясь с Ритой Бархатовой и спеша поделиться с нею своими чувствами, мыслями или стихами, я вдруг задавал себе такой вопрос: а какое значение имеют мои чувства, мысли или стихи, если я выполняю свое назначение в мировой гармонии совершенно так же, как выполняет свое назначение любая мышка в подвале, любая песчинка в пустыне, любая капелька в океане?

И если Рита Бархатова никогда не узнает ни моих чувств, ни моих мыслей, ни стихов; если никто их никогда не узнает, если даже я завтра умру — то мировая гармония от этого вовсе не будет нарушена, так как любую песчинку в пустыне и любую капельку в океане заменит другая песчинка и другая капелька и любую мышку может заменить другая мышка, а следовательно, любого человека может заменить другой человек.

Но такая взаимозаменяемость всех людей как-то не вязалась с моим ощущением своей личности и не оправдывала того значения, которое я придавал своим чувствам и сочинениям. И тогда, незаметно вильнув хвостиком, я торопливо попрощался с Ритой Бархато-

вой и возвращался в общежитие, думая о своей малости по сравнению с грандиозной мировой гармонией.

Но комендант нашего общежития был человек бдительный и уже издали замечал, если кто-нибудь о чем-либо думал.

— Что, брат, опять думаешь? — как-то спросил он, остановив меня в коридоре.

— Думаю, — признался я.

— То-то и видно по морде, что думаешь, — сказал он. — А о чем это, интересно, тебе думать? Пусть думают те, кто на капиталистов работают, а за нас с тобой Маркс и Энгельс обо всем подумали, и нам теперь надо не раздумывать, а засучив рукава строить свое светлое будущее.

Он стоял передо мной: широкоплечий, плотный и красномордый, как кирпич.

— Маркс и Энгельс за себя подумали, а не за меня, — сказал я.

— Как так? — спросил он.

— А так, — ответил я. — Почему-то, когда другой ест, я не наедаюсь, когда другой спит — не высыпаюсь, а когда другой думает, мне всё равно думается самому. И вот я думаю: наверное, все-таки было бы лучше, если бы я знал, что создан по образу и подобию Божьему.

— Интересно, чем бы это тебе, дураку, было бы лучше? — сказал комендант. — Вот я одним общежитием управляю, и то ни днем, ни ночью покоя нет, так я хоть за это зарплату имею: когда пива выпьешь, когда в кино сходишь. А Господь Бог должен всем миром управлять, и что Он за это получает? Одни молитвы! А одними молитвами, брат, сыт не будешь!.. А ты живешь — забот не знаешь. Постель у тебя, слава Богу, чистая, государство тебя поит и кормит, профессия у тебя отличная, не понимаю, чего тебе еще не хватает.

— Чувства собственного достоинства, — сказал я. — Величия. Какое может быть величие, если я создан по образу и подобию мышки?

— Мышки? — удивился комендант. — Это какой же дурак тебе сказал, что человек создан по образу и подобию мышки? Человек создан по образу и подобию кирпича. Вот тебе и величие!

— Кирпича? — спросил я. — Вы не ошибаетесь?

— Именно кирпича, — ответил он и гордо выпятил свою могучую грудь. — Давай сбегай за пивом, и я тебе всё объясню.

И когда я сбегал за пивом и мы сидели в казенной комендантской комнате, он произнес целую речь.

— Ты говоришь, что Господь Бог создал вселенную и в этом Его величие. Пусть будет так, — сказал он. — Но люди, брат, тоже создали немало. Они возводят грандиозную башню прогресса и цивилизации, они создали небоскребы и самолеты, телевизоры и застежки-молнии, а башня всё растет и растет, приближая человечество к прекрасному будущему. И сложена эта башня из кирпичей, таких, как ты и я. Стоим мы с тобой как бы на плечах наших предков, а на нас с тобой взберутся наши потомки. Осознай себя кирпичом в грандиозной башне цивилизации, взгляни с вершины этой башни на наших предков, которые бегали по улицам без штанов, в одних звериных шкурах, вот и почувствуешь свое величие.

— Осознать себя кирпичом я попробую, — сказал я, — только как быть с моей личностью? Зачем кирпичу личность?

— А как же, — ответил комендант, допивая пиво, — личность, брат, в нашем деле самое главное. Вот ты представь себе, если бы мой батяка меня ремнем не лупил? Так я, может быть, до сих пор был бы дурак-дураком. А благодаря его личности я вполне цивилизованный человек: за столом не рыгаю, смеюсь в платок, тебя, дурака, учу уму-разуму, чтобы

ты был еще цивилизованнее. Так что ни в чем не сомневайся, упирайся пятками в предков, содействуй по мере сил прогрессу и цивилизации, и тогда все станут тебя уважать, и тебе будет хорошо и спокойно, как кирпичу в стене.

И, допив пиво, он поглядел на меня с торжествующей усталостью самодовольной мудрости, а я пожелал ему спокойной ночи и попробовал осознать себя подобием кирпича. Не скажу, чтобы это доставляло мне особую гордость, но кое-как с этим можно было примириться, потому что быть подобием кирпича все-таки больше соответствовало моему чувству мужского достоинства, чем быть подобием мышки.

5

Я точно выполнил совет мудрого коменданта:

уперся пятками в предков и старался по мере своих молодых сил содействовать прогрессу цивилизации.

Содействовать прогрессу оказалось не так-то просто. Для прогресса науки я был совершенно бесполезным кирпичом, потому что, как вам уже известно, учился плохо и меня выгнали из школы.

Прогресс техники тоже вполне обходился без моего участия по той простой причине, что я никогда не умел отличить гаечку от шайбочки и болтик от винтика.

Что же касается моих сочинений, которые могли бы содействовать прогрессу нравов, то я ни разу не заметил, чтобы мой дружок Васька Тимофеев, отчаянный матерщинник и пьянчужка, который за всю свою жизнь не прочитал ни одной хорошей книжки, но единственный во всем общежитии признавал мой талант, так вот: я ни разу не замечал, чтобы Васька Тимофеев стал после моих стихов меньше матюгаться или отказался от лишней стопки водки.

Но, несмотря на все эти обстоятельства, я не унывал, потому что главное достоинство кирпича — это его твердость.

И я действительно был тверд и крепок и, упираясь пятками в многотомные кирпичи, купленные в магазине «Старая книга», писал сочинение за сочинением, пока их не стали печатать, и я постепенно стал превращаться в довольно солидный и тяжеловесный кирпич, так что, завидев где-нибудь еще совсем молоденький и неокрепший кирпичик, даже зазывал его: «Не хочешь ли, сынок, я поделюсь с тобой опытом и посажу тебя на башню цивилизации. Давай, сынок, забирайся ко мне на плечи, упирайся в меня пятками, содействуй прогрессу, приближай прекрасное будущее».

Но Васька Тимофеев, так и не прочитавший до сих пор ни одной хорошей книжки, но всё больше и больше восторгавшийся моими сочинениями, по-прежнему матюгался и пил водку, как сапожник, так что никаких признаков прогресса его нравственности, как и нравственности всего человечества, в результате моего творчества я что-то не мог обнаружить.

И, может быть, именно по этой причине, то есть из-за Васьки Тимофеева, мне как-то не удавалось гордиться башней прогресса и цивилизации, и я не мог приобрести чувство собственной значительности от того, что кто-то другой изобрел застежки-молнии и кто-то другой написал «Медного всадника».

6

Озабоченный этим довольно печальным для солидного кирпича обстоятельством и размышляя о том, чего мне не достает, чтобы стать счастливым, я как-то поделился своими размышлениями с профессором Бубликом, который, как вам известно, знает всё на свете, вернее, знает, как всё было, как всё есть и

как всё будет, не зная только, почему и зачем всё было, всё есть и всё будет, и от этого его обстоятельные и весьма убедительные знания располагались как бы по периферии, по окружности, оставляя посередине зияющую дырку, которую нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

— Я чего-то не могу понять, дорогой профессор, — сказал я ему, — чего мне не хватает, чтобы быть вполне счастливым?

— Идейности, — ответил он. — Как же можно быть вполне счастливым, если вы ни за что не боретесь?

— А за что мне следует бороться? — спросил я, — ведь башня прогресса и так растет к нашему прекрасному будущему.

— В этом-то всё и дело, — сказал профессор. — Куда она растет и где находится прекрасное будущее? Вот тут не обойтись без борьбы идей. Одни считают, что башня должна расти вверх, что прекрасное будущее там. Другие считают, что башню следует повернуть влево. Третьи — вправо. А некоторые даже думают, что башня должна расти не вверх, а вниз, к нашему прекрасному прошлому.

— Отлично, — сказал я, — но направление прогресса и цивилизации вовсе не зависит от меня... Что может сделать один человек, тем более созданный по образу и подобию кирпича?

— Кирпича? — удивился профессор. — Какой дурак вам сказал, что человек создан по образу и подобию кирпича? Человек создан по образу и подобию дробы.

— Дробы? — спросил я, — вы не ошибаетесь?

— Именно дробы, — уверенно ответил он, — простой дробы. Вот, например, я — это одна двухсоттысячная часть ученых, которые считают, что башню надо повернуть влево. Одна двухсоттысячная — разве это не внушительно? Но, кроме того, я еще и одна

трехмиллиардная часть всего человечества, которое борется за лучшее будущее. Вы только представьте себе: нас — три миллиарда. Это грандиозно! Наша сила и величие — в знаменателе. Вообразите себя подобием дроби, и ваша жизнь станет ясной и величественной, как трижды пять пятнадцать!

— Ну что ж! — подумал я, — если профессор прав и все мы созданы по образу и подобию дроби, то можно считать, что нам весьма повезло, потому что мы могли бы быть созданы по образу и подобию извлечения корня или возведения в степень, чего представить себе я уже совсем не способен. — И, утешенный этим обстоятельством, я стал жить, как простая дробь, пытаюсь черпать чувство собственного достоинства в своем знаменателе.

Правда, осознав себя одной четвертой частью своей семьи и борясь с соседями, не выключавшими свет в коридоре, или же осознав себя одной восьмой частью жильцов нашей квартиры и борясь за то, чтобы в уборной поставили новый бачок, я не испытывал особой гордости, но стоило мне осознать себя одной сто тысячной частью почитателей Анны Ахматовой и включиться в борьбу с почитателями Людмилы Татьяничевой, или же когда я осознал себя одной стопятидесятимиллионной частью граждан своей страны и ринулся в борьбу с гражданами другой страны, как я почувствовал, что мой знаменатель как бы поднял меня на головокружительную высоту и придал особую значительность моим поступкам и сочинениям, которые зазвучали теперь как бы не только от моего имени, но и от имени всех почитателей Анны Ахматовой или всех граждан моей страны.

Иногда в моей памяти всплывало туманное воспоминание о школьной арифметике, и тогда я с огорчением догадывался, что чем больше мой знаменатель, тем меньшую долю составляет мой жалкий и неизменный числитель, и поэтому поступки и сочинения

человека, созданного по образу и подобию дробы, следует считать не столько значительными, сколько знаменательными.

Но черпать чувство собственного достоинства, кроме как в этой знаменательности, мне было негде, так что я настолько привык считать себя представителем, частью или долей чего-то, что, думая о себе, научился как-то совсем не замечать своего числителя и как бы сливаться со своим знаменателем.

И поскольку я принадлежал к человечеству, то иной раз горделиво заявлял: «Мы уже покорили небо», — а поскольку принадлежал к сочинителям, то однажды чуть не сказал: «Мы уже написали «Братья Карамазовы»».

7

Так, в роли ничтожного числителя, опирающегося своими короткими ножками на мощный знаменатель, я прожил до тридцати лет, неизменно ощущая, как, может быть, ощущают и некоторые из вас, мучительное противоречие между тем, что в моей жизни моя личность имела такое громадное, грандиозное значение, а в жизни всего человечества ее значение было не больше, чем значение мышки в подвале, кирпича в башне или числителя в знаменателе.

Но всё изменилось в тот день, когда я оказался на смертельном пяточке, где скорчился в тесном окопе, ожидая сигнала к атаке. Это должна была быть седьмая атака в тот день, и за бруствером окопа лежала изрытая снарядами, пулями и солдатскими сапогами земля, с обуглившимися обрубками деревьев, и была она почти сплошь покрыта серыми бугорками, некоторые из них еще шевелились, иные стонали, но многие уже окоченели и были как бы частью этой черствой и страшной природы.

И самое странное: я понимал, что эти бугорки еще недавно были живыми людьми, такими же, как я, но это понимание погасало на пути от моего сознания к сердцу и сердца почему-то не достигало: не будило в нем ни жалости, ни сочувствия, будто эти бугорки на земле были не убитыми людьми, а убитыми цифрами.

Рядом со мной, почти прижавшись ко мне, ждал начала атаки молоденький солдатик, совсем еще мальчик. Я не знал ни фамилии его, ни имени, только видел, как из-под каски на его мокрый от пота лоб спадала маленькая прядка волос; большие, какие-то нелепые руки, какие бывают у подростков, всё время дрожали так, что он не мог даже закурить, а в глазах была такая тоска, такая беспомощность, такое отчаяние, что я чуть не захлебнулся от нежности и сочувствия, и вдруг он мне показался одиноким и беспомощным числителем без знаменателя.

И в атаке он тоже не отставал от меня ни на шаг: когда я бросался на землю, он падал рядом; когда я поднимался — он вскакивал тоже.

Но однажды он не поднялся. Я схватил его за руку: рука была как ватная. Я хотел обхватить его, но как будто вдруг наткнулся со всего размаха на стену и, оглушенный, полетел с ним в какую-то бездну.

Потом я пришел в сознание, почувствовал боль, огляделся, понял, что нахожусь в яме, в крови, что кто-то лежит рядом.

И вдруг — сильнее, чем боль и страх, — меня пронзило внезапное озарение: только что меня не было, и вот я опять есть, опять живу сверх положенного мне срока, пусть без ног или рук, пусть в яме, пусть жизнь мне дана хотя бы только на одну минуту, но и это великое счастье, потому что ко мне вернулась моя жизнь, единственное, что принадлежит мне, мне одному; и еще я почувствовал, что я вовсе никакой не числитель, не часть чего-то, а целое, неделимое, неумножаемое, что даже моя боль — она настолько моя

и только моя, что и слов таких не придумано, чтобы можно было ее передать другим.

И это ощущение своей жизни, как чего-то не укладывающегося ни в какие рамки и масштабы; это ощущение своей жизни, одно мгновение которой значит для меня больше, чем тысячелетия жизни всего человечества, ослепило меня таким ярким пламенем какого-то долгожданного и счастливого познания, что света его хватило до моего последнего дня.

Потом я снова погрузился в беспамятство, а когда пришел в себя, был уже вечер, очень холодно.

Я чувствовал, что весь в крови. Я потянулся к тому, который лежал рядом, нащупал его окаменевшее лицо, и вдруг жалость к этому мальчику, невозможность примириться с его смертью вырвались из моей груди волчьим воем горя.

И снова — внезапное озарение, иное, чем прежде, но такой силы, что разорвало какую-то пелену и я почувствовал, что смерть одного страшнее и ужаснее, чем смерть тысяч и миллионов, что есть масштаб разума и масштаб чувства и что прежде я измерял мир не подлинным, а ложным масштабом, порождением холодного и бесстрастного разума, а не живого и горячего чувства.

Я поразился, какую искаженную картину мира создал мой разум, внушавший мне такой абсурд, будто небольшая гора, на которую предстоит подняться, ниже Эвереста, который находится вдали от меня; будто эпидемия, истребляющая целый народ, страшнее и ужаснее, нежели болезнь одного ребенка, мучающегося в жару и бреду.

Пусть любая мать спросит у своего сердца: не так ли это? И ее сердце ответит: так!

Захлебываясь от горя и боли, мое сердце торопливо шептало мне, что по его масштабам, масштабам чувства, один человек — это больше, чем всё человечество, что все мучавшие меня прежде вопросы о смысле

и о цели жизни, не разрешимые в масштабах всего человечества, разрешимы в масштабах одного, каждого человека...

Но я не успел додумать этого, потому что снова подо мной разверзлась бездна и всё кончилось.

Третий раз жизнь возвращалась ко мне постепенно: сначала из мрака появились звезды над головой, потом какое-то багровое, будто налитое черной кровью, облачко, потом — приклад винтовки, повисший на краю ямы.

По мере того, как возвращалось сознание, восстанавливалась вселенная, которой только что для меня не существовало. Она появлялась из ничего, из небытия, как в первый день творения: небо, земля, убитый солдатик, мои дети, мать, книги...

Вселенная наполнялась, как будто я сам создавал ее из того, что знал, чувствовал, помнил, воображал, и вдруг, в третий раз за этот день, новое озарение, не то, что было в первый раз, и не то, что во второй, но такой же или даже более мощной силы, залило всю мою дальнейшую жизнь небывалой яркостью.

Я увидел, что та вселенная, в которой я живу, создана мною самим, как и та вселенная, в которой живет каждый другой человек, создана им самим. В моей вселенной существует только то, что я знаю и чувствую, а о чем не догадываюсь и чего не могу себе представить, того не существует для меня вовсе, как не существует для меня Петра Петровича Петрова потому, что я никогда его не встречал, не слышал о нем, не читал, в отличие от моего славного пьянчужки Васьки Тимофеева — он несомненно живет на свете, этот самый честный и преданный мне друг, и хотя кто-то, может быть, считает его негодяем, способным предать меня за стопку водки, но я этого не знаю, и поэтому нет такого негодяя в моей вселенной, которого звали бы Васькой Тимофеевым.

Я изумился божественной силе своего творения, изумился тому, что сумел создать планеты и звезды, землю и океаны, добрые стада деревьев и звонкие ручьи, и неугасимую лампаду человеческого духа, и преданного друга Ваську Тимофеева, и горы, и города, и птиц, и врагов своих, и мудрецов, и негодяев.

Я чувствовал себя величественным, как Бог, и таким же величественно-беспомощным: кого я мог судить, кому жаловаться, у кого просить или требовать, если всё было создано мною и всё было только во мне: и горести мои, и радости, и свобода и неволя?

И за всё я один был в ответе: за всех негодяев, за все войны, за всю ложь, за всё зло.

Вы, пожалуйста, простите меня за то, что я не мог создать вселенную получше: без негодяев, без войн, без лжи и зла. Этого не мог сделать и Сам Господь Бог, Которого я создал силой своего воображения, чтобы затем Он создал меня по образу Своему и подобию. А мы с Ним очень старались, уж поверьте.

Но, к сожалению, у меня, как и у Него, не было никаких прав, а были только обязанности, и с этим ничего не поделаешь.

Обязанности были неотделимы от меня, как руки, как ноги или уши, независимо от того, нравились они мне или нет. Всю жизнь я нес на себе груз моих обязанностей, не ожидая за это никакой награды, как вы не ждете награды за то, что всю жизнь несете свои волосы на голове и свою голову на плечах.

И, может быть, по этой причине мой груз казался мне легким и веселым. И хотя он таял в воздухе, как тает дымок моей-трубки, и я знал, что через короткое время от него не останется в мире никакого следа, но знал также, что есть на свете три или четыре человека, которые, втянув в себя этот едва заметный пряный и горьковатый дымок, чувствовали себя в моей неудобной вселенной хоть чуточку уютней и уверенней.

И этого мне было достаточно, чтобы считать себя очень счастливым стариком, потому что по масштабам моего сердца — три или четыре человека это больше, чем три или четыре миллиона.

ДАР Давид Яковлевич — родился в 1910 г. в Петербурге, публиковаться начал в 1940 г.; выпустил около двадцати книг прозы, очерков, путевых записок. Состоя в Союзе писателей, был председателем комиссии по работе с молодыми авторами, делал все возможное, чтобы действительно помочь молодым писателям, это нередко приводило к столкновениям с руководством Ленинградского отделения СП. В 1977 году покинул СССР и сейчас живет в Израиле.

Миниатюры из цикла
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЧЕРДАК

1

Паркет — расшаркивание политики.
Премьер — патетика по листику.

Как присущи разговоры
Руководителям человечества;
Планета — всего лишь город,
Где надо кого-то чествовать.
Премьер-министр
Звучит как «привет, министр!»
Пасхальный цвет манишек,
Кафедральный свет неоновый,
Тенорок куций,
Уходящий под купол...
Бац — и зацепился за светящееся облако...

Люди не могут без культа.
Мексиканцы не могут без кольта.
Ходим в культах,
Как в куртках,
И ходить еще сколько?

2

Мы в любви отнюдь не робкие.
Сколько ее под шестым ребром?
В нас такую любовь воспитали к родине,
Что женщинам только остатки
Скребем.

Тот, кто правду всегда говорит,
В девяти деревнях будет бит.
Так гласит поговорка древняя...
Да здоровствует десятая деревня!

4. Живопись

Ты — как религия, живопись:
Кто — Бог,
А кто — без лица.
Или до конца уже выразишь,
Или выродись
До конца.

5. Сенсация

От рвения багряна,
Боясь до времени устать,
В соседнем зоопарке обезьяна
Успела человеком стать.

6. В музее

Глаза — как сваренные вкрутую,
И взгляд их крут...
Античные скульптуры —
Зрачки, повернутые внутрь.

Что написано пером —
Чёрта с два исправишь топором.
Но зачем потом мешаться топору,
Когда бы сразу тюкнуть по перу?!

8. Сторож

Мавзолеи, пантеоны, пирамиды
И попросту могильные холмы,
Где вместо сфинкса —
Сторож кладбищенский
Начинен сатанинской усмешкой,
Четвертуя свою жажду четвертинкой,
И в общительность покойников веря,
Сам себе загадки задает...

9

О государства полицейская бессонница,
Катанье конституции в зубу...
Где, если говорить по совести,
То совесть видели в гробу.

10

Во множестве стран
(как бы это ни было трудным)
Трусам платят за страх,
И чего еще надо трусам?

11

Жаль, что популярность — не парашютные лямки,
Где бы кумир висел на виду у всех,
И если зад перевесил таланты —
Пусть падает кумир,
Чего ему висеть?

Страна без штанов,
Это — не по бедности.
Что вы!
Это — подданные ее давно
Для порки готовы.

ХАЛИФ Лев Яковлевич — род. в 1930 г. в Красноярском крае, был репортером, рыбаком, землекопом, путевым рабочим, начал печататься с 1950 г., автор двух книг стихов: «Мета» и «Стиходром», выпущенных в свет издательством «Советский писатель». В настоящее время проживает в США.

ДИВНАЯ МАЛИНА

Окончание

XIV. Где Ленка?

Где была Ленка? Мушина обошел весь город. Он заглянул в исполком (может, что-нибудь перепечатывает после работы — было уже пять). Обошел магазины, даже в мясную к Рыбарчику заглянул, он-то не знал, что Ленка туда никогда не заходит. Выпил пива у ларька, поглядел, как мужчины дразнят Паяца. Дог дремал под акацией, неподалеку от ларька. Кто-то из пьянчуг окатил пса пивом из кружки. Паяц проснулся и, заливаясь лаем, кинулся в гущу выпивающих. Вроде бы и смеялись, но кого облаивал — перепуганно отскакивали. Площадка перед ларьком мгновенно опустела. Только когда дог медленно отошел (струйки слюны капали с морды на тротуар), мужчины, смеясь, собрались обратно.

— Такой укусит — и кость пополам! — говорил кто-то.

Мушина был еще в парке и у реки. Глядел с откоса на ели на том берегу. Кривой Стефан пас корову директора Шафранека. Никого не было.

Ленка забыла сказать Мушине, что в два часа состоится торжественная сдача детского сада имени Станислава Пегжи (учителя из нашего города, которого немцы расстреляли). В старом садике детям было плохо — дом одноэтажный, деревянный, с маленьким участком, за который заведующая всё время воевала с домовладелицей.

Новый детский сад строили пять лет — работы несколько раз по всяким причинам останавливали (ошибки в документации, нехватка материалов, Шафранек часто забирал людей на другие объекты). Дело подвинулось только после приезда Туроня — вроде бы он заявил на заседании:

— Дети содержатся в ужасных условиях. Надо действовать быстро, товарищи.

(— У него девочка в садик ходит, — говорили потом люди. — Ясное дело! Иначе пальцем бы не пошевелил.)

Медза на этот раз поддержал председателя: — Я этот ваш трест по камушкам разнесу, Шафранек, если за полгода не закончите детсад!

Инженер обещал, что лично присмотрит за строительством. Не за полгода, конечно, но на несколько месяцев позже срока здание было готово. Неоштукатуренное, из белого кирпича, территория убрана кое-как. Через две недели после переселения заведующая (дочка пани Вильчинской, у которой Турони снимали комнату, как приехали) разослала приглашения на торжественное открытие. Под окнами поставили длинные столы — родительский комитет дал деньги на скромное угощение. Было вино, бутерброды, несколько тортов, испеченных старой Вильчинской, и черный кофе. Ровно в четыре Медза разрезал красную ленточку в дверях. Потом гости (в том числе Туронь, директор Шафранек и архитектор Тарговский) оглядели здание внутри. Вильчинская жаловалась на недоделки: некоторые двери не прикрывались, кое-где дети легко вытащили дощечки из паркета. После дождя на потолках появились затеки.

— И не стыдно, директор? — говорил Медза. — Бракоделы!

— Странно, что комиссия не отметила, — оправдывался Шафранек. — Когда комиссия принимала, всё было в порядке!

Потом расселись за столы. Ленка помогала Вильчинской — они были знакомы со школы, вместе выпускные экзамены сдавали. Дети на террасе танцевали оберек и польку. Вильчинская играла на пианино в зале рядом. Медза, слегка на взводе — выпил несколько рюмок вина, — встал и сопя пошел по лесенке на терраску. Гости смотрели не понимая.

— Заведующая, — закричал он, — куявяка! — Схватил двух девочек за руки.

За столами захлопали.

— Браво, хозяин! — восклицал Шафранек. — Оберека, берека!

Девочки танцевали слегка смущенно и очень серьезно. Делали руки в боки, кружились на месте — Медза, веселый, в расстегнутом пиджаке, выставив живот, всё повторял за ними.

Жена Шафранека наклонилась к Хеленке: — О внуках пора подумать, пани. О внуках!

Хеленка недослышала — или сделала вид, что не слышит.

Мушина повернул обратно к городу. Когда уже подходил к парку, услышал выстрелы и галочки крики. Черная птичья стая вилась над деревьями. Это Шелёнг с кучкой ребят из старших классов устроил охоту. В высоких сапогах, в куртке цвета хаки, перехваченный охотничьим поясом с патронташами, Шелёнг медленно расхаживал, задрав голову. Целился он старательно. После каждого выстрела галки с криком взвивались выше. Потом снова опускались — некоторые пробовали сесть на гнезда. Подстреленные падали,

хлопая крыльями, иногда кружась, как большие листья. Ребята ловили раненных. Некоторые были заняты сбиванием гнезд. Высокий парень из одиннадцатого класса подсаживал меньшего, который лез высоко на дерево. Снизу ему подавали длинную жердь, чтобы сбить гнезда с веток. В гнездах были молодые, еще не оперившиеся воронята и галчата. Они расплозились по земле с писком, неумело подпираясь крыльями. Мальчики избивали их палками.

Мушина сел на скамейку. Шелёнг заметил его и подошел поздороваться.

— Бедствие, пан редактор! Наплодилось этой швали, истреблять надо.

Неделю, может, назад Медза позвонил учителю:

— Метек, Христом Богом, сделай что-нибудь с этими птицами! Кричат, работать невозможно.

Окна горкома, как известно, выходят в парк. Галок и ворон, действительно, в этом году расплодилось как никогда. Жителей окрестных домов будят на рассвете. Под деревьями, на дорожках, белым-бело от птичьего помета. Люди на ходу тревожно глядят вверх. Шелёнг обещал ликвидировать гнезда.

— Будет сделано, товарищ секретарь, — услужливо сказал он в трубку в присутствии директора Квасиборского.

Теперь Мушина глядел, как мальчики колотят палками неоперившихся птенцов. Двое принесли несколько раненых, на дорожках поймали и под скамейками. Птицы разевали клювы и в ужасе озирались. Шелёнг брал их по очереди за лапки и с размаху бил о спинку скамейки. Потом поднимал кверху, проверить, готовы ли. Если клюв был закрыт (с медленно набухающей каплей крови у основания), отрезал лапки и швырял в мешок.

Ребята подсказывали: — С этой хватит, пан учитель! Эту еще раз! Мало ей!

Смеялись, когда Шелёнг сказал про одну: — Ты чего такая упрямая? Жить хочется?

Поубивал всех и пошел. Приложил два пальца к краешку зеленой шляпы, улыбнулся. Мушина кивнул головой и промолчал. Посидел чуточку на скамейке. Закрыл глаза. Он слышал только выстрелы, галочий крик, снова выстрелы, крик. Смех и переключения ребят.

Ленка потом думала, почему он не пришел. Была уверена, что он получил приглашение, и всё смотрела в сторону города. Хотела спросить Туроня, но тот ушел раньше. Она разливала кофе, резала торт, играла с детьми в прятки. Гости разговаривали громко — никто не обращал внимания на крики детишек. Дети прятались под столами.

Медза наклонился и посадил на колени одну девочку. Это была дочка шофера — толстого Вальдека с механизаторской базы. Она смутилась, скривила рот подковкой.

— Не плачь, — сказал секретарь. — Я очень люблю детей.

Молодая Вильчинская (сидела рядом) погладила малышку по головке: — Что ты, Зося? Чего плачешь?

— Он толще папочки, — всхлипнула девчушка.

Медза расхохотался. Поцеловал малышку в лоб: — Вот буду с вами танцевать, увидишь, как быстро похудею! — Поставил ее на пол.

— О внуках, о внуках надо подумать, — повторила Шафранкова, но Хеленка и на этот раз ничего не сказала. Вдохнула только и помрачнела.

Генрика он застал за работой. Пеленки сушились на балконе, в большой комнате Малгося играла бесконечные гаммы. Мышка, увидев, что Мушина трезвый, улыбнулась ему.

— Пожалуйста, пожалуйста, заходите. Муж будет доволен.

Туронь в своей комнатке что-то писал за столом.

— Как дела, старик? Садись. Почему в детсаду не был? Приглашения не получил?

Мушина рассказал об охоте на ворон и галок. Туронь страшно возбудился.

— Подонки! Он тут всех собак у детей перестрелял. Даже у моей застрелил беднягу приبلудного, Волчка. Потом уши отрезает, кошкам — хвосты... Сумасшествие, просто сумасшествие! — Он подпер голову рукой. Умолк.

Мушина вспомнил рассказ Рыбачинского про чеснок — повторил Генрику. Туронь встал, положил руки на плечи гостю.

— Старик, это неслыханно. Там солонина и водка, а здесь чеснок? — Он заходил по комнате. — Слушай, это же очень ценная информация!

И вдруг подпрыгнул, как мальчишка, достав рукой потолок.

— Анджей, мы выиграли, понимаешь? Вот они у нас где! — Он зажал кулак. — Это слишком серьезно, чтобы можно было... Вот это да!

Мушина глядел на него пораженный. — Ну ладно, а если Фляга пошутит?

— Нет, нет, нет! — говорил Генрик. — Денежки предлагали, помнишь? Теперь известно, какие. Впрочем, мы проверим. Достаточно двух телефонных звонков. Сколько сдают чесноку и какая площадь участков? — Он ходил от окна к двери, потирая руки. За стеной Малгося играла гаммы.

Мушина заговорил после паузы: — Генрик, стоит ли? Кто тебя за это поблагодарит? Никто. Тебе же голову намылят. Сам знаешь, каково оно.

Председатель остановился напротив него. — Спасибо, Анджей, — сказал он и протянул руку.

Мушина встал, одернул пиджак. — Ой, Генек, Генек, когда-нибудь ты поумнееешь? — Покачал головой.

Ладонь Туроня была сухая и сильная.

Потом они стояли у окна и смотрели на реку и на холмы за рекой.

Как когда-то, заходило солнце.

— Будет лучше, — сказал Туронь. — Должно быть лучше, нельзя вечно так жить. Это тупик. — И прибавил: — Только рук опускать не надо.

Мушина засмеялся, чуть с хрипотцой:

— Кто тут руки опускает, Генек? Все только и оглядываются, где бы что украсть.

Председатель не расслышал или не обратил внимания.

— Должно быть лучше, — повторил он. — Должно быть лучше.

За стеной Малгося играла гаммы. Они смотрели на холмы за рекой. Над полоской темных деревьев застыли багряные облака. Там, где зашло солнце.

XV. Запах чеснока

Ночью Туронь всё рассказал Мышке, но она верить не хотела. Они разговаривали в темноте, дети уже спали, через окно, приоткрытое на балкон, виднелись звезды. Генрик лежал, скрестив руки под головой, Мышка сплела ладони у него на плече. Иногда холодный ветерок с балкона веял нарциссами. Они, как всегда, стояли в вазе посреди стола.

— Не могу поверить, — повторяла Мышка. — На что им столько денег? Все ведь хорошо зарабатывают. Возьми Медзу, да хотя бы и Шафранека.

— Денег людям никогда не бывает слишком много, — говорил Генрик.

— Да не рисковали бы они так. Чепуха! — Мышка в темноте смеялась. — Наболтал тебе глупостей этот Мушина, а ты ему веришь.

— Я их сам подозревал.

— Генричек, — говорила Мышка, — не будь ребенком. Разве Гняздowski так рисковал бы? Это же уголовное дело, сам знаешь. Скорой помощью возить солонину и водку? И чеснок в мешках? Ну, подумай, у этого человека высокий пост, пациенты, женщины со всего воеводства к нему лечиться приезжают. Три источника дохода. И он, с виллой, автомобилем, окруженный уважением, всем бы этим рискнул? Ну нет. Сказки рассказывает твой Мушина.

— Денег людям никогда не бывает слишком много, — повторил Генрик.

— Сказки, сказки, — говорила Мышка. — Связался с этим пьянчужой Рыбачинским. Ему разве можно доверять? Высмеют тебя, да и только.

— Я проверю, — говорил Генрик. — Кто мне запретит проверить?

— Только осторожно, — просила Мышка. — Я знаю, какие тут люди. Кто-нибудь донесет. И зачем?

Генрик молчал. Он смотрел через щель в балконной двери на звезды. Повеял ветерок и снова принес запах нарциссов. В соседней комнате заплакал маленький. Мышка встала, набросила халат. За стеклянной дверью засветился ночник — тень женщины, наклонившейся над кроваткой, закачалась по стенам.

Когда она вернулась и еще что-то хотела сказать (— Генричек, — наклонилась она над мужем) — услышала его ровное дыхание. Туронь спал.

Утром Фляга ничего не помнил: — Какой чеснок? Ты что, Анджей, я разве что говорил?

Ничего не мог вспомнить. Мушина даже не настаивал. Он ждал в исполкоме Туроня — Яся встретил в коридоре. Туронь куда-то звонил, несколько раз выходил из кабинета. Они отправились только в десять.

У секретаря Медзы был дурной день. Утром он обнаружил на своем столе небольшую картину в позолоченной раме. Картину принес магистр Лелюхович — рано, еще до восьми. Оставил с запиской на стеклянной доске.

А дело было вот в чем. Где-то Медза видел картину «Прилет аистов». Копию взялся нарисовать магистр. Как-то, когда они выпивали в рыбацкой хижине, разговорились о живописи, и секретарь упомянул про «Прилет аистов». Лелюхович выпросил, что за картина, и обещал нарисовать. Теперь, почти через год, выполнил обещание. Медза обрадовался, потом пригляделся внимательней и расстроился.

На картине (это он хорошо помнил) старичок сидел на земле и глядел, задрав голову, на пролетающих птиц. Рядом стоял мальчик в армяке, тоже задрав голову. На копии Лелюховича всё было наоборот — мальчик сидел, а старичок стоял. К тому же, они были одеты по-городскому, в брюки и пиджаки.

— Не то, не то, — вздохнул секретарь. — И птицы, как гуси!

Рядом с картиной лежал телетайп: приезжают товарищи из воеводства на несколько дней. Во главе с Кмитой — Котули в списке не было. Вдобавок у Медзы болел зуб. Ныл еще со вчерашнего дня, Хеленка на ночь давал верамон — видно, не помог. С ноющим

зубом подошел он к окну. Ветер донес запахи из парка через улицу, и секретарь скривился. Позвонил Туроню.

— Товарищ Туронь, приближается срок очередного совещания. Нам нужно было согласовать позиции по нескольким вопросам. Когда зайдете? Я...

— Сейчас и придем, — сказал Туронь.

— Один, один!

— Редактор Мушина хочет с вами встретиться! — И председатель повесил трубку.

Около трех машинистка Стася позвонила Ленке:

— Мадзя, вечером будешь дома?

Ленка собиралась на полседьмого идти с Мушиной в кино (показывали французский фильм).

— Что-нибудь срочное?

— Очень, — сказала машинистка и быстро добавила: — По телефону не могу.

Они договорились на пять. Ленка ждала в саду. На маленьком столике она расставила стеклянные мисочки с первой клубникой. Сахарная пудра в фаянсовой сахарнице и сливки в кувшинчике стояли рядом. Стася сразу начала рассказывать о приходе Мушины и Туроня в горком.

— Милая моя, что там творилось! Никогда секретаря таким не видела!

Может, они сразу взяли быка за рога? Мушина мог прямо спросить:

— Товарищ секретарь, как там на самом деле с этим чесноком?

— С чесноком?

Они сидели за столиком под чайной розой. Медза расставлял на темной стеклянной плите рюмки для коньяка.

— С чесноком, с чесноком. Речь идет о поставках. В ведомостях фигурируете вы, Гняздовский, Шелёнг и архитектор — как главные поставщики. Дело вроде бы мелкое, да вот... — Редактор перевел дух: — Участки у вас маленькие, а каждый сдает по несколько тонн. Как это? Например, председатель охотничьего кружка Шелёнг. Огородик, как наперсток!

Медза молчал. Барабанил пальцами по темной стеклянной плите. Отставил бутылку с коньяком.

— Может, это как с манной кашей? — прибавил Мушина. — С неба, с неба! — Он засмеялся с легкой хрипотцой.

Туронь молчал. Сквозняк приподнимал муслиновые занавески. Медза, наверно, утер пот со лба мятым платком.

— Сначала они тихо сидели, — рассказывала Стася. — Я ничего не слышала, хоть и подглядывала в замочную скважину. Только потом пошел кричать. Даже через эти кожаные двери слышно было. Твой и председатель сидели тихо. Не знаешь, в чем там дело?

— А потом? — спросила Ленка.

— Потом вышли, а он сразу начал названивать тем, — Стася засмеялась, — Гняздовский прямо из больницы на скорой помощи приехал. Даже белого халата не снял. Шафранека со стройки вызвали. И снова повторила: — Не знаешь, в чем там дело?

Ленка рассказала подружке про чеснок (она всё знала от Мушины). Машинистка перепугалась:

— Мадзя, смотри! Он тебя еще втянет в какое-нибудь несчастье!

Ленка сидела задумавшись. Стася ела клубнику — ложечка позванивала о стекло. Когда те пришли, она немножко обождала и вошла в кабинет, кофе принесла. Слышала, как секретарь говорил Гняздовскому:

— Тебе, Юзек, оказывается, следует уйти. Шафранека он тоже не хочет видеть в стройтресте. Новых людей нам нужно, вот что он сказал.

Занавеска взлетела от окна, они смотрели, как она опускается.

— И все его идеи должны быть приняты. Знаете: канализация, трамплин, бассейн. О мотеле и слышать не хочет.

— Вот блядь, — сказал инженер Шафранек. Они смотрели в окно.

— К мелочам цеплялся. Пивной ларек, говорит, ликвидировать надо. И отказаться от радиофикации...

— Сидели под чайной розой, и никто на меня даже не глянул, — говорила Стася. Она поставила стаканы с кофе на письменный стол и вышла.

— Думайте, думайте! — наверно, нетерпеливо покрикивал Медза. — Что-то надо решить! — Руки у него дрожали. Он пил криничанку из бутылки.

А Шафранек снова: — Вот блядь!

— Потом они вызвали Яся Флягу, — рассказывала машинистка. — Скажи своему, может, из него чего-нибудь вытянет?

Ленка сорвала маленькую белую маргаритку (вдоль дорожки были рядки цветов). Играла цветком. Стася накладывала в мисочку новую порцию клубники.

— Не знаешь, чего им от Яся было надо? — спросила Ленка.

— Когда вышел, звонили майору Попеляку, но не знаю, зачем. Как раз Чеся вошла — мне пришлось положить трубку.

Ложечка позванивала о стекло — занятая клубникой, Стася не глядела на Ленку и не видела, как секретарша прислонилась головой к стволу яблоньки, словно вдруг ей худо стало. Белая маргаритка упала на дорожку.

Фляга ждал Ольшевского в парке. Он встал со скамейки, когда увидел мощную фигуру сержанта в свете фонаря, возле памятника Костюшко. Ольшевский выговаривал молодой паре, сидевшей

в тени, за неположенное поведение в общественном месте (они целовались). Потом отвернулся и медленно подошел туда, где сидел Рыбачинский.

— Пан Ольшевский, — сказал Фляга, — у меня к вам несколько слов.

Сержант поглядел удивленно. Приложил два пальца к козырьку.

— Слушаю вас, гражданин Рыбачинский.

Фляга немного смутился — не знал, как начать. Они стояли посреди дорожки, в свете лампы, сквозящей через листья лип.

— Дело одно есть. Вы когда-то задержали этого редактора, что к нам сюда приехал.

Ольшевский молчал. Он смотрел на Флягу сверху (он был на голову выше).

— Вы задержали его по обвинению в нарушении правил общественного порядка. Он в вашем присутствии отправлял физиологическую потребность. Помните? — Фляга хихикнул.

Ольшевский молчал.

— Ну, тогда это мы чуточку поспорили. Я тоже был под газом. Потом майор приказал редактора выпустить.

Ольшевский ничего не говорил. Он слегка покачивался взад-вперед, пока Фляга, задирая голову, говорил:

— Дело в том, уважаемый сержант, что мы хотим к этому делу вернуться. Наверно, вы тогда писали какой-нибудь протокол или запись... Теперь вы могли бы это использовать. Майор будет уведомлен. Никаких препятствий вам не будет устраивать.

Ольшевский продолжал молчать, и Ясь Фляга встревожился.

— Сержант, — сказал он, — да вы понимаете, о чем речь идет? Этот человек скандалит в городе, надо его тово... придержать. Вам и карты в руки! — Он снова захихикал.

— Нет, — коротко сказал сержант. Поправил ремешок под подбородком и хотел отойти.

Фляга схватил его за рукав. — Пан Ольшевский, это же ничего не стоит. Он же тогда открыто нарушил правила: неправильно перешел проезжую часть, платить не хотел! Еще при вас же потребности отправлял. Вы можете оформить дело на дисциплинарную коллегия, а то и прокурору. Он действием оскорбил мундир, когда этак у вас на глазах...

— Нет, — повторил Ольшевский. Он стряхнул руку Фляги с рукава и обмахнул мундир, словно пыль сметал. Медленно пошел в сторону города. Не оглянулся, не сбился с темпа ходьбы. Шествовал, как всегда: руки заложены назад, портупея через плечо, ни животе белая резиновая дубинка.

Фляга утер капли пота со лба. Снова устроился на скамейке, хотя ждать уже было некого. Сидел и смотрел на вознесенную саблю Костюшко и на свет фонарей сквозь листья лип.

XVI. Так будет лучше

Утром Баську разбудил свист за окном. Матери не было — она в восемь уходила в исполком. Девушка босиком подбежала к окну и увидела Ренек. Он сидел на каменном барьере напротив одноэтажного домика, жевал резинку. Рядом лежала брошенная на мостовую сумка с белой надписью «Мексико». Чуть дальше, на том же барьерчике, сидел на корточках Петрусь Грошек. Его сумка висела на заборе, зацепленная за жердь.

— Идешь? — спросил Ренек.

— Иду, — сказала Баська. Отошла от окна, только занавеска всё еще волновалась в опустелом проеме.

Потом они сидели всей компанией над рекой, в густых зарослях ивняка, недалеко от моста. Был Ренек, Баська (она лежала, положив голову ему на живот), Петрусь Грошек, две девушки из одиннадцатого (не допущенные к экзаменам на аттестат) и еще трое ребят. Они загорали, лежа на влажном песке, вдыхая запах реки, ила, трав с длинными острыми стеблями, слушая надоедливое жужжание мух и грохот колес по мосту в сторону города. Баська повторяла слова песни, списанные в общую тетрадь. Тихо играл транзистор. На песке стояла полупустая бутылка яблочного вина, валялись две жестяные кружки. Ребята почти не разговаривали, Петрусь громко зевал, слышался Баськин шепот, музыка, жужжание мух.

Божья коровка медленно ползла к верхушке высокого стебля. Остановилась, чуть-чуть не добравшись. Пыталась раскрыть крылышки — хотела взлететь, но не могла, и только бессильно трепыхалась на месте.

Ренек открыл глаза, поглядел на белые облака над рекой, потом поднял свою большую ладонь и погладил Баську по щеке.

— А ну, старуха, пошли в кусты.

Ребята засмеялись. — Не рановато, Ренек? — спросил кто-то.

— Воля Божья, — сказал юный Грошек. Теперь уже все смеялись.

Петрусь лежал на животе и сорванным колоском сухой травы тыкал в божью коровку. Он видел, как жучок пытается взлететь, как терпеливо возобновляет попытки раскрыть крылышки, как нервно трепыхается на длинном стебле, раскачивающемся над песком.

Ренек глотнул вина из бутылки. Они встали одновременно — он обнял девушку — и медленно пошли по тропинке вдоль зарослей ивняка.

— Осторожно, песок мокрый! — крикнул вслед Петрусь. — Простудишься, Ренек!

Они слышали за спиной смех, а потом уже только шелест веток, задевающих за голые плечи. Ренек чувствовал прикосновение теплых от солнца волос девушки, положил руку ей на грудь. Они остановились и несколько мгновений целовались.

Там, где тропинка выходила на небольшую полянку в самой чаще ивняка, им снова пришлось остановиться. Скрестив руки под головой и широко раскинув ноги, спал на песке редактор Мушина. Он дышал присвистывая. Неприкрытое лицо раскраснелось от солнца. Синие мясные мухи ползали у него по лбу.

— Как мертвый, — сказала Баська. Крепче прижалась к Ренку.

Парень засмеялся. — Пьяный! Ничего себе, видать, вчера напились. Теперь отсыпается.

Они осторожно обошли Мушину и снова нырнули в гущу зарослей ивняка. Их голые спины исчезли за длинными ветками. По мосту грохотали грузовики, едущие в город, часы на башне костела пробили двенадцать.

Петрусь Грошек снял божью коровку со стебля и раздавил. Уставился в мокрый желтый след на подушечках пальцев (крылья еще конвульсивно подрагивали), потом старательно вытер руку о песок.

Разное говорили про то, как Мушина от нас уехал. Одни — что это Фляга силой втиснул его в автобус. Они вышли из «Гражданского» поздно — Мушина был пьян, упирался, не хотел идти. Фляга подталкивал его в сторону зала ожидания.

И, может, он снова запомнил: качающиеся двери заскрипели, когда они вошли, грязный пол, скамейки с облупленной краской, бутылка зеленого стекла в углу. На стене, напротив двери, оборванный плакат «Да здравствует...» с кулаком, сжатым на древке. Бабы с мешками сидели на скамейках.

Они постояли там, пошатываясь, поддерживая один другого. У Мушины шляпа с головы свалилась. Долго-долго поднимал ее.

Рыбачинский всё повторял: — Так будет лучше, Анджейка.

А Мушина: — Послушай, Янек...

И Фляга: — Так будет лучше.

— Послушай, Янек... — Он подсовывал заведующему удостоверение в серой обложке.

— Спокойно, — говорил Рыбачинский. — Тоже мне, почетный донор! — Громко смеялся.

И снова Мушина: — Послушай, Янек...

Потом приехал автобус, чуть ли не последний — темно уже было. Они выкатились из зала ожидания — бабы повскакивали со скамеек, чтобы лучше видно было. Рыбачинский посадил Мушину в дверь.

— Пан водитель, — восклицал он, — коллега болен!

Водитель не хотел и билета Мушине продавать: — Болен, болен, а потом как блеванет!

Видно, Фляга ему дал на лапу, потому что в конце концов тот согласился. Мушина уехал как стоял: даже портфеля у него с собой

не было. В своей запачканной, в пятнах, болонье, в тирольской шляпе, надвинутой на глаза. Голова упала на грудь — заснул в ту же минуту.

Автобус минут пять постоял и поехал. Блеснули окна, когда он сворачивал возле парка. Они спускались улицей, обсаженной ясениями, к реке.

Бабы повозвращались на свои места. Фляга ушел, нетвердо держась на ногах. Перед «Гражданским» пьяные мужики пели, усаживаясь в такси.

Другие говорили, что всё было не так. Вроде бы он до четырех пил с Рыбачинским. Сидели за столиком для избранных гостей, за занавеской. Ясь Фляга ставил как никогда — уже это могло бы возбудить подозрения Мушины, но он не обратил внимания. Людвись дважды приносил по поллитре из буфета. Пили житную и выборов. Фляга рассказывал о своих аферах.

— Анджейка, двадцать кусков обломится! — повторял он.

Потом, обнявшись, они пели патриотические песни: «Алые маки» и «Расшумелись плакучие ивы...» Голос Фляги разносился на оба зала.

— Начальник гуляет! — говорили мужики в зале с буфетом. Не выпуская пивных кружек из рук, они заглядывали за занавес и хохотали.

Фляга поднимал правую руку вверх (в левой держал бутылку) и пел: — «Пили кровь поляков вместо росы!...»

Мушина, в расстегнутом пиджаке, со сбившимся на бок галстуком, подпевал. Когда допели, Рыбачинский вдруг разрыдался:

— Столько крови, столько крови, а на что?

Мушина повесил голову.

Людвись ухмылялся, собирая со стола пустые пивные бутылки и тарелки с остатками салата.

В какой-то момент в зал вошел сержант Ольшевский. Он был на службе — дубинка, ремешок под подбородком, руки назад.

— Тише, тише, граждане, — сказал он, остановившись у их столика. — Что это за пение? На улице слышать.

Фляга встал на подгибающихся ногах и, слегка пошатываясь, погрозил Ольшевскому пальцем.

— Ты! — говорил он, — платный наемник! И ты нам запретишь петь национальные песни?

Ольшевский был еще спокоен. — Гражданин Рыбачинский, успокойтесь, пожалуйста, — сказал он.

— Прочь, прочь! — закричал Фляга. Он оглядел зал — все смотрели на них. Из-за занавески выглядывали мужики с кружками пива.

— Да здравствует свобода! — крикнул Мушина.

— Граждане, не выкрикивайте антигосударственных лозунгов! — предостерег Ольшевский.

Фляга схватил его за лацканы. — Ты где был в тридцать девятом? Что делал? Ага, сложив руки глядел, как враг заливает кровью отчизну?

Мушина схватил пустую пивную бутылку, разбил о край стола и горлышком нацелился в сержанта. В этот момент вошли сотрудники воеводской комендатуры. Они растолкали мужиков возле занавеса. Шли через зал медленно, не спеша — офицер и два капрала. У Мушины рука с горлышком опустилась.

— Так-то лучше, гражданин, лучше? — спросил офицер в кожаной куртке. Два капрала остановились позади него. Они были в комбинезонах, перепоясанных белыми ремнями. Ольшевский стал навывтяжку.

— Гражданин поручик, сержант Ольшевский из районной комендатуры докладывает о ходе происшествия. Присутствующие здесь двое граждан нарушали спокойствие, выкрикивая антигосударственные лозунги.

Офицер махнул рукой. — Документы! — сказал он Мушине. Ясь Фляга вдруг зашатался и сполз под стол. С грохотом упал. Те не обратили внимания.

— Документы! — повторил офицер. Он сделал шаг к Мушине. Два капрала придвинулись следом.

Мушина не протестовал. Он вынул потрепанный бумажник, порылся в нем, потом подал поручику удостоверение в серой обложке. Офицер посмотрел на надпись. Усмехнулся.

— Шутите, гражданин? Я просил документы, а вы мне тут... Почетный донор!

Мушина сполз на стул. Он сидел, мотая головой, — может, плохо ему стало? Перевернул начатую бутылку, водка хлопнула на стол.

— Взять! — приказал офицер капралам. Повернулся и пошел к выходу.

Капралы схватили Мушину с двух сторон под руки. Он упирался и кричал: — Пустите! Пустите!

Перед «Гражданским» стояла куча людей. Они заглядывали в окна, самые любопытные столпились у дверей. Когда из-за занавески вышел поручик, они отхлынули назад. Почти тут же капралы выволокли Мушину на улицу. Люди глядели, как редактора запихивают в машину. Это был выдавший виды газик с поднятым сзади брезентом. Мушина всё еще вырывался и кричал.

— Ленка! Ленка! — выкрикнул он громко.

Он озирался, словно искал ее в толпе, но, наверно уж, ничего не видел, кроме зеленого пятна листвы акаций над вывеской «Гражданского» и белых пятнышек лиц любопытных.

— Ленка! Ленка! — хрипел он.

Мужики смеялись. Мушина двинул одного из капралов ногой по косточке, тогда второй два раза ударил его дубинкой. Только тогда редактор смирился — сам поставил ногу на ступеньку газа. Он исчез внутри, капралы опустили брезент, и газик уехал. Немного пыли с обочины осело на мостовую, когда он сворачивал на дорогу под ясениями.

В «Гражданском» сержант Ольшевский с Людвисем подняли Яся Флягу с пола. Он рассек себе бровь, когда падал. Люди медленно расходились от ресторана. Людвись снова принялся разносить пиво. Сержант сел писать заметку о ходе происшествия. Заведующий Рыбачинский уснул, положив голову на скрещенные руки. Под столом, возле ботинка сержанта Ольшевского, лежал фотоаппарат-зеркалка.

Сразу после восьми, как только Туронь сел за письменный стол, зазвонил телефон. Это был секретарь Медза.

— Товарищ председатель, слышали новость?

Туронь еще ничего не знал. Пошутил:

— А что, секретарь, уж не отказались ли вы от новой забегаловки?

— И не откажусь, не откажусь, — сказал Медза. Голос у него изменился, повеселел. Он помолчал, прежде чем закончить: — Нет уже этого вашего редактора у нас. Вывезли его.

Генрик молчал. Когда он входил, ему показалось, что у Ленки глаза заплаканы. Она стояла у окна с платком, повернулась, будто что сказать хотела, но он прошел прямо в кабинет.

— Алло, товарищ председатель! — кричал Медза. Слышно было дыхание в трубке. — Спросите Рыбачинского. Он был при нем до самого конца. Знаете, какое он удостоверение людям показывал?

Генрик молчал.

— Алло! — терял терпение Медза. — Вы меня слышите? Говорят, почетного донора. Никаких других документов у него не было!

Генрик молчал. Медза несколько раз прокричал: «Алло, алло, товарищ Туронь!», но председатель не откликнулся. Он медленно повесил трубку. Сидел за столом, смотрел в окно. Доносился говор от пивного ларька — иногда вырывалось какое-нибудь словечко погромче, чей-то смех. Через площадь проехала милицейская «Ниса». Репродуктор на крыше загудел: «Пешеходы, переходите проезжую часть по белым полосам перехода!» Хотел ли он встать, закрыть окно, выйти? И сидел, сидел неподвижно над стеклянной плитой стола.

Медза в конце концов тоже повесил трубку. Встал, потер руки. Подошел к окну. В парке, очищенном от галок и ворон, стояла тишина. Люди шли по тротуарам, молодые женщины катили коляски, дети из детского сада переходили мостовую, держась за руки.

Юзик приоткрыл дверцу «Варшавы» — виднелись торчащие из машины ноги в сандалиях. Наверно, читал детектив.

От базарной площади подъехала милицейская «Ниса». Когда она сворачивала в улицу, обсаженную ясенями, репродуктор захрипел: «Пешеходы, переходите... перехода!»

Кто-то приоткрыл дверь в кабинет. Медза обернулся улыбаясь. Вошла Чеся со стаканом горячего чаю. Поставила на стеклянную плиту.

— Не рановато, товарищ секретарь?

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал секретарь.

Чеся вышла, тихо закрывая кожаные двери. Медза пошел к столу. И только когда, уже сев, наклонился, чтобы достать приготовленные Хеленкой бутерброды, поглядел на чайную розу и помрачнел:

— Ах, эти тли, эти тли!

XVII. Закрытые окна

В субботу зять приезжал к Франеку (у него был ИЖ-250 с коляской), и они ехали дорогой, что вилась серпантином, за город. Иногда зять брал Мάρуся, племянника Сломкевича, решительного мальчонку, с которым Франек вел долгие разговоры.

Мальчику было восемь лет, он ходил во второй класс. Обычно он оставался с Франеком, они сидели недалеко от мотоцикла, поставленного в кусты. Отец уходил подальше. На ночь они разбивали палатку, пекли в костре рыбу, Франек с зятем распивали поллитра. Когда мальчик засыпал, уже в темноте, они шли ставить переметы на угрей.

Сейчас, в полдень, Мάρусь лежал рядом с Франеком в траве.

— Дядя, — говорил он, — а у тебя хоть есть разрешение на рыбную ловлю?

Франек и зять ловили без удостоверений. Поэтому оба время от времени беспокойно глядели, не подходит ли кто берегом. Рыбачили каждый отдельно и свистом подавали друг другу знаки в случае опасности.

— Нет, — сказал Франек.

— Ну, а если бы, — говорил мальчик (он лежал на животе в высокой траве и видел только длинные стебли на фоне неба, как колышутся они под налетающим ветром, да спину дяди Франека, сидящего над удилищем), — пришел надзор и спросил, есть у тебя бумага или нет, что бы ты сказал?

— Ну, ясное дело, что есть, только дома оставил.

— И соврал бы, — сказал мальчик.

Франек оглянулся: — Соврал, соврал! А что еще делать?

Штраф платить, удочки, рыбу отдать и так далее? Ты что, Мáрусь? За кого ты меня держишь?

Мальчик помолчал чуть-чуть, словно размышлял над ответом. Франек вытянул удочку, но это была только маленькая уклейка, и он бросил ее обратно в воду.

— А если бы они хотели у тебя рыбу забрать? — спросил мальчик.

— Ну, может, я попросил бы, — ответил Франек, нацепляя червяка на крючок, — чтоб не забирали, а то моя больная жена очень любит рыбу и ждет, что я ей чего-нибудь привезу.

— Ой, дядя, дядя, — сказал мальчик, — у тебя же нету дома больной жены. У тебя же вообще нет жены! — Он тихо засмеялся.

Франек повернулся к нему: — Мáрусь, а если ты не выучишь урок, что скажешь учительнице: что не выучил или что тетрадку забыл, а?

Мальчик молчал. Франек подождал и продолжил:

— Ты бы сказал, что тетрадку забыл, правда? В жизни надо говорить, как удобнее, а думать... Думать можешь, что хочешь.

С мыса, где рыбачил отец мальчика, метров за сто от Франека с Мáрусем, раздался короткий свист. Франек сорвался с места и быстро спрятал удочку под куст шиповника. Туда же засунул и сетку с наловленной рыбой. И растянулся на спине рядом со своей палкой. Глядел в небо.

Мальчик сел в высокой траве. Он внимательно глядел на двух рыболовов, молча прошедших мимо. Франек еще лежал — видно, вставать ему не хотелось. Вокруг, словно убаюкивая, стрекотали кузнечики. Высоко в голубом небе кружил и кружил ястреб.

— Ну, а я хотел бы всегда говорить, что думаю, — вдруг высказался Мáрусь. — Даже в школе.

Франек вздохнул, не открывая глаз. Он ответил: — Сопляк ты, Мáрусь. Таким способом далеко не уедешь. Разве что вон туда, на дно, — он махнул рукой.

— Выходит, я должен врать?

— Врать, врать! — взъерепенился Франек. — Чего ты так прицепился к этому вранью? — Он поднялся на локте и посмотрел на мальчика: — Говорить! Понимаешь, говорить! Сказать можешь всё, что угодно, на то и слова. А что ты там себе думаешь, никто тебя не спросит. Это никакого значения не имеет. Так и запомни. — И Франек снова растянулся на спине.

Директор Гняздовский возвращался через парк рано. Было только юлпервого, а должен он был вернуться домой в четыре (начатую операцию пришлось прервать — пациент умер). Неподалеку от памятника Костюшко (вождь с усталым лицом, сабля белая от птичьего помета), в толпе детей и нянек с колясками, он увидел свою жену Кристину рядом с магистром Лелюховичем. Они шли

между скамеек — Лелюхович что-то рассказывал, Кристина смеялась. Она несла сетку с продуктами — видно, встретила магистра, возвращаясь с базара. Доктор замедлил шаги. Он и сам не объяснил бы, почему. Всего-то стоило догнать их, поздороваться, пошутить.

— Ой, магистр, магистр! — погрозить пальцем.

А он шел за ними медленно, останавливался, когда они замедляли, переживал. Видел, как Лелюхович взял Кристину под руку, наклонился, что-то шептал. Женщина смеялась, свободной рукой поправляла каштановые волосы. Может, он глазам своим не верил? Его Кристина — та, что каждое утро вставала сварить ему кофе, старательно раскладывала ломтики ветчины на тарелке, нервничала, что в мясной нет говядины, — сейчас шла рядом с Лелюховичем какая-то другая, тоньше, стройнее, совсем как молоденькая. Он глядел: голубое платье в желтых и белых цветах, каштановые волосы, жест поднимаемой руки.

Они прошли парк, потом повернули в сторону замка. Прежде чем перейти мостовую, они остановились и стояли близко-близко друг к другу — женщина смотрела на часы, Лелюхович, видно, уговаривал. Доктор переждал минуты две, потом пошел за ними. Осторожно, останавливаясь за деревьями, он дошел до краешка откоса. Он даже не заметил, как Кривой Стефан (пас возле развалин корову) снял перед ним шапку.

Внизу, на выброшенном на берег стволе, сидели эти двое. Гняздовский стал, жмурясь от солнечных бликов на реке. Он видел, как Лелюхович положил руку Кристине на плечо, притянул женщину ближе. Гняздовский прислонился к стволу большого тополя, росшего над обрывом, потом сел на траву. Портфель он положил рядом. Снял очки, чтобы протереть их платком, и тогда река, холмы на другом берегу, голубое платье Кристины — всё слилось в большое светлое пятно. Когда он снова надел очки, ничего не изменилось: они сидели на стволе, сумка с покупками лежала рядом. Река бежала по-прежнему.

Кривой Стефан с почтением смотрел на директора Гняздовского. Может, он думал, что доктор отдыхает? Тихо позванивала цепь у коровы на шее. Слышно было тарахтенье машин по мосту.

Гняздовский лег на спину. Может, плохо себя почувствовал? Стефан видел, как он расстегивал воротничок белой рубашки. Правой рукой щупал пульс в запястьи левой. Наверно, ему было видно небо над вершиной тополя и как медленно плывут облака.

Прошло пять минут. Доктор с усилием сел — посмотрел вниз, но на стволе никого не было. Он вскочил, чтобы поглядеть на тропинку пониже, — может, он думал, что они уже пошли обратно? Тропинка была пуста. Тогда он посмотрел на длинную, тянущуюся вдоль берега полосу зарослей ивняка, и там ему, может быть, мелькнуло голубое платье. словно незабудки росли среди ивняка. А может, он только и видел, что реку сквозь зеленые ветки? Пустой

ствол лежал одиноко. И снова он снял очки, а вода, холмы на том берегу, ивняк с пятном незабудок — всё сплылось в один светлый фон. Так он и сидел — наклонившись вперед, со стеблями травы, прилипшими к пиджаку, с портфелем, брошенным в сторону, и неподвижно глядел в это светлое.

Кривой Стефан ходил неподалеку, подтягивая цепью корову. Подойти к директору Гняздовскому он не осмеливался. Только издали глядел с почтением.

Еще солнце стояло в окнах исполкома, а Рыбачинский уже выходил из «Гражданского». Он остановился под акацией, нетвердо держась на ногах, — покачивался взад-вперед. Неподвижно уставился перед собой. Лоб его был покрыт потом. Сташек Окраса и Левандовский как раз шли через площадь.

— Ого, Рыбачинский! — обрадовался Левандовский. — А ну, Стась, может, он с нами выпьет?

Они остановились перед заведующим Рыбачинским.

— Пан Янек... — начал Левандовский вежливо, но Фляга его словно не узнал. А может, за кого другого принял? Стоял, раскачиваясь взад-вперед, с застывшим взглядом.

— Пан Янек, может, за компанию чего-нибудь этакого?

Рыбачинский не отвечал. Лицо у него было какое-то не такое, лоб весь в поту, и этот неподвижный взгляд.

— Пан Янек, — повторил Левандовский еще раз, — своих не узнаёте, Христом-Богом клянусь! — Засмеялся, но заведующий молчал. Словно ни с того, ни с сего оглох.

— Оставь его, — вступился Сташек Окраса. — Он уже свое выпил!

Рыбачинский неожиданно сильно оттолкнул Левандовского и пошел. Зашатался, люди уступали ему дорогу. Милицейские глядели ему вслед удивленно.

— Видал, Стасик? Сам не свой, и глаза как в столб!

— Ничего себе, должно быть, тово! — сказал Сташек Окраса не без уважения и ребром ладони ударил себя по шее.

Они вошли в «Гражданский».

Рената зашла в ресторан, возвращаясь из Дома культуры. Она хотела купить сигарет — магазины были уже закрыты. Около буфета ее схватил за руку пьяный шофер Вальдек (ездил на самосвале механизаторской базы). Был тут и Зенек Левандовский, и пьяный Межеевский. Они пригласили Ренату к своему столику. Она отговаривалась, что поздно, но в конце концов согласилась и хлопнула две стопочки. Шофер Вальдек придвинул стул поближе — попытался обнять Ренату. Сначала она его отталкивала — потом (водка размыла лица мужчин у столика) соглашалась на всё. Толстая лапа шофера блуждала по теплым бедрам.

Межеевский рассказывал анекдоты, Зенек Левандовский громко хохотал. На минуту подсел Сташек Окраса, потом кто-то его окликнул, и он отошел.

— Пани Ренатка, — шептал Вальдек, — я вам обеспечу поездку в Болгарию.

— Лучше бы на Луну, пан Вальдек, — смеялась Рената. Она похлопывала шофера по щеке.

Межеевский доливал в бутылку. Вальдек схватил официанта Людвися за рукав — заказал еще поллитру.

Они вышли из ресторана после полуночи — площадь опустела, огни в домах погасли. Межеевский с Зенеком ушли, поддерживая друг друга и шатаясь. Вальдек потащил Ренату в подворотню — они вошли в черный туннель, потом вышли на крохотный двор между одноэтажных флигелей. Рената была совершенно пьяная.

— Вальдусь, Вальдусь! — трепала она шофера по щеке.

Мужчина оглянулся — только одно окно (прикрытое занавеской) бросало на булыжники квадрат света. Под забором, в углу двора, лежала груда кокса. Туда он потянул Ренату.

— Вальдусь, Вальдусь, — говорила она.

Он обхватил ее в поясе и опрокинул. Рената словно на минутку пришла в себя — начала его отталкивать. Он тяжело навалился, сопел, засучивал платье. Она вскрикнула — тогда он заткнул ей рот большой вспотевшей рукой.

Недавно прошел дождь — кокс был мокрый. Наверно, она чувствовала сквозь платье шершавые куски его на спине. Рука шофера была соленая. Она слышала, как кокс вокруг осыпается и всё громче и громче становится дыхание мужчины.

Потом, в измятом платье с черными пятнами на спине, с космами волос на лбу, она возвращалась через пустой город. Никого не было — даже Ольшевский кончил свой обход. Она присела на мокрой скамейке в парке, недалеко от памятника Костюшко. Сидела, охватив ладонями плечи, — на голых руках выступила гусиная кожа. В свете фонаря капли дождя блестели на листьях. Она почувствовала на шее холодную каплю, как булавоочный укол.

Тут-то, может быть, она и услышала под ногами писк? Что-то потерлось о щиколотку. Она наклонилась и подняла маленького рыжего котенка. Он весь был мокрый — шубка его слиплась от дождя. Он дрожал от холода и тихонько мяучил.

— Маленький мой, — сказала Рената. Она часто задышала в ладони. Чувствовала, как мокрый котишка постепенно перестает трястись. И вдруг неожиданно громко замурлыкал.

Тогда она встала и пошла к недалекому дому (из окон квартиры Лелюховичей виден парк). Она держала сложенные руки перед собой и старалась не споткнуться. Грязное платье облепило ноги, космы волос приклеились ко лбу. Она шла пустынной тропинкой между деревьями. Вокруг с шорохом падали крупные капли.

Новый председатель, Красуля Марьян, приехал к нам недавно. Сразу после последнего заседания исполкома, на котором были вынесены жизненно важные для города решения.

Постройку лыжного трамплина и молодежного стадиона отложили на будущее. Зато у дороги, ведущей в горы, возле моста, будет воздвигнут роскошный ресторан — может, ему даже дадут категорию «люкс»? Здание (конечно, найдется место и для нескольких гостиничных номеров — а значит, мотель, мотель!) станет важным звеном, как сказал на заседании товарищ Медза, на пути расширения туристической и гастрономической базы нашего района.

Пивной ларек постановили оставить в покое.

— Пиво есть, место есть, — говорил секретарь, — кому этот ларек мешает? Хочешь — пей, не хочешь — не пей, ясное дело!

Присутствующие зааплодировали разумному мнению.

Майор Попеляк тоже уходил с заседания удовлетворенный. Он сумел убедить депутатов и получить согласие на радиофикацию нашего города. Репродукторы будут поставлены через два столба на третий по всей осветительной сети. Студия — в здании комендатуры. В течение дня будут идти беседы из области соблюдения порядка в общественных местах, по вопросам передвижения по улицам и дорогам, а также избранные радиопередачи. Вечером — музыка с пластинок.

Председатель охотничьего кружка учитель Шелёнг выступил с проектом организации массовых мероприятий по отлову бесхозных собак и кошек, которые опасно размножились в последнее время. В эти мероприятия следовало бы вовлечь школьную молодежь, а также всех желающих граждан. Ввиду позднего часа (заседание затянулось до пяти вечера, а учитель взял слово одним из последних) было решено подробно обсудить этот вопрос на ближайшем заседании исполкома.

Против всех этих проектов выступал бывший председатель Туронь Генрик. Однако, будучи единственным «против» при всех остальных «за», он потерпел поражение при голосовании.

Новый председатель, Красуля Марьян, — совершенно из другого теста. Человечный, доброжелательный к окружающим — умеет жить с людьми. В присутствии секретаря Медзы улыбается и со всем соглашается. Чаще же всего молчит. При этом человек образованный — заочно окончил юридический факультет самого молодого университета страны. Магистр, не как-нибудь.

Около двенадцати кончили стаскивать мебель. Грузовик стоял нагруженный: справа шкаф с зеркалом, посередине диван, слева — белый кухонный буфет. Кроватку Малгоси, стулья и два стола положили на диван. Коляску привязали веревками.

Мышка сама снесла вниз цветы: пеларгонии, алоэ в большом горшке, традесканции с белыми воротничками на листьях. Она

поставила всё возле заднего борта, рядом со стулом, где должен был сидеть Туронь. Она-то с детьми поедет в кабине.

— Генрик, смотри за цветами, — сказала она. Глаза у нее были слегка покрасневшиеся. На лестнице она иногда останавливалась, тяжело дыша, глядела в окно на реку, бегущую на фоне еловых холмов. Она видела и башни костела с жестью, сияющей под солнцем. Вокруг грузовика носилась кучка детей.

Пришла пани Вильчинская (жена служащего исполкома) с большой бумажной сумкой.

— Это на дорогу, пани Мышка. Немножко пирожных испекла, пирожки для Малгоси.

Девочка, с плюшевым медведем, как раз бежала вниз. Пани Вильчинская обернулась. Они обнялись с Мышкой и расцеловались.

Люди даже не знали, куда едет старый председатель. Разное говорили: одни — что в центр, другие поминали Западные Земли. Когда они выезжали из города, Юзик как раз был в кабинете у секретаря. В окно он увидел грузовик с мебелью.

— Турони уезжают, — сказал он.

Медза поднялся из-за стола, поглядел. Юзик потом рассказывал, что секретарь аж в лице переменялся (губа подскочила, словно судорога егохватила): — Мутит воду, подкапывался, вот и уезжает, — вроде бы сказал он. И прибавил, с тем же искривленным лицом: — Исусик!

Ренек с Баськой ждали первой звезды. Вокруг высокий бурьян раскачивался под порывами вечернего ветра. Пахло скошенной за стеною травой. Иногда росшие на краю кладбища тополя слегка склоняли кроны. Тогда доносился шелест листьев. Баська вдруг прижалась к парню.

— Ренечек, я боюсь, — сказала она.

— Чего? — он с усилием засмеялся. Погладил девушку по волосам, обнял крепче.

— Кто-то идет сюда.

— Глупая! Никого нет.

Они прислушивались. От города доносились далекие голоса — чье-то пение, детский крик, гудки автомобилей. Ближе, с поля, ветер приносил протяжное мычание коров. Вокруг звенели кузнечики. Сонно шелестели тополя.

— Никого нет, Бася, — повторил Ренек.

Тогда она сказала: — Так иногда страшно! Живем, живем, а потом этакий бурьян вырастет. — Она коснулась высокого стебля.

Ренек не ответил. Он вытянул руку — между верхушками тополей мерцала первая звезда. Как высоко зажженная свечка.

Столяр Грошек вышел на порог. Было поздно — в окнах соседних домов погасли огни. Он едва мог разглядеть контуры абрикосовых деревьев, изгородь и тропинку между цветочными грядками. Он обошел кругом дома. Время от времени останавливался, словно прислушивался. Заглянул за смородиновые кусты под окнами, постоял возле жасмина. Он светил себе фонариком; несколько раз что-то пробормотал. Было тихо, только за городом лаяли собаки. Старик прислонился к стволу ореха. Он слышал шелест листьев, сквозь ветки просвечивали звезды.

Медленно вернулся он к двери, еще раз оглянулся, посветил в темноту фонариком. Старательно вытер ноги, запер дверь. Слышно было, как загремел ключ в замке, проскрежетал засов.

Грошкова уже легла, в комнате рядом со столовой. Ее седые волосы были распущены. Она поднялась на локте, придерживая край одеяла.

— Янчик, ради Бога, зачем ты это делаешь? Я так перепугалась, когда ты в окно посветил.

Старик молча проверял, заперты ли окна в столовой. Старательно затянул занавески, шторы. Смотрел, чтоб ни щелочки не осталось. Потом вошел в комнату, где лежала старуха.

— Они же даже не стали эту уборную ставить. Забудь уж ты про них.

Столяр молчал. И здесь он подошел к окну. Проверил, заперто ли, опустил занавеску.

— Хоть одно на ночь оставил бы открытым. Задохнуться можно. А что будет, как жара придет?

Грошек не отвечал. Он принялся медленно снимать пиджак — повесил на спинку стула, потом сел, расшнуровал ботинки. Грошкова глядела на седую голову мужа, на сгорбленную спину. Брюки у него были на подтяжках. Она вздохнула и снова улеглась.

Ленка проходила мимо «Гражданского» (ходила она теперь осторожно, неся перед собой большой выпяченный живот), когда оттуда выкатились пьяные. Двое придерживали третьего — она остановилась в испуге, как бы не толкнули. Пьяный повисал у тех на руках, невнятно бормотал, мотал головой. Шляпа упала на тротуар и покатилась к Ленкиным ногам. Она с трудом наклонилась — это была зеленая тирольская шляпа. На доньшке остались грязные следы. Приятель пьяного (толстый, краснолицый) подходил ухмыляясь. Раскинул руки, словно хотел обнять Ленку. Она молча отдала шляпу и быстро ушла.

Она могла еще глянуть на пьяного на ходу — он стоял у стенки, всё так же мотая головой, слюна текла из невнятно бормочущего рта. И действительно был он в зеленой болонье (так одетых мужчин у нас часто встречаешь), только лицо чужое. Краснолицый натягивал ему шляпу на глаза.

Потом она сидела у реки, на стволе старой ивы. Она часто сюда приходила; осторожно, колыша большим животом, спускалась она с откоса. Уже не было гусей на лугах, и арника давно увяла. Холмы на том берегу исчезали в предвечернем тумане. Сейчас, осенью, там, где рос бук, виднелась бронза листвы, словно деревья ржавчиной припорошило. Она слышала стук конских копыт по асфальту, поблескивали огни машин. Ленка сидела неподвижно, подперев подбородок руками. Иногда она просовывала ладонь под пальто, клала на теплый живот и слушала, как ребенок толкается ножками. Может, она тогда в темноте улыбалась?

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

СТИХИ ГРУЗИНСКИХ ПОЭТОВ

Перевод и предисловие Василия Бетаки

Самиздат как явление, по крайней мере на русском языке, начался с поэзии. Что же касается самиздата, всё активнее входящего за последние годы в жизнь национальных республик, то он — прежде всего — политический. Это во многом объясняется той реальностью, что цензурный зажим почти во всех республиках (за исключением разве что Украины) на художественную литературу — особенно на поэзию — почти не влияет. На родном языке поэт эстонский, киргизский или грузинский, к примеру, может опубликовать такие стихи, за которые русский или украинский поэт как минимум был бы исключен из Союза писателей (если состоит в оном). Иное дело — дозволено ли будет эти стихи перевести на русский — тут уже критерии иные.

Есть, приближенно говоря, лишь две темы, которые препятствуют публикации поэзии на родном языке, — тема национальная и тема религиозно-философская. Да и то категорически «непроходима» лишь вторая из них.

Всё сказанное полностью справедливо и в отношении грузинской поэзии, одной из самых богатых и ярких среди так называемых «советских литератур». Наличие же довольно многочисленного самиздата в Грузии объясняется, видимо, не только развитостью грузинской поэтической традиции, но и тем, что традиция эта как раз ведет поэтов по линии двух нежелательных тем, указанных выше. Религиозно-философские мотивы вообще свойственны грузинской поэтической традиции, начиная с блестящей плеяды средневековых грузинских поэтов X века (М. Модрекили, Иоанн Мтебвари и др.), написавших и поныне не забытые гимны и молитвы. Этой традиции отдали дань и классики грузинского романтизма — Н. Бараташвили, А. и Г. Орбелиани, С. Размадзе. Замученный в 1937 году Тициан Табидзе и покончивший самоубийством в 1959 г. Галактион Табидзе, погибший в том же 1937 Паоло Яшвили и другие поэты старшего поколения тоже не чуждались этой традиции.

Грузинская поэзия — одна из самых трагических, героических и печальных поэзий мира. Это поэзия молитвы и раздумья, подвига и плача.

Может быть, поэтому поэтический самиздат в Грузии распространен более широко, чем в других республиках. Возник даже самиздатский журнал «Золотое руно», в котором поэзии уделяется значительное место.

Подборку стихов некоторых поэтов грузинского самиздата мы и предлагаем вниманию наших читателей. Почти все стихи эти переведены из журнала «Золотое руно», издаваемого Звиадом Гамсахурдиа.

Сын замечательного грузинского романиста Константина Гамсахурдиа, Звиад Гамсахурдиа — член Группы-Хельсинки — арестован весной 1977 г. До этого подвергался многочисленным обыскам и всяческим преследованиям. Как поэт он не публиковался официально по причинам вполне понятным — поэзия религиозно-философского жанра едва ли встречается в советских журналах, на каком бы языке они ни выходили.

Когда-то Достоевский, стараясь одной фразой сформулировать доминирующий творческий принцип, найти корни русской прозы своего века, сказал о Гоголе: «Все мы вышли из его «Шинели». Такую же, на мой взгляд, роль в традиции грузинской поэзии сыграло знаменитое стихотворение великого романтического поэта Грузии Николоза Бараташвили «Мерани».

Мерани — крылатый конь, грузинская аналогия античного Пегаса. Поэтому мне кажется вполне правомерным предпослать своим переводам из поэтов грузинского самиздата перевод этого шедевра грузинской литературы, столь же героически-романтического, сколь и грустного. Я думаю, что мало есть грузинских поэтов, в творчестве которых те или иные отблески или мотивы из «Мерани» не нашли себе места...

Обреченной души стремление
понапрасну не пропадет:
Ведь тропу, что тобой протоптана,
незнакомый собрат найдет,
Нам вослед он по ней промчится,
Скорбный путь повторяя мой,
Чтоб скакун бесстрашный унес его,
И вознес его над Судьбой!

Мчись, мой гордый конь, без дорог и троп в непроглядной
мгле,
Взором ночь сверля, что-то каркает черный ворон мне...
Мчись, Мерани, мчись, пусть летят назад кручи горные,
Чтобы встречный вихрь уносил мои думы черные...

Звиად Гамсахурдиа

Если пламя души
Истинно,
Дверь собора сама откроется,
Фимиама фиалкой
Чистою
Расцветет душа Богородицы.

И возникнет алтарь
В воздухе,
И появится агнец
В пламени,
В светоносном столпе —
Розою,
Мироносным воинством славимый.

Если пламя души —
Радугой,
Нераздельной и неслиянной,
Даст плоды тебе древо радости,
Как расцветший крест Иоанна.

ПЕЙЗАЖ

(Страстная неделя)

Вечер туманится смутными полосами.
Отрывает ли душу от тела? Песню от голоса ли?
Сам я где-то парю, и на собственный труп с высоты
Равнодушно смотрю —

или это зовешь меня Ты?

Я смолкаю, и строки мои — как песок,
Ибо мысли мои холод мира иссек.
И становится мед бытия — словно яд,
И объятья земли только злобу таят
Средь могил разоренных, где мрут письма
И холодным туманом одета страна.

МОЛИТВА

Храм без куполов.
Только стены стоят.
Только звездный поток льет в заброшенный сад.
Как фигура священника — крест над камнями,
И становятся звезды Святыми Дарами...
Душу, Господи, благослови, чтоб могла
Стать плотиною пред водопадами Зла,

Кто же отмерил,
Сколько лет я с тобой
В райские двери
Буду биться башкой?

Кто же предскажет,
Сколько лет, сколько дней
В черной пустыне
Мне бродить без огней?
Сын лихолетья,
Опознаешь ли ты
Под рубцами от плети
Этой маски черты?

Вздогнешь ли в страхе —
И пойдешь по холмам
Где-то во прахе
Сыщешь рухнувший храм...
Кто ты, прохожий?
Помолись за меня,
Птичьим плачем встревожив
Равнодушие дня.

* * *

Подожди — из сада голос зазвучит:
Кто любил меня, придет ко мне в ночи.
Грех извечный, неизбывный на земле —
Кто, когда его посеял в серой мгле?
Кто глаза твои навеки угасил?
Кто об стену мысль живую размозжил?
С каждым часом луч надежды всё бледней...
Что же делать старой матери твоей?



Я пою, как поломанная флейта,
Ты поешь, как журчащий ручеек;
Луч мелькнет — но не ведаю, кто это
Отнял свет, песню мраку обрек.
Я пою... но на всё, что споется,
Только эхо могил отзовется...

Николоз Сантарадзе

НОВЫЙ ГОД

Вот еще один кровавый, беспросветный Новый год.
Только раб доволен чем-то, только раб чего-то ждет,
Раб — он рад терпеть и даже улыбаться и шутить.
Может, кто его развяжет? Вдруг захочет отпустить?
Где-то пир, веселье, слава... А тебя иное ждет
В этот темный и кровавый, беспросветный Новый год...
Будешь плакать над могилой, вниз глаза — от веку так —
Потому-то ты, мой милый, и не видишь, кто твой враг!
Братство, равенство, свобода — очень громкие слова!
И все больше год от года ходит кругом голова...
На глазах они повязкой — эти громкие слова.
Но ярмо под свежей краской
Давит шею с прежней лаской,
Ты свободен? Чёрта с два!
Лучше сделай меч из плуга — может быть, тогда придет
С черным ветром, с белой выюгой
Настоящий Новый год!

В ЗАЩИТУ ИГОРЯ ОГУРЦОВА

Много воды утекло с тех пор, как руководитель ВСХСОНа Игорь Огурцов был приговорен Ленинградским городским судом к пятнадцати годам строгого заключения по обвинению в антигосударственном заговоре. За эти годы наше правозащитное движение при поддержке мировой общественности добилось освобождения многих узников совести, невинно осужденных советскими властями на долготлетнее заключение. Назовем хотя бы имена Сильвы Залмансон, Владимира Буковского, Симаса Кудирки и ряда других.

К сожалению, имя Игоря Огурцова осталось в стороне от активного внимания международной общественности. Мало того, слепо доверяя мотивировкам советского правосудия, обвинившего Огурцова в террористических намерениях, некоторые правовые организации в демократическом мире вообще отказывают ему в защите, но в то же время открыто покровительствуют европейским, палестинским и южноамериканским экстремистам.

Не разделяя политической программы Игоря Огурцова, мы, тем не менее, считаем его прежде всего узником совести, кровно озабоченным судьбами своей страны и своего народа.

Мы призываем всех, кому близка и понятна необходимость борьбы за Права и Достоинство Человека на земле, поднять свой голос в защиту одного из самых последовательных ее участников — Игоря Огурцова!

Редакция «КОНТИНЕНТА»

О ПОЛЬЗЕ МОЛЧАНИЯ

Это предчувствовалось. Этому опасались. И всё же казалось невозможным. Не пойдут на это. Не решатся.

Но пошли. Решились. Даже в преддверии Белграда...

Гелия Снегирева арестовали. Больного, сердечника, почти ослепшего.

За что?

Не будем задавать себе этого вопроса. На закрытом суде, если он состоится, о котором пишет в своем предисловии Снегирев, решат за что. И влепят что положено. Или в «психушку» усадят. Или прогонят к чёртовой матери за пределы страны.

Всё это Снегирев предчувствовал, предвидел. И всё же не отступил.

Что ж это за человек такой, естественно возникает вопрос?

Сейчас всё станет ясно.

Мало кто интересуется и читает киевскую газету «Літературна Україна». И напрасно. Иногда всё-таки стоит.

В номере от шестого сентября с. г. в фельетоне под заманчивым заголовком «Альфонс» рассказано много интересного. Имя автора его, Василя Павленко, я, правда, никогда прежде не слышал, но дело он, безусловно, знает.

Он выяснил, например, и убедительнейшим образом доказал, что Снегирев — никакой не писатель, а литературная бездарь, возомнившая себя гением и борцом за правду. Всю жизнь его отовсюду выгоняли, так как работать он не хотел. Вот и стал он альфонсом, меняя жен одну за другой... У одной даже выудил какой-то рассказ про войну и выдал его за

свой. А сейчас в антисоветском, известном, правда, своей непопулярностью, журнале «Континент» написал, орудуя ножницами и клеем, некое исследование о давно всеми забытом процессе украинских буржуазных националистов — «СВУ», пятидесятилетней давности. Вот и все его заслуги... И смеет кто-то говорить еще, что он писатель. Бездарь и альфонс! Правда, сейчас он на пенсии — такие у нас добренькие! — но зачем альфонсу пенсия, непонятно...

Через две недели после появления фельетона — 22-го сентября — Снегирева арестовали.

Что можно к этому добавить? Очень немного. Хочешь, чтоб тебя не трогали, заткни кляпом себе рот, а если так уж необходимо поделиться своими мыслями, есть на то газета «Правда», похвали в ней новую конституцию, есть за что ее хвалить, внеси два-три ценных уточнения, предложения.

Снегирев не смог, отказался идти по этому пути. Претило. Невмоготу стало. Пошел по другому пути. Вот и оказался альфонсом. И за решеткой.

Что впереди? Разве ответишь? Ясно только одно, до ужаса ясно — человеку, который по-настоящему любит свой народ, который не может спокойно и молча смотреть на его жизнь, — нет места в стране строящегося коммунизма. С горестью убеждаешься в этом каждый день.

29. 9. 77

Виктор Некрасов

МАМА МОЯ, МАМА...

Лирико-публицистическое исследование

6. О ПАТРОНАХ ДЛЯ РАССТРЕЛОВ, О ЯДАХ И О ПОКУШЕНИЯХ НА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

А впрочем... Чего поносить журналиста. Ведь он с подонками дело имеет. Имею в виду не подонков из ГПУ и суда-следствия, те — особь статья. Имею в виду Колю Павлушкова и прочее преславное «товариство». Пусть именно они прежде всего поражают Тебя, читатель, в этом детективе. Удивляйся, читатель, их предательству — это они предали неньку-Украину, потомков и предков своих, самих себя. В замечательной своей работе «Історія українського письменства» (это не переводится как «письменности» — тут и письменность, и культура, и литература) С. А. Ефремов писал:

«Пробудить великий народ, не последнюю часть человечества, к сознательной жизни, дух живой вдохнуть в усыпленного историей великана, превратить сырую этнографическую массу в сознательную и своей сознательностью могучую нацию — я не знаю большего намерения в мире, размаха шире для работы, лучшей цели для людей».

Да, такой цели стоит посвящать жизнь. И академик Ефремов посвятил ее — не сомневаюсь, что еще в юности своей дал он себе обет служения родине Украине. И 52 года служил, нигде не сбился с верного пути. Что же случилось с ним на 53-м?

Начало см. в №№ 11 — 13.

В заключительном слове один из главарей-обвиняемых, А. Никовский, дипломат, литератор и бывший петлюровский министр иностранных дел, добровольно попросившийся из изгнания на родину в 1924 году, скажет:

«...для того морального расстрела, который тут делали прокуроры, мы, подсудимые, сами подавали патроны». (Выделено мной. — Г. С.)

Образно, а? И точно. Очень точно! Только — зачем же вы подавали? Никовский же на наш горько-недоуменный вопрос и отвечает:

«Я говорю тут на трибуне по доброй воле. Меня никто не тянул за язык... Пусть знает советская общественность и там, за рубежом, что так каяться нас заставить никто не мог. Мы каялись из искреннего желания убить до конца контрреволюцию».

Предатель вы, Андрей Никовский. Трус и предатель.

Но это — потом. Потом предателями и трусами оказались они все. Раскололись до единого мощные пни, оставшиеся от могучих дубов украинской оппозиции. Но для раскалывания пней тех мощных нужен был колун — топор такой тяжелый на рукояти, который вгоняют в наметившуюся щель. И мощным колуном этим стал хилый мозгляк Павлушков.

Вот фотография. На ней слева (в черном) — моя мама. Это год, по-видимому, 1923. Фотографировал — Николай Павлушков. Мама с подругой (это Гандзя Луговенко) сидят на диване в комнате Павлушкова. Позади на ковре — бандура, Коля убирал свое жилье национальными реликвиями. Он все знал и все умел, старательный Коля, — и фотографировать умел. Когда я представляю себе, что вот тут стоял он и наводил фотоаппарат, — мне чудится, что на маму смотрело дуло винтовки...

Чего только не знал, о чем только не болтал педант-вождь! Вот уж на беду наделил Господь отлич-

ной памятью! Он слышал и знает буквально обо всем. Одного из своих школьных учителей, О. Гермайзе, он прозвал «двуликим Янусом», разляпал об этом следствию; тотчас сделан вывод, что

«Гермайзе вел двойное существование... Овладев марксистской фразеологией, Гермайзе получил от петлюровских организаций задание развращать и сбивать молодежь. И он это делал... Он был одним из руководителей «СУМ». Но из его школы выходили не прикрашенные социал-демократы, а открытые фашисты»*.

Ему, прыщавому Коле, доподлинно известно, что врачи («доктора-бандиты», как клеймит их в «Правде» Д. Заславский), члены медсекции ВУАН, входившей, ясное дело, в СВУ, обсуждали вопрос:

«...как лучше «помогать умирать» всяким выдающимся пациентам из коммунистов — прямо ядом или прививками бактериальных культур?»

* Гермайзе, молодой сравнительно педагог — еврей, кстати — и, по-видимому, педагог блестящий, преподавал в трудшколе № 1 и вел там философский кружок. Членом кружка была и моя мама. Членом кружка была и активная участница ТЕЗа Витя Мазуренко, которая позже, году в 24-м, повесилась — как говорили, влюбившись безответно в Гермайзе. В мамином альбоме (старо-традиционный альбомчик, куда друзья вписывали стишки, пожелания, вкладывали цветочки, рисовали орнаментик) неустоявшимся почерком —

«Наталі від її товаришки Віті Мазуренко.

10/11 922.»

И известные строки Шевченка:

— Чи ми ще зійдемося знову,
Чи вже навіки розійшлись
І слово правди і любові
В степи — вертепи понесли?..

Заканчиваются выписанные в альбомчик стихи очень созвучно нашей теме:

Свою Україну любіть,
Любіть її во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

В останню тяжкую минуту...

Да-да, было и такое. Врачи-отравители 1953 года вон, оказывается, откуда свой род ведут!.. К докторам-бандитам мы еще вернемся, сейчас о Коле. Он везде-везде, он — самый главный! Слушайте:

«Мы вообще высказывали пожелание (выделено мной. — Г. С.), чтобы медики использовали свое положение и незаметно «помогали умирать»... всяким наркомам и прочим...»

Это опять Д. Заславский («Правда», 27 марта), верить ему нельзя. Но вряд ли стал бы он досочинять от себя нелепое «мы высказывали». Оно политическое веса преступникам никак не прибавляет, но оно вполне в духе невылупившегося лидера Коли. Кто — «мы»? Мы — Николай II, мы — мои дядья и я, кто хотите — и Я! Нет, тут Д. Заславский ни при чем, все верно. Вот тот же момент из «Вістей» от 1 марта 1930 года, это показания Павлушкова на предварительном следствии:

«Вспомнилось мне... мы упрекали профессора Федорова в том, что он не «дорезал» Ленина после известного на него покушения, вспомнилось, что во время этого разговора в нашем доме после смерти Ленина мы вообще высказывали пожелание, чтобы медики... незаметно «помогали умирать» всяким выдающимся своим пациентам из коммунистов, всяким наркомам и тому подобное... Возможным оружием в руках врачей считали мы тогда не только отраву, но и бактериальные культуры, которыми действовать можно было менее заметно...»

Мы! Знаменитые деятели, дядья мои — и Я, а мне-то всего 19 лет — каков Я?

Кооператоров (Болозовича и Ботвиновского), как мы уже видели, тоже завалил Павлушков: ему, видите ли, дядя Сережа «назвал тогда имена Ганчеля, Болозовича... которые должны были расшатывать советское хозяйство».

После убийства Петлюры Павлушков дословно вспоминает и красиво цитирует следователю для записи (то ли сам записывает и подает) слова Ефремова:

«За каждый волос его должна погибнуть коммунистическая голова. Страшна должна быть месть нации за убийство своего поводыря... Волной должны прокатиться убийства коммунистических верховодов в Москве и в Харькове...»

Это кто же — по мнению мудрого седого Ефремова — должен свершить эту волну убийств, не «ТИ-рористы» ли из СУМа, батальон в шесть жевжиков?

Убит полпред Войков — Коля тут как тут:

«...поступок Коверды (убийца Войкова, польский студент. — Г. С.) все мы трое — Дурдуковский, Ефремов и я — расценивали как подлинное геройство. Самого Коверду Ефремов ставил в пример для нашей молодежи... хорошо бы, чтоб нашлась какая-то смелая душа и проделала нечто подобное и у нас в Москве».

Тут же выбалтывает племянш о

«пожеланиях и намеках Ефремова насчет желательности убийств всяких там пионеров (звери! — Г. С.), комсомольцев и вообще низовых деятелей... те убийства просто уменьшали бы общую массу коммунистов, пусть хоть и на несколько незначительных единиц».

Память у Коли поистине поразительная. В 1921 году, когда ему было 16, готовился и состоялся неудавшийся рейд на Украину атамана Тютюника, а Коля помнит все, словно вчера это было:

«...налет Тютюника не был неожиданностью в нашем доме... Ефремов, узнав о нем за несколько дней до того, как соответствующее известие появилось в прессе, и, расхаживая нервно по комнате, говорил о том, что тому отряду надо прорваться ближе к Киеву, где навстречу им выйдет Гаевой с Орликом, а со стороны Гуманя, Таращи, Богуслава пойдут местные силы во главе, если не ошибаюсь, с атаманом Цветковским...»

После подобного доноса родного племянша на дя-дюшку естественно сделать резюме:

«Предсудебным следствием установлено, что «БУД» и его руководители, к которым принадлежали С. Ефремов и В. Дурдуков-

ский, поддерживали непосредственную связь с атаманами банд, руководя их деятельностью».

Естественное резюме — или нет? На основании одних только доносов подсудимого же племянника? Не хочу, сами разбирайтесь...

Погорел рейд Тютюника, разгромлены Красной Армией банды. Восстанавливается экономика, меняются настроения крестьян, укрепляется советский аппарат, Красная Армия, органы ГПУ — но битым неймется:

«Группа Ефремова придерживается тактики использования немедленных возможностей для длительной организационной подготовки, чтобы создать новые кадры для восстания... М. Павлушков свидетельствует: «...Стихийного взрыва ждать уже не приходилось... Приходилось специально готовить это восстание собственными силами... В этом втором периоде «СВУ» Ефремов так же точно говорил, как и ранее, что село ко времени выступления выплодит себе новых Зеленых, Струков, Орликов, которые и поведут непосредственно повстанческие отряды. Для членов же «СВУ»... быть словно бы политкомами и организаторами новой национальной власти на селе... Одновременно с началом восстания внутри страны должно было начаться и наступление интервентской армии...»

А вот не кажется ли вам, что слишком уж любит племянничек родного дядюшку? Так и прет на него, так и стремится в гроб вогнать. А разве психологически это не оправдано? По-моему, — вполне. Ведь ученичок, в рот заглядывал, каждое слово ловил; и — нахлебник, за каждый кусок благодарность ощущал. А натура — какая? Для лидерства созданная, будущий вождь. А вожди, тем более несостоявшиеся, — учителям и благодетелям своим мстят...

Вот как раз после этого показания Павлушкова в материалах предварительного следствия помещено то великолепное показание Ефремова, которое выдает с головой всю липу СВУ:

«Мы высказывали мысль, что село еще не совсем лишилось оружия, что его немало должно сохраняться позапрятанного со времен империалистической и гражданской войны и в нужный момент его хватит на вооружение повстанцев».

Я уже комментировал этот перл: десяток ржавых наганов и обрезов убеленный сединами, вполне разумный историк Ефремов собирался противопоставить танкам, орудиям и авиации Красной Армии.

Но еще вернемся к племяннику. В его воспоминаниях и гордых признаниях имеется свой Монблан, выше которого — только небо...

Приезжает на маневры в Киев товарищ Ворошилов. Естественно, руководители СВУ немедленно спускают соответствующие директивы для СУМа, директивы, в основе которых теоретические (увы, только теоретические) размышления о том, что

«если уничтожать кого, то только таких людей, как Сталин, Ворошилов, Буденный».

И Коля в показаниях своих тотчас и охотно подхватывает:

«Встретив однажды в Киеве машину Ворошилова, когда тот приезжал, кажется, туда на маневры, я очень сожалел о том, что не было у меня оружия, иначе я бы непременно учинил бы покушение на того наркома».

А Клим-то Ефремович, донецкий слесарь, и не подозревал, бедняга, что жизнь его висит на волоске. Всего каких-то 3 рубля 70 копеек не хватило кровавым заговорщикам на «монте-крест» — и быть бы нарком-покойничком... Тиро-ристы вшивые...

Вот так перепуганный и злой на дядек, прыщавый и потнорукий мальчик Коля рядил себя в герои. Перед красавицей Люсей, перед несостоявшимся своим войском, перед историей...

Решил войти в историю, а назвали предателем!
А чего я, собственно, так напал на этого Колю?

Ну, раскололи, запутался, наболтал лишнего. А если бы нет — так не было бы процесса, не осудили бы их и не погубили? Точно так же все бы и осталось, никакого нет в том сомнения. И не заслуживает этот Коля столь большого внимания.

Давайте покончим с террором, что ли.

Категорически и безоговорочно о подготовке в рядах СВУ и СУМ террора взял на себя смелость говорить один Павлушков. Документов, подтверждающих теоретическое и практическое приготовление к террору, как мы знаем, нет, только слова. Почему? Пожалуйста, вот почему, предусмотрен следствием такой праздный вопрос, следствие дает объяснение — юридически невесомое, но для простаков вполне убедительное. Коля рассказывает, что однажды вечером вышли они с дядей Сережей в садик и дядя все вилял вокруг да около — вообще-то, мол, террор зло, варварство, и дикость, и пр. А далее,

«Покончив с обычным этим предисловием, Ефремов сказал, что на самом деле организации молодежи следует большое внимание обратить на эту форму работы, поскольку никто, кроме молодежи, не сумеет делать ее, а она несомненно может принести большие результаты. На мое замечание, что, если так, то надо будет добавить сразу соответствующий пункт в наш устав, Ефремов сказал, что как раз этого и не следует делать, т. к. подобные вещи лучше нигде не фиксировать».

И баста. И не зафиксировали. И концы в воду. Но вывод предварительное следствие все равно сделало как если бы существовал подлинный устав с подлинным пунктом о терроре, или как если бы гремели взрывы и валялись трупы:

«Таким образом, данные предсудебного следствия устанавливают, что руководители «СВУ» воспитывали контрреволюционную молодежь в духе безусловной преданности идеям террора и готовности в любой момент применить его против представителей советской власти и коммунистической партии».

Для простаков — убедительно: не фиксировали в целях конспирации, а уж планировали террор — будьте уверены какой!

М. ПАВЛУШКОВ: «По мнению Ефремова, нужно было искоренить и вообще всё, что пахло только реальным коммунизмом, главное — всех объединенных вокруг Коминтерна, не ограничиваясь только «отечественными» большевиками»:

Резюме (первая часть):

«В дикой звериной ненависти к коммунистам С. Ефремов не ограничивался проектом поголовного уничтожения коммунистов в Советском Союзе. Он считал, что интересы буржуазного общества можно обеспечить только уничтожением коммунистов в международном масштабе».

Резюме (вторая часть):

«Сторонник массового террора, внедряемого в период существования «БУД», С. Ефремов, не считаясь с новой тактикой «СВУ» — внедрение индивидуальных террористических актов, — инструктируя молодежь, неоднократно развивает свою старую теорию массового уничтожения коммунистов. Эта теория позволяет не ограничиваться только террористическими актами относительно руководителей советской власти, но и включать в контингент объектов массу партийцев и даже комсомол».

Довольно, не то и простакι верить перестанут.

Сам академик С. А. Ефремов по поводу террора признался в следующем:

«Собственно, к террору, как системе политической борьбы, я постоянно относился отрицательно. К сожалению моему, я не удержался на этой принципиальной позиции и в последние годы в период «СВУ» пошатнулся было, допустив внутренние противоречия, о которых ныне могу только глубоко сожалеть».

Что ж, если призыв «проучить наглых шпииков из студенчества» — это террор, то Сергею Александровичу есть в чем каяться — «пошатнулся, допустив внутренние противоречия». Больше за душой у него ничего нет, не звал он молодежь стрелять и вешать.

А вот признание В. Дурдуковского, добрейшего старого учителя, влюбленного в детей («Простите меня, люди добрые, простите, если сможете!» — помните? — кланялся он, выпущенный на волю, в пояс каждому):

«...В своем безграничном националистическом ослеплении, в своей упрямой фанатичной ненависти к коммунизму и к его лучшим выдающимся деятелям, я иногда, *хорошо это знаю и помню* (выделено мной. — Г. С.), высказывал террористические настроения...»

Хорошо это знаю и помню... Бедный старик!

Из этого всего государственный обвинитель Михайлик сделает в своей громящей речи такой вывод:

«Ефремов и Дурдуковский доказывали смертельную опасность для своего класса стойких руководителей коммунистической партии — у Павлушкова и Матушевского стремление уничтожить Сталина, намерения уничтожить Ворошилова во время пребывания его на маневрах в районе Киевского округа, намерения ликвидировать Скрипника в какой-то его приезд в Киев*... *Не случилось террористического акта не потому, что его не хотели*» (а почему? — выделено мной. — Г. С.).

Для совсем уже полного уяснения вопроса о роли террора в деятельности СВУ дадим слово защите.

Адвокат Ратнер:

«Я думаю, что в деятельности «СВУ» террористическая работа не занимала сколько-нибудь серьезного места. «СУМ» в самом деле имел в виду проводить эту работу. Но нужно напомнить, что

* Н. А. Скрипник — нарком просвещения Украины. ТИрористам не имело смысла изничтожать его. В 1932 году это успешно сделала родная Советская власть. Оголтелого националиста, врага народа Скрипника довели до самоубийства. Он застрелился. После того, так появилась в прессе погромная статья — «Ошибки Миколы Скрипника». И он выстрелил, упал, понял, что только ранил себя (целил в сердце), и произнес:

— Еще одна ошибка Миколы Скрипника.

Эту ошибку не довелось исправлять коллегам шофера Стасика и заработать свои 7 ре за голову — впрочем, за наркомовскую платили, вероятно, всю десятку. Через два дня нарком преставился в больнице.

Павлушков и Матушевский, говоря о терроре, имели в виду свои настроения, переживания. Но от их взглядов, от их настроений до актов террористической деятельности — дистанция огромная. Таким образом, вполне разделяя суть обвинения, которое предъявлял тов. Михайлик к подсудимому Ефремову, я все же считаю, что до осуществления террора было очень далеко».

Адвокат Виленский* (защищает Павлушкова):

«Они желали быть террористами. Но, товарищи судьи, для желания особенного мужества и особенного риска не надо. Мы, старые защитники, знаем, какая пропасть лежит между задуманным и осуществленным... Я прошу, чтобы в высшем приговоре было осуждение Павлушкова только в меру того, что он задумал, но не учинил».

Ты, читатель мой, уже знаешь: ошибаться в пользу подзащитных адвокатам опасно было на том процессе.

Но осталось еще одно страшное обвинение. В самом деле — страшное, если оно хоть на йоту справедливо. Медицинский террор. Прокурор Ахматов с высокой трибуны провозглашает:

«Было очень тяжело спрашивать профессоров, культурных деятелей, известных медиков — считают ли они возможным применить к политическим противникам «медицинский террор»... Цинично говорили они об использовании медицинской науки на уничтожение творцов пролетарской революции. Они любили разглагольствовать о «непонятности» поведения врачей после покушения на Ленина Каплан... Врачи-члены «СВУ» не понимали, как можно лечить больных коммунистов, когда те «погубили неньку-Украину». В своих признаниях на предварительном следствии, когда их не слушали миллионы трудящихся, они также честно признавали, что

* Тот самый, что сказал: «Защита в этом деле оказалась в положении защитников крепости, которая сдалась до первого штурма, выбросив белый флаг до первого грозного залпа из прокурорских батарей». Он вообще красиво погибает: «В своем политическом дальтонизме они (украинские националисты. — Г. С.) не видели иных цветов, кроме желто-голубого» (желтое с голубым — цвета украинского национального флага). Ему же, Марку Виленскому, принадлежит классическая формула об общественной совести советского защитника — о ней попозже.

не возражали против такого метода борьбы... никто не возражал, никто не хотел понять, что подобная принципиальная установка — неслыхана в истории человечества».

Страшненько, правда? Вот еще из Д. Заславского в «Правде»: название статьи — «Доктора — бандиты»:

«На войне — как на войне», — говорили они... Доктор Подгаецкий обмолвился правдивым словом...: в гражданской войне буржуазный врач не считает себя связанным международными правилами. Ненависть к пролетариату захлестывает всякие правила «врачебной этики»... Этой своей террористической свирепостью медицинская группа выделялась среди других групп «СВУ».

Да, жутко. Давайте копать.

Начнем с того, что ни одной жертвы медицинского террора нет — не зафиксировано. Скрытно действовали? А вовсе не действовали, даже спровоцировать чью-то смерть или выдать чью-то гибель за медицинское убийство «докторов-бандитов» не удалось, в материалах следствия и суда упоминаний о подобном прецеденте нет. А сделать это — выдать чью-то смерть в больнице за гибель от руки врача — согласитесь, совсем не трудно, было бы желание, зацепка всегда найдется, разве уж вовсе не умирали пациенты у наших врачей-подсудимых. Видно, не искали следовательно, поленились, и ведь трупик — мы уж говорили о том, — во как нужны бы! Не постарались следовательно, не потрудились. А на что им? И без трупиков сошло. Тогда сошло. А сойдет ли в отчетности перед будущим, сойдет ли для того будущего процесса СВУ, который человечество рано или поздно — но обязательно потребует провести — о том следовательно не думали, не заботились. И зря. Но к этому еще мы вернемся.

Итак — жертв нет. А что же есть?

Есть — опять же — воспоминание прыщавого мальчика — «вспомнилось мне — не только отраву,

но и бактериальные культуры», с него началось. Дальше подключили второго героя, прекрасного учителя Дурдуковского, влюбленного в человечество Нестора-летописца, загипнотизированного следователем Бруком:

«На одном заседании медсекции ВУАН обсуждался вопрос, как сознательные врачи-украинцы должны относиться к больным большевикам, должны ли их лечить или должны, расценивая борьбу с большевиками как боевой фронт, а себя как бойцов на этом фронте, не лечить, а уничтожать большевиков, своих национально-политических врагов. *Кажется*, никакого постановления по поводу этого вопроса не было сделано, но *говорят* (выделено оба разамной. — Г. С.), будто были такие врачи, которые высказывались за то, чтобы украинцы-врачи, как солдаты на войне, уничтожали своих врагов».

Как вам нравятся эти «кажется» и «но говорят»? Несчастный старик, простите меня, люди добрые...

Дальше. Допрашивают Удовенка, врача, члена медсекции ВУАН. Он

«припоминает только один случай, когда в кругах медсекции говорили о том, что в известный момент политической борьбы можно не обращать внимания на врачебную этику по отношению к политическим противникам. Против такой постановки дела никто не возражал».

Что ж, могли врачи в своем кругу побеседовать в историческом аспекте о медицинском терроре и врачебной этике, в самой теме и факте подобной беседы преступления нет. Государственному обвинителю Михайлику этого, естественно, мало. Он начинает давить Удовенка:

«Тов. МИХАЙЛИК: — Вы твердо знали, что по предложению Черняховского ваша нелегальная организация (медсекция ВУАН. — Г. С.) вступает в другую организацию — «СВУ»?»

УДОВЕНКО: — Колеблется, но в конце концов (выделено мной — помните? — Г. С.) тихо говорит: «...да, в «СВУ»*.

Тов. МИХАЙЛИК: — Так что независимо от того, отравили вы какого-то коммуниста или нет, но принципиально постановление вашей медицинской секции было такое, что надо отбрасывать всякую врачебную этику относительно коммунистов. Как член «СВУ» вы отвечаете за это постановление? (Уже непрерываемо — член СВУ. — Г. С.).

УДОВЕНКО: — Отвечаю. Но об уничтожении коммунистов, мол, ничего не говорилось.

Но из признаний Дурдуковского на предварительном следствии выясняется, что медсекция ВУАН шла дальше, она обсуждала дело о том, что большевиков надо не только не лечить, а уничтожать как своих врагов. На вопрос тов. Волкова Павлушков подтверждает, что на заседании медицинской секции говорили, что, врачую коммунистов, можно, употребляя разные химикалии, во время операции уничтожать больных».

Вернулось на круги своя — к Павлушкову. Да он-то как попал на заседание медсекции ВУАН?

Еще один допрашиваемый — профессор Пидгаецкий: стал профессором при советской власти, соввласть создала ему условия, командировала его в Италию и Германию; на вопрос — «какое задание ставила перед собой «СВУ»?» — ответил: «Свержение Советской власти, реставрацию капитализма. У меня создалось такое впечатление, что «СВУ», собственно говоря, была маленьким добавлением к работе генеральных штабов соседних стран».

«Тов. МИХАЙЛИК: — Как вы оценивали роль врачей на селе во время восстания, о котором мечтала «СВУ»?

ПИДГАЕЦКИЙ говорит, что их роль можно определить формулой: «на войне, как на войне»...

* На предварительном следствии Удовенко объяснял: «...Черняховский рассказал, что в других вузах украинские силы объединились для общей акции на пользу национального дела, и предложил связаться с этими объединениями — никто и не возражал. Таким образом, медицинская секция, которая и до того проводила контрреволюционную работу, фактически присоединилась к «СВУ».

Вот так: фактически присоединилась — и понимай, как знаешь.

Тов. МИХАЙЛИК: — Скажите суду, как вы во время своих признаний формулировали вашу деятельность в «СВУ» в целом?

ПИДГАЕЦКИЙ: — Я тогда признавал себя виновным приблизительно в 20 методах и способах контрреволюционной борьбы...

Как жаль, что не потребовал прокурор уточнения — что же это за методы. 20 методов — поделился бы опытом!

Спрашивает председатель суда Приходько:

— Как вы считаете — как должно отнестись советское общество к «СВУ», в частности, к вашей деятельности как контрреволюционера?

ПИДГАЕЦКИЙ: — С наибольшим отвращением, с наибольшим возмущением и с требованием суровой кары.

Этот проф. Пидгаецкий, признавший себя виновным в 20 методах и способах контрреволюционной борьбы, настолько был уверен, что все эти допросы и признания — милая игра в кошки-мышки, что на последнее заседание суда, где оглашался приговор, захватил с собой из камеры зубную щетку и чистый носовой платок (все свои вещички), будучи уверенным, что тут же в зале суда будет выпущен на свободу и поедет ночевать к харьковским своим друзьям; когда услышал профессор, что ему впаляли 8 плюс 3 — шлепнулся в обморок.

С Пидгаецким разговора о терроре нет.

Но вот — Барбар*. Руководитель секции ВУАН,

* Аркадий Алексеевич Барбар, великолепный врач, был большой весельчак, остро слов, компанейский парень, певец. У него оказался отличный баритон. Григорий Холодный пел тенором, вторым тенором, у слепого полтавчанина Товкача (защита, оправдывая поступки Товкача, назвала его «в квадрате слепцом — физическим и политическим») в тюрьме прорезался высокий тенор, и Чеховский Микола имел голос. И в общей камере после суда организовался квартет украинской профессуры — заслушаешься! А песни-то, песни какие! Все больше про волюшку да про неволюшку — их на неньке-Украине еще со времен татарвы слепые кобзари наслагали на много поколений вперед.

старый опытный врач, ассистент знаменитого Стражеско. Лечил многих руководителей партии и соввласти на Украине — был личным врачом П. П. Любченка, это ему Любченко шепнул однажды, войдя в камеру:

— Расстрелов не будет, передайте всем.

Задумайся, читатель: что в этом — акт милосердия, поддержка обвиняемых, которых, Любченко-то знал, обвинять не в чем? или подлый призыв — «кайтесь, кайтесь, кайтесь! я обещаю — расстрелов не будет — но для этого кайтесь!»? Что?

Во время гетманщины Барбар был «директором медицинского департамента» — министром здравоохранения. Во время деникинщины был председателем Красного Креста. До того, до революции, его за революционную деятельность судил царский суд, о чем записано даже, как указывает защитник Ривлин, в сборнике «История революции на Украине». Да, говорит Ривлин, при поляках был комиссаром госпиталя, подсудимый не отрицает этого,

«Но к чести его надо отметить, что именно благодаря Барбару и другим товарищам 3000 раненых красноармейцев, которые остались в Киеве после отступления красного войска, были признаны штатскими больными и благодаря этому никто из них не пострадал. Об этом защита подала соответствующие материалы суду».

Канули материалы, нигде их ни разу более не вспомнили, вкатили врачу Барбару Аркадию Алексеевичу, спасшему 3000 красноармейцев, судимому царским судом, — 8 плюс 3. Но речь о другом. При допросе Барбара с трибуны на весь зал произносится следующее (по газете «Вісті»):

«Члены медицинской группы «СВУ», обсуждая вопросы о том, как относиться к больным коммунистам, считали нужным, вместо лечения, губить их. Вот слова Барбара на предварительном следствии, от которых он не отказывается и теперь: «большевики жалости не вызывают и врачебной помощи не заслуживают»...

Ослепление и даже моральное дикарство царило в «СВУ»...».

Добавлено, впрочем, в газетном отчете:

«...относительно же медицинского террора подсудимый отвечает, что он его не осуществлял, а лечил и вылечил нескольких коммунистов».

Словом, читатель, о медицинском терроре я выискивал в газетах и привел здесь всё. Во всяком случае всё, доказывающее наличие террора. Суди сам, реален ли этот ужас. Добавлю еще высказывание адвоката Ривлина:

«К счастью, о медтерроре была только болтовня. Я смею уверять, что от этих слов до дела была дистанция огромная».

А принял весь разговор о терроре (не только медицинском) такой крупный размах опять же из-за прыщавого вождя. На предварительном следствии и позже при допросе он очень здорово ответил на иезуитский вопрос граждан начальников (цитирую по «Правде» от 18 марта):

«На вопрос прокурора, какое впечатление произвела на Ефремова смерть Ленина, Павлушков совершенно спокойно, как будто он говорит об обыкновенной вещи, отвечает: — Чувствовалось, что он принял это известие, как можно принять известие о смерти великого человека...»

И заткнись, Коля, помолчи, ты хорошо ответил! Нет, несет навеки перепуганного до самой прямой кишки героя!

«...в то же время он сказал, что большого политического значения эта смерть иметь не может. Тут же была выражена мысль: жаль, мол, что в свое время Каплан не докончила свое дело или что ей не помогли докончить его врачи, лечившие Ленина».

Вот так. Страшно? Такое — о Ленине! Но вчитайся, вдумайся — и Ты, читатель, поймешь, что Ефремов высказал совершенно правильную и ничуть не

жестокою мысль. Только во второй половине мысль эту газетчики и следствие совсем незаметно подредактировали. В самом деле: Ленин более года перед смертью был тяжело болен (парализован и почти нем) и фактически у государственного руля не стоял. Тогда не умели еще скрытничать, не прятали от народа болезни или смерть вождей, как научились позже, когда палач Сталин со второго марта лежал трупом, а народу сообщалось, будто он болен и умер только 5-го, пока Маленков, Хрущев, Берия делили власть. Еще в том же 1930-м И. Ходоровский публиковал в «Известиях» воспоминания, в которых писал:

«4-го декабря 1922 г. я получил от Владимира Ильича следующее письмо... (цитирует о шефстве ячеек городских над сельскими. — Г. С.). Через 7-10 дней после вышеопубликованного письма на Владимира Ильича обрушился новый тяжелый удар, от которого Ильич так и не оправился...»

Впрочем, возможно, насчет политического значения смерти вождя Ефремов и ошибался: мыслил он так, исходя из ему известных исторических параллелей. И дальше он продолжал развивать свою мысль так: «вот если бы в свое время Каплан dokonчила свое дело или врачи, лечившие Ленина, не сумели бы вернуть его к жизни, — вот тогда его смерть от руки убийцы, империалистического наемника, была бы бомбой». Цинично? Ничуть, вполне здравые рассуждения человека, разбирающегося в истории и политике, можно с ними не соглашаться, но никакой жестокости в них нет. Кто-то из тертых, с наметанным глазом следователей жестокость, цинизм и моральное дикарство здесь увидел, выпятил, раздул, — и пошел полыхать жуткий пожар террора по страницам процесса. Пожар тот дал право прокурорам трезвонить в набат:

«И когда взвешиваешь всю тяжесть преступлений, содеянных подсудимыми, когда всматриваешься в кровавое контрреволюционное прошлое подсудимых Ефремова, Чеховского, Никовского,

Дурдуковского и Ганцова, когда еще раз анализируешь ужасные планы, исполнителем которых должен был стать Павлушков, то становится ясно, что против этих людей есть единственная мера социальной защиты — расстрел».

(Из речи государственного обвинителя Михайлика).

Что ж, хватит о терроре. Впрочем — стоп, список не полон. Один террористический акт все-таки в наличии имеется. Панас Любченко, заканчивая раздел о терроре в своей блистательной, много раз нами уже перечитанной и по кускам на цитаты растасканной речи восклицает:

«Взбесившийся профессор института народного образования Холодный* на протяжении ночи из спринцовки чернилами запрыскивал памятник вождю пролетарской революции — Ленину».

Чего-чего? Из спринцовки? Зачем — из спринцовки? Что за нелепые шуточки? Это — «Вісті», а вот — «Правда»:

«На собраниях учительской организации не только произносились антисоветские речи, а происходили и выпивки. «Колбаса и чарка» входили неременной принадлежностью в реализацию романтической козацкой старины. Неизвестно, в пьяном или трезвом виде педагог Холодный, которому предстоит еще рассказать о своих подвигах на суде, в Чернигове обрызгал чернилами памятник Ленину. Он сам хвастал об этом в разговоре с Залесским». *(Попутно: Залесский разболтал об этом следствию, дал в руки следствия блестящий факт террористического акта, но все равно свои 5 плюс 2 схлопотал.)*

И после «Правды» ничего не понять. В самом деле — по пьянке, что ли? Так говорят, будто Григорий Холодный в рот спиртного не брал. Ну-ка, поищем еще. Вот из речи прокурора Якимишина**:

* Тот самый Григорий Григорьевич Холодный, который при первом опросе подсудимых единственный из 45 крикнул: «Обвинения не признаю! Дам объяснения!» — и умолк, и не дал объяснений, и признал себя виновным, и был закатан и расстрелян.

** Не значится прокурор в числе народонаселения Советского Союза с 1935 года.

«Относительно характеристики Холодного, товарищи судьи, то достаточно яркое позорное событие с деятельностью Холодного в Чернигове. Холодный, который считает себя культурным человеком, опустился до позорного поступка, залил ночью красными чернилами памятник Ленину. Чем, как не дикой звериной ненавистью к вождю пролетарской революции, можно объяснить этот поступок взбесившегося подголоска буржуазии?.. В одном этом поступке отражена вся контрреволюционная суть Холодного. Он органически не принимал социалистической революции. Он все время мечтал о гибели диктатуры пролетариата, о возвращении капиталистического строя. Не только мечтал, но и действовал (выделено мной. — Г. С.)».

А в чем же — действие? Как же, памятник и чернила... Нет, все-таки непонятно. Зачем, во имя чего? Защитник Обуховский:

«Политическое хулиганство Холодного (он облил красными чернилами памятник Ленину) защитник остро осуждает, но объясняет его тем, что в это время Холодный пребывал в состоянии, близком к аффекту».

Понятно. Надрался парень. В рот не брал — а по какому-то поводу взял, окосел, полез к Ильичу целоваться, в портфеле случайно оказалась бутылка красных чернил, и он, приговаривая: «Ильиченька, ты же наш красный вождь, вот я тебя сейчас крас-нень-ким...» — стал его поливать. Погодите, но там где-то еще спринцовка фигурировала — она-то как в портфель попала? Стало быть — заранее готовился?

Из допроса Холодного:

«...свой инцидент с бюстом тов. Ленина, который он обрызгал чернилами, он считает «гайдамацким поступком», сделанным в состоянии аффекта, и потому сурово осуждает его».

Бедный Ильич, ни за что пострадал...

Только чего об этом так много разглагольствовать, точно о чем-то и в самом деле серьезном и кошмарном? Прокуроры все подряд, защита, допрос о том же — неужто важнее ничего нет? Да в том-то

и дело: нет. Этот памятник, обрызганный красными чернилами, — единственный террористический акт. Одно из сделанных дел. То все — треп, словеса, а это — факт. Нелепый — но факт. Как он его — ночью, из спринцовки, красными чернилами, — сам, небось, перемазался по уши...

Вот и все о самом страшном на процессе СВУ — о терроре и «тирористах».

И о прыщавом трусе-герое, вошедшем в историю провокаторе Коле Павлушкове — тоже все.

И о СУМе, им руководимом, пожалуй, предостаточно. Разве вот еще к СУМу.

Кроме СУМа, еще были кружки — «подготовительные к организации», как показывает Ефремов: кружок Гермайзе для изучения философии и украинской истории, кружок Чехивского (из бывших учеников школы № 1, товарищей рано умершей дочери Чехивского), еще два кружка — «сведений о них нет никаких», так записано в материалах предварительного следствия.

Есть у меня сведения об одном из них. Создала его моя мама и назывался он «Газаматор». Мама в школе была заводилой — аккомпанировала хору, играла Грига на концертах и Бетховена, писала пьески-сказки для школьных спектаклей, стихи писала — с ней тянулись дружить, за ней ухаживали парни. Ядром их компании были Павлушков, Матушевский, Гандзя Луговенко, Витя Мазуренко, Димнич Василь. И как-то они собрались, читали стихи, пели, болтали обо всем на свете сразу, как это умеет юность — кажется, в тот день как раз и сфотографировал Павлушков двух подружек — Гандзю и Наталку. И мама воскликнула:

— Слушайте, а как это так, что наш тесный гурт не имеет своего имени? Ну-ка, сейчас мы это исправим!

И тут же схватила словарь иностранных слов, зажмурилась, раскрыла, ткнула пальцем — и попала

в слово «газомотор». Неуклюжее слово, но — судьба есть судьба. Тут же сообща придумали и расшифровку своего нового имени, пришлось только «о» заменить на «а»: «Готуємо Артистів Залізної Армії Майбутніх Атлантид Тобі, О Робітництво!» (Готовим артистов будущих Атлантид тебе, о рабочий класс!). И они долго еще сходились под знамена своего «Газаматора» — шумели, спорили, пели, читали стихи, аж пока мама 7 марта 1924 года не уехала в Харьков*.

Как же, Коля, позабыл ты об этом «подготовительном к организации» кружке? Подвела память? В дневничок не вписал веселого «Газаматора»? Эх ты, растяпа.

7. А СМЕХУ-ТО, СМЕХУ!

Итак, в общем — все понятно. Финита ля комедия — вернее, финита опера СВУ. Можно закругляться. Разве кой-какие штрихи.

Как относился к процессу СВУ народ? А в общем — безразлично. Пожалуй, наиболее полно и точно выразила это старая мамина подруга Анастасия Максимовна Нежинец**. Филолог, доктор наук — специалист по украинской литературе XIX столетия. Ныне на пенсии, дважды бабушка. Отец ее сел в 37-м абсолютно неповинный, получил расстрел, чудом она его спасла. Я спросил у Анастасии Максимовны: как она считает, могла мама написать в комсомол то письмо, ставшее доносом?

* Дату эту — 7 марта 1924 года, день отъезда мамы из Киева, навсегда в Харьков — не я запомнил и не я в записях маминых отыскал. Помнит ее Борис Федорович Матушевский. Очень дружны были они с мамой, с большой грустью он ее в тот день 7 марта провожал...

** А. М. Нежинец я называю, не боюсь выдать ее, потому что выдавать нечего, ее показания могут быть занесены ей только в плюсовое сальдо.

— Не знаю, — сказала она, — я привыкла говорить о том, что мне известно, а о письме таком не слышала ничего. Ни от Натальи, ни от Ивана (мой отец. — Г. С.). Связана она с ними была, рассказывала мне, это помню, переписка у нее была с кем-то из них, не соглашалась она, критиковала их взгляды (дружба Анастасии Максимовны с отцом и матерью — это уже харьковский период, начиная где-то с 1926 года. — Г. С.). Потом она отошла, вышла из организации. Писала ли какое-то заявление о выходе, писала ли в комсомол — не знаю... Но ты напрасно придаешь этому такое большое значение. Мы все, молодежь украинская, воспринимали этот суд как вполне закономерное и нормальное явление: недобитки петлюровские, бывшие министры-националисты, руководители церкви. Удивлялись только, как это они до сих пор преподавали, учили молодежь, науку вершили. Мы считали их врагами. Не задумывались мы, хотели они там вооруженного восстания, не воспринимали всерьез того, что говорилось о терроре, о восстановлении власти помещиков и буржуев, а что буржуазный историк Ефремов — националист, в это мы верили. Да и сейчас я так считаю, так оно и есть. Ну, а какие-то там ошибки в обвинении могли, конечно, быть — так их же и приговорили не к расстрелу. И не забывай того времени, помнишь стихи? — «Нам голубеют берега коммуны золотой!», жив был для всех нас лозунг — «Даешь всемирную революцию!», мы были захвачены грандиозным размахом новой жизни, и мама твоя была захвачена, подумает, каких-то там полсотни недобитков-националистов судят! Нет, мы верили, не сомневались ничуть в закономерности процесса. И Наталья верила. Она была на процессе, я точно помню, хорошо помню — советовалась со мной, что ей надеть, какое платье, хоть какой у нас тогда был гардероб, разве кто о платьях заботился, совсем другие были запросы и стремления — нацелен-

ность на мировую революцию! И никакой, уверяю тебя, трагедии во всем этом Наталья не видела.

То же самое говорят и другие друзья мамы и отца: верили, были захвачены грандиозностью размаха.

О каких реакциях народа писали газеты в дни процесса? Ну, это не трудно угадать...

«Известия», 23 апреля 1930 года:

РАБОЧИЕ УКРАИНЫ ПРИВЕТСТВУЮТ РЕШЕНИЕ СУДА ПО ДЕЛУ «СВУ»

«...вчера и сегодня в Киеве состоялись собрания рабочих на ряде предприятий... На собраниях рабочие возбуждали ходатайства о награждении работников ГПУ, раскрывших контрреволюционные действия «СВУ», орденом Красного Знамени».

Как наградили работников ГПУ — мы уже знаем...

«Правда», 25 марта.

ОТВЕТ ПРЕДАТЕЛЯМ (письмо в редакцию)

«Протестуя против контрреволюционного заговора «СВУ», отдаю одно свое изобретение на усиление фонда индустрии нашей страны и одно — на оборону страны Осоавиахиму, как применяемое в военной медицине. Моему примеру призываю следовать других товарищей изобретателей.

Врач Мартов».

«Вісті» 9 апреля помещают целых три отклика:

В ОТВЕТ НА ВРЕДИТЕЛЬСТВО РАБОТАТЬ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

«Сегодня 16 профессоров Киевского Института Наробраза, откуда было немало членов «СВУ», объявили себя ударниками по подготовке кадров красных педагогов».

ВРЕДИТЕЛЕЙ ВЫШВЫРНУТЬ ИЗ РЯДОВ ЧЕСТНЫХ ТРУДЯЩИХСЯ

«Собрание профессоров и преподавателей Киевского медицинского института в своей резолюции решительно отмежевывается от контрреволюционной кучки в «СВУ»... Собрание считает нужным провести самоочистку своих рядов от вредителей... Резолюцию подписали 99 профессоров, аспирантов, преподавателей, среди которых такие известные профессора, как Стражеско, Губергриц, Гакебуш, Крылов, Нещадименко».

«УТОДИК» ИЗГОНЯЕТ ИЗ СВОИХ РЯДОВ УЧАСТНИКОВ «СВУ»

«Правление «Утодик» (товарищество драматургов, композиторов и сценаристов) исключило из рядов своих членов активных участников «СВУ», среди них Старицкую-Черняховскую».

А вот еще из «Правды» (23 марта) — любопытный отклик на процесс, хотя упоминаний об «СВУ» в нем и нет. В «Вістях» — смотри выше — резолюцию подписали известные профессора Стражеско, Губергриц, Гакебуш, Крылов, Нещадищенко. Это в самом деле выдающиеся ученые, крупные медики с мировыми именами. Зачем же они подписывали? Зачем подписывал профессор М. Д. Стражеско, у которого доктор-бандит Барбар был любимым ассистентом? А вот слушайте — «Правда», 23 марта, из рубрики «Со всех концов Советского Союза».

«Виднейший украинский ученый-физиолог... (перечислены должности и звания. — Г. С.)... академик Паллади подал в бюро партячейки Харьковского медицинского института заявление с просьбой принять его в ряды ленинской партии. На бюро ячейки академик Паллади принят в кандидаты КП(б)У».

Ведь это — то же самое подписание резолюции. Дорога ложка к обеду, в самый разгар процесса СВУ, по которому проходит немало коллег и товарищей Александра Владимировича Палладина, подал он заявление в КП(б)У!

Очень отчетливо представляю себе состояние академика А. В. Палладина, выдающегося ученого. Был он тогда в расцвете сил, 45-летний академик, ученик и последователь И. П. Павлова, директор только что основанного по его же инициативе Украинского института биохимии...

И входит в кабинет директора-академика некто непроницаемый. И говорит:

— Уважаемый Александр Владимирович, вы были, кажется, вчера в оперном театре?

— Был, — морщится хозяин кабинета.

— Какие кровавые негодяи!

Молчание. Молчит Александр Владимирович; сам коренной интеллигент, сын академика В. И. Палладина, испытывает он отвращение к грязной травле неоправданных собратьев своих.

— Все сотрудники нашего института письменно высказались в плане осуждения националистических запруденцев, — бесцветно цедит непроницаемый.

Молчит академик.

— Хорошо бы и вам, Александр Владимирович...

Наклоняется через стол непроницаемый, нажимисто обрубывает слова:

— Есть такое мнение, Александр Васильевич. Ваше слово — много значит. В этой ситуации, когда кое-кто сомневается, и за границей орут и клеветают... Понимаете?

Молчит академик. Кипит гневом, про себя наворачивает вовсе неинтеллигентные матюки. Но — молчит.

А непроницаемый опять клеит:

— Мы с вами не так давно говорили о вашем вступлении в партию большевиков. Почему бы вам сейчас не подать заявление?

Устремляет академик на негодяя взор, полный ненависти и бессилия. И молчит.

— Пора, дорогой Александр Владимирович, давно пора. И моментец сейчас очень подходящий.

— Потом, — выдавливает из себя Палладии, директор только что с трудом созданного института. — Успеется.

— Теперь. Теперь надо, — нажимает негодяй. — Иначе... Иначе могут нас с вами не так понять.

Молчание.

— Так как же, Александр Владимирович? Вот и бумага чистенькая, и ручка — перышко золотое... Пишите: «В бюро партиячейки...»

— Дома напишу, — бормочет академик.

— И завтра принесете? Я завтра же утречком и забегу!.. До свиданья, дорогой Александр Владимирович.

Мерзко академику, сыну академика. Гнусно. Гадко. Но что делать? Ах, чёрт с ними, со сволочами! Чтобы только существовал институт. Чтобы не мешали работать. Чтобы двигать науку. А им... тем несчастным, которые сами к тому же себя топят... чем я им помогу? Чем? Прости меня, Господи...

И академик Палладии придвигает бумагу, пишет: «В бюро партячейки...»

И живет он до 80-ти лет. И вручает ему Р-родина и Советское Правительство четыре ордена Ленина и присваивает звание Героя Социалистического Труда...

А не напиши он тогда заявления в бюро партячейки? Ась?

Вот так они, выдающиеся ученые с мировыми именами, и подписывали и предавали. И покупали тем самым благополучие свое и своей любимой науки для любимого же народа.

А друг отца и мамы М. В. (пенсионер, бывший директор техникума, дважды дед и садовод) рассказал смешное.

— Твоя мать — кристально честный человек, — начал он, — можешь быть уверен. И вообще — зачем оно тебе? Кто что может поставить тебе в вину?.. А, ты не о том — ну, как знаешь. И все равно — брось это, ни к чему оно тебе. Я всегда придерживался взгляда: делаю — что положено, не в свое не лезу. И от учителей своих всегда в коллективе требовал: служишь — давай служи честно тому, кто тебе деньги платит и жить дает, не согласен, не хочешь служить — не мели языком, а ступай вон... А насчет процесса — я его в деталях не помню, а задумывались мы тогда об этом мало. Это ж там Панас Любченко их громил, да? А интересно потом с Панасом получилось. Я учил-

ся с его женой одновременно в ИНО, она на курс старше была — красивая баба, из культурной семьи, знакомы были с ней, понимаешь, по институту. И вот в 37-м он бац — пулю себе и, говорили тогда, ей тоже. И — враг народа. И был у меня помхоз на рабфаке, еврей плюгавый, понимаешь. И вдруг вызывают меня, — а кругом аресты, как раз только-только, буквально вчера объявили Любченка врагом народа, — и сидит вот так наш парторг, с ним еще кто-то чужой, а вон там стоит, понимаешь, этот еврейчик, помхоз. И сообщают мне — на него, на еврейчика показывают, — что я учился вместе с женой Любченка, дружил с ней и у них дома бывал. И вот — сам удивляюсь, как меня осенило, меня же всегда все тугодумом считали, тютей. Глянул я на него, на жидка этого, и как осенило меня. Совершенно, понимаешь, спокойно говорю: «Учился в одно время, верно, но даже официально знаком не был, так — здоровался, а Любченка в глаза никогда не видал и видать не желаю. А вот что ты, — на помхоза пальцем, — на Первомайском параде нес портрет Любченка и «ура» ему орал — это я сам видел и слышал и весь наш дружный коллектив подтвердит!» Отак, понимаешь. Через два дня исчез жидок — только его и видели!..

Смешно, правда? На процессе СВУ в зале Харьковской оперы тоже было немало смешного. Смеялся весь зал и сам Ефремов, когда огласили текст из львовской газеты «Дело» о гордых словах Ефремова — «Хотим независимой Украины!» Смеялись, когда Холодный объяснял свое непочтительное, с красными чернилами, «покушение» на Ильича.

Смеялись, когда Панас Любченко «врезал» двуликому Янусу — Гермайзе:

«Тов. ЛЮБЧЕНКО: — Правильно ли я вас понял: вы причисляли себя к левому флангу «СВУ», который собирался реставрировать капитализм?

ГЕРМАЙЗЕ: — Правая, левая где сторона — тут не разберешь».

Ха-ха-ха! — прокатилось по залу. Сам Гермайзе тоже смеялся. Он, Гермайзе, и еще раз посмешил зрителей в опере, — пардон, слушателей, оперу слушают, — когда заявил, что вообще-то к СВУ он отношения не имел, «впрочем, считает себя контрреволюционером, т. к. иногда... во время прогулок и экскурсий со студентами позволял себе критиковать мероприятия соввласти».

Подобными заявлениями насмешили зал многие подсудимые, например:

В. ДУБРОВСКИЙ, редактор Института украинского научного языка; он признает, что с осени 1927 года был членом контрреволюционной организации «ИНАРАК», и добавляет:

«Я знал от Дурдуковского о существовании более широкой контрреволюционной организации украинской интеллигенции и *могу полагать* (выделено здесь и далее мной. — Г. С.), что эта группа считала группу «ИНАРАК» своим филиалом. *Я считаю себя и членом «СВУ»...* Дубровский называет себя фашистом».

П. А. ЕФРЕМОВ — брат С. А. Ефремова, днепропетровский профессор — так сказал: «На вопрос защитника Вознесенского Ефремов ответил, что он «активным политическим деятелем не был, а свою деятельность расценивает как преступную, контрреволюционную».

Посмешил людей **В. ДУРДУКОВСКИЙ**, когда член суда, профессор Соколянский, заявил, что в книжке «Из практики трудшколы», которую подсудимый редактировал в 1923 году, ни на единой странице нет слов «советский», «социализм», «коммунизм», «диктатура пролетариата», «класс» и т. п.

— Считаете ли вы, что это было педагогическое вредительство? — спросил профессор Соколянский.

— Конечно, это было вредительство, — ответил старый учитель к вящему веселию зала*.

Смеялись и когда слушали о вредительстве группы «ИНАРАК», которая вредила в деле составления украинских словарей, «отдаляя украинский язык от пролетарских масс, выбрасывая интернациональные слова и превращая украинские словари в орудие шовинистического воспитания масс».

А кстати, что это за «ИНАРАК»? А это тоже веселая история. Это в Институте украинского научного языка Академии под руководством знакомого нашего Г. Г. Холодного, который прежде в Чернигове полез к бюсту Ленина с чернилами, шутники-сотрудники для собственного развлечения придумали кружок, назвали его странным словом из модного в то время романа Винниченка «Солнечная машина» (что-то вроде «Газаматора» с участием моей мамы), придумали себе, чудачки этикие, смешные клички и развлекались. «ИНАРАКА» Коля Павлушков не забыл. И кончились шуточки вот чем.

«Правда», 5 апреля, Д. Заславский.

«Конечной целью «ИНАРАКА», как заявляют обвиняемые, была подготовка к тому, чтобы «на случай создания УНР занять соответствующие ответственные должности в государственном аппарате»... «Инараковцы ставили также на повестку дня своих

* Трагическая фигура процесса — В. Ф. Дурдуковский, пожалуй, — наиболее трагическая. С его этим «простите меня, люди добрые, простите, если сможете», которое все звучит у меня в ушах, загипнотизированный Бруком, растоптанный, кающийся, стремящийся спасти — и предающий. А наиболее человеческую характеристику дает ему защитник его Пухтинский, один из старейших и умнейших киевских адвокатов (Пухтинскому повезло, дали умереть своей смертью, дети только сидели): «Дурдуковский, как и всякий учитель, немножко человек в футляре, человек мягкой воли... превратился не в педагога-общественника, а в педагога-наседку». Каково-то этой наседке, квохтавшей над своими цыплятами-школяриками, считать, что он, их педагог, погубил их!

заседаний вопросы о восстании и об индивидуальном терроре... Для лучшей конспирации все участники «ИНАРАКА» имели псевдонимы. Так, Кривенюка звали «Бородачом»*, Холодного — «Горячим», Шарко звали «Сирко» и т. д.... А когда надо было поехать по деловым вопросам в Наркомпрос в Харьков, то никто не захотел ехать, чтобы «не встречаться с представителями советской власти»**.

Вот так обернулись шуточки!

Погоди, читатель, может, — не убеждает Тебя выдержка из Заславского? Кажется Тебе, будто и в самом деле «ИНАРАК» — террористическая конспиративная шайка? Вот перечитываю и вдруг засомневался: может, и по поводу других моих доводов остались у Тебя сомнения, не убедительны для Тебя мои доводы? Перебрал по памяти основные моменты: террор докторов-убийц, «Ирористы» Павлушков и Матушевский, позапрятанное оружие для восставших, полулегальный детский «ТЕЗ», история В. М. Ганцова, отсутствие документальных доказательств у обвинения, жалкая беспомощность подтасовщиков-журналистов... Нет, не должно появиться сомнений. Но об «ИНАРАКЕ» вот еще на всякий случай, читай:

«КРИВЕНЮК («Бородач», редактор Института украинского научного языка. — Г. С.) рассказал, что в конце 26 года в институте ...группа штатных работников института, так называемый актив, объединились для того, чтобы «бороться с анархией в институте». Когда вышла книжка Винниченка «Солнечная машина», этот институтский актив дал своему объединению название «ИНА-

* Посмеялись в зале и когда узнали, что Михаил Васильевич Кривенюк (и в самом деле «Бородач», бородаща от бровей до пояса, голова Черномора!) — зять Леси Украинки, муж родной сестры великой украинской поэтессы-революционерки, а «в прошлом был революционером, его преследовала царская власть» (защитник Обуховский).

** А? Превосходный повод для того, чтобы обвинить в контрреволюционной деятельности — не захотели ехать, чтобы не встречаться с представителями власти? Как могли граждане газетчики писать о таком? А ведь больше не о чем, вот их несчастье.

РАК»... О внутренней «СВУ» и ее заседаниях он, по его словам, узнал только во время следствия, так же как и о том, что «ИНАРАК» — филиал «СВУ»... На вопрос защитника тов. Обуховского Кривенюк уверяет, что, если бы он знал раньше, что «ИНАРАК» есть филиал контрреволюционной организации, которая имеет задание свергнуть соввласть, то он бы никогда не был членом «ИНАРАКА», а следовательно и «СВУ».

ШАРКО (тоже редактор института. — Г. С.): «...в институте собрались человек 8 или 10 работников института и создали объединение, чтобы бороться с «козацкими вольностями», существовавшими в институте... Об «СВУ» он впервые услышал в 28 году от Холодного, который говорил, что во главе с Ефремовым есть какая-то организация... По словам подсудимого, о задачах «СВУ» — свержение соввласти — он, мол, узнал только на предварительном следствии. Подсудимый заявляет, что раньше он даже не видел что «ИНАРАК» проводит контрреволюционную работу... не представлял себе, что весь «ИНАРАК» — филиал «СВУ». Обо всем этом, видите ли, узнал только на суде... «Только теперь я вижу, что фактически был членом «СВУ» и что «ИНАРАК» был ее филиалом».

ТУРКАЛО (редактор института. — Г. С.): «В декабре, когда работа в техническом отделе института ухудшилась, часть штатных редакторов стала часто собираться, чтобы обдумывать, как бороться с «теми, кто не справляется с терминологической работой». Во второй половине 28 года это объединение называли «ИНАРАК». Туркало уверяет, будто «ИНАРАК» существовал только чтобы наладить работу института...

«Почему же тогда вы дали псевдонимы членам «ИНАРАКА»? — спрашивает прокурор Якимишин.

— Для того, — отвечает Туркало, — чтобы законспирироваться от своих людей в институте. Вообще же я воспринимал эти псевдонимы как шутку...

Заканчивая свои признания, Туркало заявляет, что *свою работу в «ИНАРАКЕ» он все же считает контрреволюционной, позорной и осуждает ее* (выделено мной, знакомая формула. — Г. С.).

Больше об «ИНАРАКЕ» не нашел начего. Теперь суди сам.

Веселился зал и слушая подсудимого Чеховского. «Известия» подают этот момент так:

«...этот матерый контрреволюционер, петлюровский премьер и погромщик 5 часов призывал суд и зрителей дальше крепить диктатуру пролетариата, бороться с мировой буржуазией, индустриализировать и коллективизировать страну. Напрасно ему несколько раз напоминали, что здесь не митинг и что он не докладчик, а подсудимый, обвиняющийся в тяжких преступлениях, — он нагло продолжал цитировать Маркса и, потрясая кулаками, громить Антанту».

Ну, а Никовский вообще вызвал в зале гомерический хохот.

«Известия», 16 марта.

«Начав с истерической пятичасовой лекции... начав с того, что он, Никовский, никогда не посмел бы пойти против своей Украины, что, наоборот, вернулся он в Киев в 1924 году вследствие «психических колебаний» и прочих переживаний и разочарований», он вынужден был сегодня к концу заседания перед лицом убийственных документов (враки, не было документов — кроме показаний того же Никовского на предварительном следствии и клеветы на него его подельников! — Г. С.) и фактов сознаться, что сам приложил руку ко всем международным интригам, что ехал он на Украину не колебаться и переживать, а организовывать восстание, готовить взрыв изнутри.

— Как же после этого всего, — спрашивает тов. Любченко, — назвать ваших коллег по скамье подсудимых и всю вашу организацию? Союз Освобождения Украины?

— Союз порабощения Украины, — бормочет, потупя взор, Никовский.

— А как, — продолжает Любченко, — назвать все то, что вы говорили и писали раньше... и то, что говорили еще вчера и сегодня здесь? На какую букву?

— На букву «б».

Это вынужденное позднее признание перед лицом нескольких тысяч зрителей, присутствующих в зале суда, заключает портрет Никовского».

Отсмеялись? А теперь давайте подумаем: как могло произойти, чтобы дипломат, литератор и вообще далеко не дурак, закатил речь о своей правоте, а потом вдруг — нате вам, «союз порабощения» и «на

букву «б»? На мой взгляд, — единственное возможно. Сказали ему перед заседанием граждане начальники:

— Иди, потрепись в волю. Но потом помни: тебя прищучит обвинитель — и ты ответишь так и вот так. Иначе... Понял? Марш, иди болтай.

И он, блестящий оратор, подумал: мне предоставляют трибуну, разрешают говорить, что хочу, — да неужели же я не сумею... ну, что-нибудь да сумею, а там потом эти отрепетированные признания с буквой «б» — откажусь от них как-нибудь... Но как-нибудь и чего-нибудь не вышло, хватка Горожанина была мертвой...

Иного варианта я не вижу.

Но это не все с комедиантом Никовским. «Известия» от 17 марта, на следующий день, пишут:

«Допрос Никовского закончился незабываемым аккордом... Неожиданно взял слово член суда Одынец.

Черниговский селянин Одынец не совсем понял одно обстоятельство...

— Как это так, — спрашивает, — ведь подсудимый мне лично известен, селянин по происхождению. И прадед и дед его были селяне, и отец селянин... Почему же Никовский очутился по ту сторону?

Молчание.

— Нет, в самом деле, — спрашивает Одынец и старческий голос 60-летнего «вечного незаможника» дрожит как-то особенно...

Одынец не судья. Судит он впервые. Процессуальные порядки ему мало знакомы.

— Ты, Никовский, давно так?... Почему вы хотели продать нас французам, полякам, японцам? Так лучше было бы украинской бедноте?

— Нет! — загорается Никовский.

— Я тоже так считаю, — поддакивает Одынец.

Остановился, задумался и, как бы отвечая на собственную мысль, тихо добавил:

— И вот я пошел с революцией...»

Смешно? Нет? Сейчас рассмешу.

Гаврила Одинец... Куда только не бросала партия своего верного раба! Много лет был он руководителем украинского Комнезама (Комбеда), делегат многих республиканских съездов Советов, член ВУЦВика нескольких созывов.

Передо мной газета «Радянська Україна» от 30 декабря 1962 года. Очерк Дм. Прикордонного и О. Куприна «Живут на свете Одинцы». Цитирую из предпоследней газетной колонки:

«Бурная деятельность крестьянского самородка оборвалась неожиданно в дни лютого разгула служителей культа Сталина. Когда холодные, замундиренные с головы до ног люди-автоматы приехали по душу уже старого Гаврилы, он успел сказать сыну:

— Десять раз меня уже брали, — в царские времена, в гетманщину. И каждый раз я знал, за что. А за что берут теперь, — убей, не знаю...

Далеко, где-то аж под Актюбинском очутился Одинец. А тут началось преследование детей. Исключили из партии, сняли с поста начальника цеха и прогнали с «Арсенала» сына Сергея, того самого, что 15 лет работал на этом заводе, тут вступал в комсомол, в партию. Обвинили во вредительстве сына Миколу, арестовали зятя...

Через семь лет больной и разбитый вернулся Гаврила в Быковню под Киевом. Жил с детьми в землянке. Писать уже не мог и все просил Наташу:

— Я продиктую, а ты запиши, доченька, надо же рассказать людям, как меня хотели сделать врагом народа. Это очень важно...»

И портрет большелобого бородатого мудреца в ватнике посреди газетной полосы — очень похож на Л. Н. Толстого...

Ну-с? Весело? Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а.....

Еще погодите!

Еще газеты — «Известия», 1 января 1970 года, то был 62-й, это — 70-й, 8 лет прошло... Очерк Дмитрия Прикордонного (Киев) «Родня Гаврилы Одиноца». Тот же портрет — ну, совсем граф Лев Толстой.

Только не ищите в очерке абзацев об аресте и ссылке старого Гаврилы, о преследовании его детей, о разгуле культа Сталина. Нет этого! Вся жизнь Гаврилы Матвеевича есть — а этого ничего нет. Как и не было. Год-то уже — 1970. Вот так.

Но и в «Радянській Україні» за 1962 и в «Известиях» за 1970 помещает мой хороший знакомый Дмитрий Максимович Прикордонный — честнейший, порядочнейший человек, но, как всякий советский журналист, полная шлюха в своей профессии, — следующий абзац:

«В 1930 году был судебный процесс над так называемым «Союзом вызволения Украины» — С В У. Украинский народ судил националистических зубров, пытавшихся оторвать Украину от Советского Союза и продать ее западным империалистам. Членом высокого суда был и Гаврила Одинец. Среди других ему пришлось судить Сергея Ефремова — бывшего заместителя головы Центральной рады, Андрея Никовского — члена рады. Их донимал он острыми вопросами, разоблачал антинародные действия националистов и твердой рукой подписал им справедливый приговор».

Подписал? Справедливый? Ну, так и ступай в ту же мясорубку, честный бедняк Одинец, туда тебе и дорога! Ведь ты, Гаврила, превосходно знал Сергея Александровича Ефремова и Владимира Федоровича Дурдуковского, в доме у них сто раз бывал, судачил с ними, мудрости и ума от них набирался — да и они с тобой, бывалым мужиком, погутарить любили, взгляды твои уважали! Дело в том, что руками Гаврилы Матвеевича, искусного краснодеревщика, сделаны были в украинском стиле стол, конторка и книжные шкафы в доме Дурдуковского по улице Гоголя, № 27...

Ну, нахотались? Хватит.

Нет, еще не хватит! Еще повеселю!

До вершин покаяния поднялся бывший министр иностранных дел А. Никовский — выше некуда: союз — порабощения, собственные мысли — на букву

«б», и это привселюдно. А солиден Никовский, уверен в себе:

«Никовский — представительный мужчина, — рисует А. Аграновский. — Налет меланхолии. Холеное аристократическое лицо. Говорит красиво, жестикулирует красиво, красиво запивает речь глотками любезно предоставленным ему стаканом чая в серебряном подстаканнике.

Он дипломат.

— Высокому суду угодно будет... — начинает Никовский... он все чаще по мере развертывания показаний повторяет:

— И вот я, как видный журналист...

— И вот, как авторитетный украинский деятель...

— И вот, я говорю как-то Лесю Курбасу: «Наш украинский театр...»

Нет, они все там, эти подсудимые идиоты, с ума посходили, не один Коля Павлушков! Да как же можно трепать всеу чье-то имя тебе, судимому врагу народа, польскому и еще чьему-то контрразведчику, петлюровскому министру! Да соображаешь ты, помело без костей, что этим «и говорю я как-то» тащишь ты Лесю Курбаса, с которым, оказывается, близок и вообще «на ты», в ту же яму, куда сам валишься!

И ведь заташил. Три годочка прогулял на воле Лесь Курбас — крупнейший, талантливейший советский режиссер, — после процесса СВУ, в начале 1934-го загребли его и, несомненно, дружбу с Никовским сполна ему припомнили.

Можете и тут посмеяться. Ученик Л. Курбаса Р., тоже режиссер, рассказал мне о своем последнем свидании в Москве в 1934-м с Курбасом, уже отовсюду изгнанным, затравленным, ждущим ареста. А потом припомнил такое:

— В 1955 году меня вместе с театральным художником В. — он в 33-м, совсем молодым еще, оформлял Курбасу спектакль, — вызвали в прокуратуру. Пришли, нам вежливый приятный следователь объяснил:

— Мы хотим попросить вас помочь нам в деле реабилитации Курбаса. Пожалуйста, познакомьтесь с делом.

И кладет на стол перед нами вот такую толстенную папку. И мы с В. принялись ее листать. И меня с каждой страницей охватывал все больший ужас. Признания, признания — во всем! Полный бред — и его подписи, его подписи, я-то его руку хорошо знаю. В. спрашивает тихонько:

— Его рука?

Я только покивал. И закрыли мы дело. Сказали следователю, что знаем Александра Степановича как честнейшего, преданного родине человека, написали объяснения. Следователь заметил, как мы закрыли дело, не захотели читать, и говорит на прощанье:

— Вас поражает? А вы представьте себе, что вы оказались на его месте двадцать лет назад. Как бы вы поступали?

— Вероятно, так же, как и вы бы с нами поступали те же двадцать лет назад...

Поулыбались мы и попрощались за ручки с этим приятным, вежливым следователем...

И Лесь Курбас, — человек не от мира сего, знавший одно лишь свое искусство, поэт и святой, — предал себя. Для своего морального расстрела (добавим: не только морального, но и физического) они сами подавали патроны. Защитники на процессе СВУ, словно оправдываясь перед народом в зале и перед историей за стенами оперы, подчеркивают, что обвиняемые дружно выбивают у них из рук все козыри:

ГРОДЗИНСКИЙ: — Гермайзе на процессе был сам своим обвинителем...

РИВЛИН: — Они (Ганцов, Пидгаецкий, Барбар, Черняховский) вынесли сами себе приговор, который содержит в себе одно слово — осуждение!

ВИЛЕНСКИЙ: — Подсудимые осуждены собственным признанием, собственным покаянием...

ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, РЕБЯТА? КАК ВЫ МОГЛИ?

Один харьковский писатель рассказал мне, что они вдвоем с товарищем, тогда молодые и азартные, про-

ведя бессонную ночь, решили идти утром в оперный театр на судебное заседание и на весь зал заявить:

— Раз тут на скамье подсудимых сидят эти ни в чем не повинные, честные люди, мозг украинской нации, — сажайте на эту скамью и нас!

И пришли в театр. И услышали, как поливают себя дерьмом Дурдуковский, Никовский, Павлушков. И притихли, съежились и бочком-бочком убрались прочь...

А в самом деле, что было бы, если б вскочили эти двое ребят и заорали на весь зал:

— Тут судят честных, невинных людей, цвет Украины! Раз так — судите и нас!

Так вот и заорали — дурными с перепугу голосами.

Что происходит далее? А ничего не происходит. В зале, естественно, полно переодетых сотрудников ГПУ. наших двух героев хватают крепкие мальчишки, зажимают им тут же рты (не фигурально, а буквально, вонючими от сапожной ваксы и пистолетного масла ладонями) и волокут вон из зала. Того эффектного, на что рассчитывали герои, не происходит: ведут через зал на глазах испуганно-сочувственно-восхищенных зрителей и швыряют в загон к остальным. Их выволакивают вон. И председатель суда не уделяет инциденту даже полслова, не происходит в разбирательстве ни малейшей паузы. А уж куда герои из зала попадают и что их ждет — об этом догадаться не трудно...

Нет, подвиг ребят со стороны ничего бы не дал.

А вот натыкаюсь я то и дело мыслями на вариант, который в записях моих уже возникал, — и не могу решить сам для себя, что же в его итоге... Мог или не мог С. А. Ефремов осуществить свою угрозу, которой поделился с адвокатом С. Б. Ратнером:

— Выйду — и скажу с трибуны всю правду!

Как Ты думаешь, читатель, было такое осуществимо? Давай пофантазируем.

...Вдруг, для всех неожиданно, посреди своей речи делает Сергей Александрович паузу и предельно громко и четко, поскольку оратор он, как мы помним, плохой, произносит:

— А теперь, братья мои, заявляю: все, что здесь происходит, — ложь! Не существует СВУ! Нас вынудили признать то, чего не было! Мы оклеветали сами себя!

Его тут же прерывают — затем и сидят под Лениным Бруки-Правдины. Председатель лишает подсудимого слова, филеры устраивают в зале шум — но Ефремов успевает докричать:

— Мы оклеветали сами себя, не существует СВУ!..

И еще успевает он докричать, пока выволакивают его вохровцы вон за кулисы оперы; — это уже друзьям своим по скамье:

— Товарищи, друзья, откажитесь от лжи! Все говорите правду, только правда спасет нас! Только правду!..

Вполне очевидно: главный дирижер СВУ Горожанин такой пассаж предусмотрел. На всякий случай, хоть вероятность почти равна нулю. Как реагирует Горожанин?

Скрутить Ефремова, уволочь и тут же заявить в зал, что в связи с недостойным поведением подсудимый Ефремов лишен слова и суд переходит к допросу следующего — вряд ли возможно: хоть о стыде и совести речи не идет — а все-таки у тысячи людей на глазах... Надо объявлять перерыв. Заседание прервано. Отменено на сегодня и перенесено (надо же посоветоваться, принять меры):

— О времени продолжения будет сообщено особо.

Скандал! Хоть один из иностранных журналистов в зале был? Остальным рассказал? Те немедля на свой гнилой Запад передадут? Скандал!

Можно, конечно, срочно прищучить того одного журналиста — автомобильная катастрофа. Можно не выпустить зрителей из зала, пригнать сотню «черных воронов», или как их там в 1930-м называли, и свезти тысячу гавриков в тюрпод, всех подряд, включая корреспондентов во главе с Д. Заславским, чтоб поменьше трепались. Но — скандал! Неприятности для Горожанина и Бруков, да еще какие! Они, конечно, засучив белые рукава, берутся за Ефремова, но тот (мы фантазируем с Тобой, читатель!) твердо стоит на своем. Они бросаются по-новой запугивать остальных для гарантии — но воскресает гордость в Гр. Холодном, протестуют Всеволод Ганцов, Андрей Никовский, старик Дурдуковский — пример главы встряхнул всех!

Скандал!

Узнают о скандале наверху, в Москве. Трах-тара-рах! — раз-

гром Горожанину и всем начальникам, назначают новых. И... и начинается следствие сначала, осторожнее, умнее. А то и вовсе решают наверху: отменить пока СВУ, с гадами-интеллигентами украинскими расправимся поодиночке. Но пока, раз привселюдно погорели (невозможно все-таки тех тысячу зрителей оперы тихо и незаметно сгноить в тюрьме), может даже появиться замечочка черненьким петитом в «Вістях», четыре строчки:

«По делу «СВУ» проведено новое следствие. Данные первоначального следствия не подтвердились. Обвиняемые из-под следствия освобождены».

Да, подобная эскапада главного обвиняемого имела бы смысл, несла бы взрывную силу. Этот вариант, даже при полнейшем беззаконии, проходил. И Ефремов понимал это — не мог не понимать. И каждый раз, застегивая пиджак и поправляя седой свой красивый волос перед выходом на зрителя, представлял он себе возможность такого своего хода. И — не делал его. И — не сделал.

Понимал, представлял — и погружался все глубже в трясину.

(Окончание следует)

Из книги «БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ»

Перевод Н. Горбаневской

ПЕСНЬ ГОРДОГО ЧЕЛОВЕКА

Каждым
вздохом и где бы
я ни был, я это я.
Светит мне солнце с неба
или не светит — неважно.
У моего бытия
своя погода,
свои времена года.

Не в единственном небосклоне
мой восход: дуновением
ветра я делаю шаг
в поля, я кладу ладони
на волосы девушек Севера.
Словно маг,
я во льдах, в океане и в камышах
в одно и то же мгновение.

Гордый человек душою вдыхает
дыхание в каждый шаг,
и стопа
ступает, и так
творится судьба.

Раздувая свет,
разожженный, когда начинаешь взлет
сквозь свои глаза и больше
не существуешь вне себя,
но существуешь повсюду. И больше
того, отвага бытия,
утративши разума власть,
обращается в страсть.

ДЕВЯТЫЙ ТЕЗИС О ФЕЙЕРБАХЕ

Обитая в этом промежутке,
на пороге первого дня, я не знаю уже,
что за мира сотворенье идет.
Не осталось дороги —
только дверь, и та заперта.
Мысль о ноже
мне запрет кладет
на эту землю, где всё качается,
словно отчаливая:
дерево, змий. И Евы ни следа.

Что же мне теперь? Подыхать?

В чреве застенка, словно на пороге
бытия. Благовещенье (что за весть?)
единственный выход: меня уже несть
ни на одной дороге.

Я утратил оба мира. Но в петле
запутанного пути
не поверну назад: в забытье,
что всю жизнь заменяло мне бытие
на житьё.

Избежавши этого мира, который волок
меня в свой инвентарь,
потому что боялся быть одинок
с собою самим,
я стал неделим,
как над перекрестком фонарь.
Я уцелел целиком.

Я отказываюсь владеть
хоть чем, хоть ночным мотыльком,
хоть светом дневным, что день? — застенок
об одной звезде.

Раскройте глаза
и слушайте
гармонию ваших душ:

это и есть зеркало, отразившее небеса.

ПОЛНОЧНЫЙ ПСАЛОМ

Голос взвывается: вьется
имя мое. Откуда оно?
Ниоткуда. Ни из завтра, ни из вчера.
В ребра души моей бьется,
как пчела
в стаканное дно.

Полночь.

Что мне делать тут, о имя,
почто меня будишь? Здесь
покой
это быть никем. Ниоткуда.
Неживущим.

Вырванный из вселенной
стен, молчания, кандального звона,
я переселяюсь в созвездие
своих мучений. В созвучие
излучения, обращенного
из себя и к себе.

За решеткой звездный след,
падшей звезды свет:
целая жизнь.

Звук становится светом,
душа моя зеркалом. Сердце
братом угасшего огня,
который дал узреть
и узнать:

там,
нигде, этот мир покинув,
радости стакан опрокинутый,
о кандалы разбитый, навеки не
горек.

Недвижный,
в бездне ночи, в бряцании оков,
я вслушиваюсь еле-еле
в медлительную поступь веков:

имя
прочерчивает время
и времена. А вечность —
пробудится ли она? Я хочу лишь одного:
быть,
быть на самом деле.

ТЕКУЧИЕ ОБРАЗЫ

Эта песня подземных вод
прутиком скитальца
вычарована.

Эти руки,
внезапно бессильные, вот
уже ощущают землю, снова
заснеженную воспоминанием.
Эти сердца: глаза, излучающие нежную
любовь и желание,

как заброшенный храм.

Эти картинки, проступающие по утрам или
к вечеру

на стенке застенка, —
когда глазу нечего
больше созерцать,
он страдальчески их созерцает.

Целый мир картинок
роскошных и невиданных
расцветает, видимый
только при свете
страданья.

Как эти слова, которых ни за что на свете
не выговоришь.

Паутина рисунков высока, как чело
гордого человека, и нет ничего
страшнее для чернокнижника,
ибо со дна картинок жизни
оборотень выглянет.

СТЕНА

В этом вареве покаянья распушен,
словно повинен в кровосмешеньи,
назло чернокнижникам, я
возвращаюсь к истокам:
завтрашний день бытия
связан с прошедшим;

гнездо заплетается в зеркало;

рука в тюремной
ясности; Имя, коим беременна
утроба моих легких;
глоток воды из реки,
из которой я выплыл с тех пор как.
В которой меня уже нет и
нет даже тени
склонившейся ивы.

Пламя сотворенья
пепла не оставит: боги
жаждут нас восславить. Смысл,
как и бессмыслица,
это поиски вчерашнего дня.

Я окружен двойниками,
немыми зеркалами, расставленными в углах
стен.

Стена моего бытия
— и я сам эта стена —
приговорена
быть застенком. Но кто
станет светом и рассечет
зверски бушующий шторм,

кто вырастет больше могуч,
чем бешенство изуверства разрушенья?

Деревце, что прорастет
из грозовых туч.

ВОРОНЫ

Эти выжившие тени
повешенных:

на ивах
во мгле
они пожирают ночь.

Над каторгою,
над когортой нар
они свое выкрикивают Кар
в жажде выпить жар
зениц до дна
у тех, что на
нарах, еще живые.

О быстротекущее время,
этот крик из темени темнот,
заглушенный туманом,
и тебя переживет.

Чтобы насытить неясить вековечную,
люди были любимы и любили,
ненавидели и ненавидимы были,
и всеми забыты,
все их забыли.

Во имя неба
и во имя небесного гнева.

Бог Солнца,
похороненный в тени
этой пирамиды
самоубийц,
сия диалектическая тюрьма
научно доказывает,

что жена твоя жизнь
в трауре.

ВИДОВИЧ Мирко — хорватский поэт, родился в Югославии в 1940 г., учился на философском факультете Загребского университета, работал журналистом, был лишен работы за исследование по демографии Югославии, переехал во Францию, на родину своей жены, и здесь в 1965 г. окончил отделение русской филологии Лионского университета. Издал на Западе ряд книг по-хорватски, в том числе книгу стихов «Храм надежды», награжденную в Швейцарии литературной премией. В 1971 г. приехал в Югославию навестить тяжело больную мать и был арестован, получил год тюрьмы за то, что написал «Храм надежды», и три года — за то, что посылал эту книгу различным югославским писателям. Находился в заключении в лагере Стара Градиска, преобразованном в «исправительно-трудовой» из бывшего немецкого концлагеря, был там одним из трехсот политзаключенных, на которых власти натравливали остальное население лагеря — 900 уголовников. В 1973 г. был подвергнут новым допросам, заключению в карцер и в камеру для сумасшедших — с целью добиться от него показаний на новых арестованных. Не добившись этого, власти обвинили его в участии в симпозиуме, организованном в Швейцарии бывшим югославским министром, и дали новые три года. В сентябре 1975 г. под давлением требований с французской стороны освобожден и выслан во Францию, пробыв в заключении пять с половиной лет. Опубликованные здесь стихи взяты из книги, сочиненной поэтом в заключении по-французски.

Россия и действительность

Сергей Левицкий

ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СВОБОДЫ

(на Западе и в России)

Первая часть настоящей статьи написана под влиянием книги Г. Федотова «Новый Град» (Нью-Йорк, 1952), хотя в ней есть и мои мысли. Вторая часть представляет собой обновленный вариант темы «трагедии свободы», развитой в моей одноименной книге («Посев», 1958).

*«Дайте мне свободу,
или дайте мне смерть».*
Патрик Генри

О сущности свободы распространено немало предубеждений и предрассудков. Говорю не о просвещенных историках и философах, а о средних слоях европейской и американской интеллигенции. Одна из главных целей настоящей статьи — попытаться дать опровержение некоторых из этих предрассудков и уяснить глубже природу свободы, особенно (но не только) свободы духовной.

В частности, многие иностранные эксперты утверждают, что в России никогда не было свободы, даже в старое доброе время, так что привычка к рабству — в русском характере. Это утверждают как западные либералы, так и особенно «еврокоммунисты», гордо заявляющие, что «их» коммунизм будет «не такой», а демократический, «с человеческим лицом».

Это мнение — продукт типичного для Запада невежества, когда дело касается России. Но судьба свободы в России была, действительно, отличной от ее судеб на Западе. Настоящая статья вовсе не посвящена всецело теме о судьбах свободы в России, а имеет гораздо более широкий охват. Но тема «Россия и свобода» занимает в ней важное место.

К истории свободы

Начну с указания на ошибочность весьма распространенного мнения, что исторические источники свободы нужно искать в идеях французских энциклопедистов XVIII века и во французской и американской революциях. Конечно, американская Декларация Независимости, этот вдохновенный документ свободы, и лозунги (вскоре преданные) французской революции — «свобода, равенство и братство», — чрезвычайно важные вехи в истории свободы. Но обе эти революции — продукты, а не первоисточки свободы.

Эти первоисточки и «рождение свободы» нужно искать гораздо раньше, а именно — в раннем Средневековье (как на этом особенно настаивает Федотов). Тут действовали два основоположных фактора: Церковь как «столп и утверждение» христианской истины — и борьба высшей аристократии за свою относительную независимость от королевской власти. Первый фактор носил духовный, второй — светский характер. И из их сочетания родилась, хотя еще в не вполне раскрытой форме, идея свободы в ее современном понимании.

Этот тезис, во всяком случае первая его половина, вызовет, вероятно, естественные возражения. Не только коммунистические атеисты, но и большинство либеральных историков привыкло видеть в Церкви оплот реакции, гонительницу свободной мысли, а ни-

как не светоч свободы. Однако католическая Церковь начала выступать в своей реакционной роли значительно позже — примерно с XV века. Мы же говорим сейчас о самом раннем Средневековье, когда Церковь была прежде всего носителем просвещения и школой обуздания и гуманизации нравов. Покорившие Рим северные варвары были «приведены в христианский вид» именно благодаря благодетельному влиянию Церкви. Но о какой же свободе идет здесь речь? — Конкретно говоря, о свободе Церкви от светской власти, от кесарей, правивших при помощи силы. В лице же Церкви впервые в истории не меч, а крест стал действующей исторической силой. Власть королей была в светском отношении абсолютной, но в области чисто духовной власть стала принадлежать папе как наследнику апостола Петра и заместителю Христову. Христианство освобождало душу от посягновений властителей на абсолютную власть. Крест был поставлен выше меча, по крайней мере, в принципе.

В области веры верующий чувствовал себя в Отчем доме, свободном от посягательства земных властей. В этом смысле мы и говорим, что Церковь, по крайней мере на заре европейской истории, была носителем и распространительницей духовной свободы, свободы веры.

Борьба пап и императоров явилась важным эпизодом в истории свободы, и, хотя в дальнейшем победа осталась за императорами, в раннем Средневековье Генрих VIII был должен все-таки пойти в Каноссу.

Впоследствии времена переменялись: Церковь перестала почитать Господа в духе истины и подпала под диаволов соблазн власти, что породило инквизицию со всеми ее ужасами. И Церковь объявила себя врагом свободного научного исследования и врагом социального прогресса, став на сторону сильных мира сего. Но это и было идолопоклонство, совершаемое

во имя религии. И это не могло не дискредитировать религию в глазах широких масс.

В популярном представлении Средневековье стало прочно ассоциировано с позднейшим его периодом. Но лучшее, что было создано Средневековьем, начиная с готических храмов и кончая «Сумма теологика» Фомы Аквинского, — относится именно к раннему Средневековью. Сюда же относится идея свободы в христианском ее понимании.

Следующим крупным этапом в развитии свободы на Западе было возникновение и рост протестантизма. Родившись из протеста против папской опеки над душами и коррупции многих высших католических иерархов, протестантизм руководилось главным образом этическим пафосом, стремлением к чистоте нравов и, главное, к чистоте совести. Мы знаем, что католичество не хотело сдаваться и реагировало на этот оправданный протест бесчеловечными санкциями — Ян Гус был сожжен на костре. Но Лютеру удалось завершить Реформацию и утвердить лютеранство в качестве новой мощной религиозной силы. Лютеранство не хотело никаких посредников между человеком и Богом, оно было движением в высшей степени индивидуалистическим и апеллировало к индивидуальной совести. Оно провозгласило идею свободы совести, и в истории свободы это явилось неоценимым достижением.

Важную роль в истории и развитии духовной свободы на Западе явилось зарождение точной науки, озаглавленное такими именами, как Кеплер, Джордано Бруно, Коперник, Ньютон и другие гении той эпохи. Научная мысль, по определению, должна быть свободной, должна быть одушевлена духом свободного искания истины. Как таковая, научная мысль должна быть терпимой, и научная школа была также и школой терпимости. Терпимость же вытекает из самой сущности идеи свободы. Времена, когда науку,

точнее, научную технику, стали заставлять служить человеконенавистническим целям диктаторов, — пришли значительно позже.

Это всё относится к духовной свободе. Но, как мы упоминали, свобода имеет и другой источник, идущий от просвещенного язычества. Конкретно говоря, это — афинская демократия и римское право. Дело шло здесь не столько о духовной свободе, сколько о сфере независимости человеческой личности, включая тело. Вообще, эта вторая свобода относится больше к телу, чем к духу, она утверждает право на материальную собственность. Это не противоречит тому, что эта «материальная свобода» личности обладает также известной духовной ценностью. Однако ее пафос — не в этом.

Но пойдем далее. Тот же Федотов правильно указывает, что исторической предпосылкой свободы является плюрализм, или, по крайней мере, дуализм властей. Когда население данной страны имеет лишь одну власть, эта власть имеет тенденцию стать неограниченной, и тогда дело свободы проиграно прежде, чем началась игра.

Но две или три власти неизбежно ограничивают друг друга и создают предпосылки для рождения и развития свободы.

Конкретно говоря, на Западе борьба пап и императоров, а также борьба между королями и феодальной аристократией создавала условия, при которых личность имела стимулы к развитию.

В старой Англии, может быть, в силу индивидуализма английского характера, высшая аристократия почувствовала себя настолько окрепшей, что решилась на открытую борьбу с королем, — и вынудила его к уступкам, получившим письменное выражение в знаменитой «Magna charta». Примеру Англии затем последовали и другие европейские страны. Важно подчеркнуть, что в случае «Magna charta» дело шло не

только о привилегиях аристократии, но прежде всего о ее правах, — и это было новое явление в истории свободы. Чувство личного достоинства, чувство чести стали культивироваться именно с этих пор. Этим была — не столько прямо выражена, сколько активно проявлена идея суверенитета личности. И эта идея, в ходе исторического развития, распространилась затем и на средние сословия и, в конце концов, уже в XVIII веке, на весь народ (в теории).

Еще одним мощным импульсом в развитии сознания свободы был гуманизм, возникший в итальянском Ренессансе. Эмансипация человека от опеки Церкви и осознание права человека на свободное пользование благами жизни знаменовали утверждение свободы на новых путях и в новых измерениях. Подчеркнем, однако, что гуманизм был реакцией против теократических поползновений Церкви, а не бунтом против Господа Бога — этот бунт придет позднее. И не случайно, что Ренессанс зародился именно в Италии, где власть местных дождей была довольно слаба и народ которой был чрезвычайно одарен художественно. Ренессанс таил в себе потенции безбожия, но сам безбожным отнюдь не был.

И вот только после и на фоне этих важных культурно-исторических этапов наступил XVIII век, с его рационализмом, материализмом и вольномыслием. И только в XVIII веке Монтескье сформулировал одно из самых главных условий политической свободы — принцип разделения властей. Дальнейшее настолько известно, что я не хотел бы тратить внимания читателя изложением дальнейших событий в их значении для дела свободы. То, что в XX веке наступил кризис свободы, — чрезвычайно важно для нашей темы, но не относится к ретроспекциям свободы, о которых у нас сейчас идет речь. Теперь, уже помимо исторических обстоятельств зарождения идеи свободы, мне хотелось бы углубить идею духовной свободы.

Иисус Христос Своей Благой Вестью освободил человеческую душу от плена у «мира сего», провозгласив: «Царство Мое не от мира сего». И Он же сказал, что «душа человеческая выше царств земных». Первые христианские мученики, осознав себя свободными сынами Божиими, отказывались поклоняться идолам или признать власть над своей душой очередных тиранов — и многие поплатились за это жизнью. Христианство завоевало мир прежде всего крестом, а не мечом, хотя в дальнейшем историческая Церковь и прибегала не раз к помощи меча. Но это было искажением духа христианства, а не выражением этого духа.

Истинное христианство всегда помнило, что оно не от мира сего, но что, тем не менее, оно призвано воплотиться именно в условиях нашего эвклидова, грешного мира. Христианство, в отличие от буддизма, никогда не стремилось к уходу от нашего мира в Нирвану. Монахи удалялись в пустыню, чтобы спасти свою душу и помогать спасать души ближних, а не для достижения стоического равнодушия к миру. По христианской заветной вере, Христос, страдавший и распятый в этом мире, снова явится в него в воскрешенном виде, чтобы «со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца». Христианство исторично, ибо оно есть религия, согласно которой Вечное призвано воплотиться во временном, в историческом процессе.

Этот имманентный дуализм христианства получил свое лучшее выражение в знаменитом ответе Христа фарисейским вопрошателям: «Отдайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». Из этого следует, что христианство не отрицает власти кесаря (всякой земной власти), но предостерегает от того, чтобы кесарю были пожертвованы вечные ценности — вечная человеческая душа.

И мы уже говорили, что историческая Церковь часто соблазнялась заменить собой и кесаря, с пара-

доксальным результатом подпадения диаволу искушению тотальной власти. Поэтому всякая теократия есть предательство заветов Христовых и она грозит выродиться в сатанократию (как назвал советский режим Н. Бердяев).

Во всяком случае, максима «отдайте Божие — Богу» ставит пределы светских властей на тотальное властвование. В этом смысле христианство есть высшая гарантия свободы человеческого духа. Идея свободы (духовной) содержится в христианстве потенциально, но в смысле живой потенции, а не возможности только.

В совмещении понятий духовной свободы и свободы как естественного права личности заключается главное своеобразие европейско-американского понимания свободы, которого не знали прежние, даже высокоразвитые культуры.

Итак, в западном мире, начиная с ранних веков, сложился ряд духовных и исторических обстоятельств и условий, благоприятствовавших рождению и развитию свободы. Как же обстояло дело с Россией?

Можно с достоверностью утверждать, что и в древней Руси внешние и отчасти внутренние обстоятельства также способствовали зарождению и развитию свободы. Власть варяжских князей (быстро обрусевших) была далеко не абсолютной, а греческие митрополиты и священники, служившие в Руси (пока не появились собственные), обладали еще меньшей властью, чем в своей родной Византии. Но они обладали большим нравственным авторитетом.

Известно, например, что в Новгороде, в периоды его вольницы, когда распри между враждующими сторонами на вече принимали характер побоищ, — митрополит выходил к народу с крестом и ему удавалось большей частью мирить противников.

Но Московская Русь представляет собой уже совсем другую картину. Татарское нашествие и иго поло-

жили временный конец существованию Руси как независимого государства. Но татарское иго было все же внешним: оно мало что переменило во внутренней структуре и нравах Руси. Как это ни парадоксально, прежнюю относительную свободу почти погубили в Москве иные — внутренние — враги. Московские великие князья переняли у татар приемы тотальной, по тому времени, власти, часто не останавливаясь перед обманами, подкупам, насилиями, чтобы только собрать Русь вокруг Москвы. Женитьба Ивана Третьего на Софии Палеолог внушила Ивану византийские представления о значении царской власти. Но Иван Третий, хотя правитель властный, не был по натуре тираном. Зато в лице Ивана Грозного, как известно, Московская Русь получила правителя, побившего все рекорды властолюбия и жестокости. И это, несмотря на то, что он был для того времени высокообразованным и притом умным человеком. Если смысл его опричнины был в том, чтобы ее жестоким посредством был сломлен хребет боярству и чтобы выдвинулось новое сословие — дворянство, — то достигнуть этого можно было бы неизмеримо более мирным путем. Конечно, Иван Грозный был патологической личностью, хотя он и правильно угадывал исторические задания Руси. И Смутное время было косвенным следствием эксцессов Ивана, с его «перебиранием людишек». В Смутное время Русь едва не была завоевана поляками и вообще едва не распалась. Лишь подъем патриотического чувства и неожиданная помощь неверных казаков спасли Москву.

При Михаиле Федоровиче Русь залечивала раны и набирала силы, но в царствование Алексея Михайловича выявился новый, несколько более демократический облик Московской Руси, с ее Земскими Соборами, которые собирались, однако, без особого энтузиазма, — бояре обнаруживали слишком мало желания принимать участие в управлении страной даже советом.

Все же при важных событиях, как, например, вопрос о присоединении Украины, Земский Собор говорил свое слово. При Алексее же Михайловиче было составлено «Уложение», что указывает на какую-то степень правосознания в ту эпоху. И при том же царе западное, главным образом, немецкое влияние начинало давать себя чувствовать (Немецкая слобода в Москве разрослась именно при нем).

Власть патриарха Никона настолько выросла, поневоле ограничивая власть царя, что последнему пришлось затем убрать строптивного патриарха. Однако до этого он успел провести церковную реформу и жестокими мерами сломить сопротивление старообрядцев. Расправа со старообрядцами, поддержанная царем, лишняя раз показала, как мало было в Московской Руси духа терпимости, несмотря на более гуманный, по сравнению с прежними московскими правителями, образ правления Алексея Михайловича. Вообще при этом царе в Москве дышалось как-то вольнее, чем когда-либо прежде. Славянофилы, идеализировавшие, как известно, древнюю Русь, считали период Алексея Михайловича образцовым для Московской Руси.

Историкам известно, что древняя Русь, ни ранняя, ни поздняя, не знала римского права, если не считать некоторых элементов его, проникших вследствие переводов кодекса Юстиниана. Славянофилы видели в этом благодеяние, а не недостаток — особенно Иван Киреевский: он считал, что римское право слишком холодно и формально, чтобы оказать благотворительное влияние, и противопоставлял схоластике и римскому праву — святоотеческую литературу, исполненную духом смирения и служения. Но это было глубоким заблуждением: во-первых, право и должно быть формальным, иначе оно превратилось бы в насилие отвлеченных регламентаций над живой жизнью и над человеческой личностью. Формализм права вытекает

из его стремления сохранить и утвердить сферу свободы личности — как это было прекрасно показано в книге Б. Вышеславцева «Кризис индустриальной культуры» (Нью-Йорк, 1954). Во-вторых, противопоставление права христианской этике основано на смешении терминов: здесь сравниваются величины разных порядков. Право не должно и не может заменить собой мораль, но и мораль не должна покушаться на право. Из того, что религия выше морали, не следует ненужность морали, и из того, что право ниже морали, не следует ненужность права.

Частичная правда Киреевского в этом пункте заключается в том, что на Западе право фактически часто играло роль суррогата морали. Но это было злоупотреблением права и морали и не выражало нормального соотношения между ними. Вообще говоря, русскому духу свойственно нередко пренебрегать низшими сферами жизни ради высших. Но это пренебрежение не только приводит к неустроенности низших сфер, в которых наша жизнь неизбежно протекает, но неблагоприятно отражается косвенным порядком и на высших сферах, не создавая благоприятных условий для их проявления. Сколько русских талантов погибло преждевременно от неумения создать себе нормальные условия для жизни и работы! Владимир Соловьев настолько истощил свой организм работами по ночам и внешним беспорядком своей жизни, что умер в возрасте 47 лет. А Мусоргский стал жертвой алкоголизма.

Но вернемся к Московской Руси. Дальнейшее хорошо известно. — Царь Петр, поклонник всего западного и ненавистник Москвы, «вздернул Россию на дыбы» и провел жестокими мерами западнические реформы, которые превратили Россию в сильную европейскую державу.

Петр Великий был самовластным правителем, но он стремился к законности, которая неразрывно свя-

зана со свободой и составляет ее рамки. Но дворянство того времени, не говоря о народе, было не подготовлено для понимания духа законности. Что не только народ, но и дворянство в своем большинстве не хотело, опять-таки, принимать участие в правлении государством, показывает эпизод 1730 года, когда Анна Иоанновна, под давлением дворянства, разорвала «кондиции», подсказанные высшей знатью, которые должны были как-то ограничить самодержавие в пользу высшего сословия. Как ядовито замечает по этому поводу тот же Федотов, русское дворянство предпочитало «рабство для всех свободе для немногих».

Однако уже отчасти при Елизавете Петровне и, собственно, при Екатерине Великой происходит новый важный процесс — гуманизация нравов и самой власти. При Екатерине были строжайше запрещены пытки, и вообще ее правление первой половины царствования отличалось мягкостью методов. Восстание Пугачева и опыт французской революции заставили Екатерину взять более жесткий курс управления страной. Однако о возврате к крутым мерам Петра Великого не было и речи.

Многие считают, что пугачевский бунт был не только протестом против угнетения низших сословий, но и проявлением инстинкта свободы, жившего в русском народе (без поддержки крестьянства этот бунт не мог бы принять такие угрожающие размеры). Однако пугачевский бунт, как известно, был направлен не против самого принципа царской власти, без которой народ не мог и представить себе России, а лишь против высших сословий. Главное же — «вольница», которую Пугачев хотел учредить, отличалась крайней нетерпимостью. Если бы она установилась, в России началась бы кровавая баня, перед которой побледнели бы все эксцессы царей. Пугачев мечтал о «воле» (т. е. коллективном своеволии большинства), а не о

свободе, о которой он не имел ни малейшего понятия.

Заря свободы начала было всходить над Россией с воцарением гуманного Александра Первого — «дней Александровых прекрасное начало». До Конституции дело не дошло, и знаменитый «проект» Сперанского был положен под сукно, под влиянием грозившей внешней опасности. Все же был учрежден Государственный Совет — жалкий, но все же сохранившийся обломок задуманного конституционного правления.

Как известно, напряжение и потрясения Отечественной войны обратили помыслы Александра к Творцу, и он впал в мистицизм, удалившись от дел и передав все полномочия жестокому и тупому Аракчееву. Это вызвало, после смерти царя, реакцию в форме знаменитого восстания (точнее, попытки к восстанию) декабристов. В проектах декабристов были представлены два варианта чаемой русской свободы — умеренный Муравьевский, вдохновленный американской Декларацией Независимости, и Пестелевский, радикально-революционный, в котором предусматривалось даже убийство царя и всех членов его семьи. Через столетие история осуществила именно этот радикальный вариант, наполнив его новым, коммунистическим, содержанием. Умеренному же, либеральному варианту свободы не дано было до сих пор осуществиться.

Эпоха Николая Первого была, как известно, эпохой реакции. Но иностранные, а отчасти и русские историки (первые не без влияния пресловутого Кюстина) обычно преувеличивали размеры этой реакции. (Характерно, что Кюстин ни словом не обмолвился о Пушкине и о расцвете русской поэзии в тот период.) Никаких массовых репрессий при Николае не было, хотя контроль Третьего Отделения был строг иногда до параноичности. Цензура не пропускала даже многих благонамеренных, по существу, писаний славянофилов. Киреевскому закрыли журнал, а Хомяков был

вынужден издавать свои богословские сочинения по-французски. Это, повторяю, прискорбно («своя своих не познаша»). Но все же до лишения славянофилов свободы дело не дошло. Да это вообще было не в духе даже той темной эпохи.

Тут я хотел бы подчеркнуть хорошо известный русским (имеющим понятие о дореволюционных временах), но мало — иностранцам, факт, что в течение всего XIX века никакие, даже самые реакционные цари не проявляли личной жестокости. Они были по-европейски воспитаны и образованы, были связаны узами родства с немецкими королевскими семьями, были верующими людьми, и им просто не подобало брать примеры с Ивана Грозного или даже Петра Великого. Есть злая шутка: русский образ правления есть самодержавие, ограниченное царевубийством. Это относится к эксцессам, но в общем и целом оправданное было бы сказать: это есть самодержавие, ограниченное личной гуманностью царя. Личная гуманность — в большей или меньшей степени — отличительная черта русских царей нового времени. В особенности это относится к Александру Второму, прозванному царем-Освободителем.

Дело свободы в России сделало гигантские шаги именно при нем. Освобождение крестьян (пусть вначале без земли — тут важен был принцип) и судебная реформа знаменовали новые вехи в русской истории вообще и в истории русской свободы, в частности. Можно было ожидать, что при почти полном отсутствии правосознания в России, при непривычке к демократической судебной практике и крайней малочисленности образованных юристов, судебная реформа не будет иметь успеха. Но практика показала обратное: новый суд, «скорый, правый и милостивый», привился и пришелся по вкусу в поразительно короткие сроки. Исконное русское стремление к правде и милосердию получило в лице нового суда возмож-

ность непосредственного проявления, и русский суд вскоре стал одним из образцовых судов в Европе.

Да, все это так, может быть, возразят некоторые, но фактом остается, что до 1905 года в России не было представительных учреждений, а какая же без них свобода?

Тут мы подходим к очень важному пункту, трудно усвояемому иностранцами. — Да, в России до 1905 года не было представительных учреждений, и это очень прискорбно. Но в России XIX века и до революции было то, что называется иногда «бытовой свободой», т. е. свободой исповедывать любые убеждения (даже самые лево-революционные, если они не переходили в дело), полной свободой общения с кем бы то ни было, свободой перемены местожительства и путешествий, как по стране, так и за границу.

Нужно заметить, что в самой России бытовая свобода даже не ценилась — настолько она казалась самоочевидной. В теперешнем СССР эта бытовая свобода давно упразднена и остатки ее — ограничены. Поэтому так оправдана ностальгическая тоска по этой свободе. Иностранцы же, даже занимавшиеся русской историей, представляют себе, что раз не было представительных учреждений, то, значит, в царской России вообще господствовала атмосфера несвободы. Но это заключение как раз в корне ошибочно: в царской России (за неполным вычетом эпохи Николая Первого) именно существовала эта атмосфера свободы, которая не менее важна, чем свобода политическая, пришедшая несколько позже, но все же пришедшая. Наличие этой бытовой свободы должно было бы объяснить иностранцам, почему, несмотря на отсутствие политической свободы, а иногда и политический гнет, — в царской России так расцвели литература и искусства, а несколько позднее и науки. Да, Пушкину пришлось ждать несколько лет, пока «Борис Годунов» был разрешен к напечатанию. Можно было бы пере-

числить еще несколько примеров подобного неуместного рвения цензуры, но это же всё детские игрушки по сравнению с испанским сапогом советской цензуры. Вообще же говоря, произведения великих и малых классиков — Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова и других — выходили в свет беспрепятственно. Это объясняется тем, что, помимо бытовой свободы, в царской России господствовала и более глубокая ее форма — духовная свобода. Не было, повторяю, политической свободы, но жизнь, особенно духовная жизнь, не исчерпывается политикой.

Таким образом, пущенный большевиками злостный миф о том, что царская Россия была «тюрьмой народов», есть клевета, имеющая мало отношения к реальности. И этой клевете большинство западной интеллигенции, увы — поверило (чему, конечно, способствовало тенденциозно написанное большинство западных руководств по русской истории).

Дальнейшее настолько всем известно, что я не буду повторять, даже вкратце, историю последних лет Империи, правящий слой которой безнадежно выродился и не оказал даже символического сопротивления революционному взрыву. А что касается краткого периода власти (вернее, безвластия) временного правительства, то никто иной как сам Ленин признал, что в это короткое время Россия была «самой свободной страной в мире». Но опыт свободы не удался, так как свобода была понята почти анархически, и при полном попустительстве разрушительным силам зла. Недаром Керенский впоследствии любил говорить, что он «не допустил бы более керенщины».

Еще дальнейшее представляет собой трагическую историю сначала попраiania, а затем и попытки полного искоренения свободы и установления царства всеобщего рабства.

Я не буду тратить также слов на разоблачения чудовищности и жестокой бездушности сталинщины —

это делалось в эмиграции и отчасти в западной прессе достаточно часто. При этом самое возмутительное — то, что самый бесчеловечный и рабский режим, который только знала история новейшего человечества, в порядке официального агрессивного лицемерия объявлялся царством «истинной свободы».

О том, что никакая сколько-нибудь явная оппозиция царству всеобщего рабства не была технически возможна, — знают лучше всего бывшие и настоящие подсоветские люди. Но стоило Хрущеву хоть отчасти приподнять завесу над преступлениями сталинизма и произнести свою разоблачительную речь, — допустив весьма чахлую, но все же «оттепель», — как давно таившееся стремление к свободе проснулось с новой силой в явном и тайном диссидентстве. А Солженицын дал этой тоске и боли по свободе незабываемое выражение в своих произведениях, которые будут на многие века служить источником благородного негодования и свидетельством о бессмертии человеческого духа даже в самых бесчеловечных условиях. И огонь свободы, раз он разгорелся, невозможно потушить, его можно лишь временно приглушить. И он будет тлеть, пока, под воздействием нового благоприятного толчка, не разгорится новым пламенем.

Да, массы, сдавленные полунуждой и все еще находящиеся в плену у страха, до сих пор обнаружили мало энтузиазма для дела свободы. Те небольшие, но заметные поблажки, которые дает им теперешняя власть, представляются большинству какой-то приемлемой тройкой с минусом: «Жить кое-как можно». Но преследования и зажим верующих задевают уже за живое многие десятки миллионов. По свидетельству отца Дмитрия Дудко, в России подспудно, но явочным порядком происходит религиозная весна. И многие готовы претерпевать лишения, охраняя свою духовную свободу.

Поразительно, что концепция свободы, как она намечена, пусть пунктиром, в идеологических статьях Солженицына и других участников религиозно-философского сборника «Из-под глыб», свободна от «низкопоклонства перед Западом» — от рабских восторгов по адресу западных демократических свобод. Нет, Солженицын и другие участники сборника отлично видят поверхностность и частичную дефективность современного западного понимания свободы, и они отказываются видеть в свободе (которую они утверждают) — панацею от всех зол. Современное западное понимание свободы, как это подчеркивает Солженицын, хотя не отрицает ответственности, но лишено подлинного этоса ответственности. Солженицын отлично видит также, что на Западе многие пресытились свободой, и некоторые из них, вроде Сартра, мечтают о рабстве.

Это приводит нас вплотную к сердцевине нашей темы: к трагедии свободы на Востоке и на Западе и к путям преодоления этой трагедии. Для этого необходимо подняться на некие высоты умозрения.

Трагедия свободы

Начну с повторения азов диалектики свободы.

Со времен Ницше принято различать два основных аспекта свободы: отрицательную и положительную свободы. Отрицательная свобода есть свобода «от» чего-либо, — от внешнего насилия или давления, но также и от морального закона. Но свобода от морального закона подготавливает почву для победы сил зла в мире и в нашей личности. Свобода от внешнего насилия и давления есть законный императив самореализации. Но свобода от морального закона подготавливает почву для победы сил зла в мире и в нашей личности.

Положительная же свобода есть свобода «для», — ради исполнения нашего нравственного предназначения, и для самореализации в творчестве. Но истинное творчество есть всегда служение высшим, сверхличным ценностям истины, добра и красоты, кульминирующих в служении Богу и Его Царству.

Должно быть ясно, что основным условием свободного служения высшим ценностям является именно отрицательная свобода «от», хотя она, по определению, и не самодостаточна. Объектом права является определение и ограничение сферы свободы, должествующей быть присущей личности. Право имеет дело именно с отрицательной свободой, которую оно предполагает и утверждает, но которую оно стремится урегулировать и ограничивать. Положительная же свобода не подлежит компетенции права. Ибо положительная свобода есть дело заполнения сферы свободы личности тем или иным содержанием, что может зависеть исключительно от той или иной направленности свободной воли личности. Никто не может заставить личность творить или быть высоконравственной. Но право стремится воплощать хотя бы минимум нравственности, и некоторые юристы определяют право именно так.

Итак, отрицательная и положительная свобода не исключают, а дополняют друг друга, причем, хотя положительная свобода выше по ценности, ее основанием является все же отрицательная свобода. Не имеющим свободы нужно добиваться именно отрицательной свободы, прежде чем она свободно сублимирует себя до степени свободы положительной (свободы служения).

В истории так получилось, что на Западе культивировалась преимущественно отрицательная свобода, свобода как право, в то время как положительная свобода служения была оттеснена на задний план. Свобода стала пониматься как привилегия, в ее от-

рыве от сознания нравственной ответственности, не говоря уже об ответственности религиозной — перед Богом.

Произошло это по ряду причин: прежде всего по причине упадка живой религиозной веры, а также вследствие подсознательного обожествления человеком своего гордого «я». Социальной проекцией этого индивидуализма явился либерализм, приведший к расцвету экономики и предпринимательства, но и к вопиющему социальному неравенству и несправедливости (я говорю, конечно, о XIX веке).

Реакцией на эти грехи либерализма явился социализм, сначала утопический, а затем так называемый «научный» (марксизм). В противовес индивидуализму и либерализму, социализм утверждает примат коллектива над индивидуальной личностью, что приводит неизбежно к подавлению личности коллективом, точнее, представляющей коллектив партией. А всякий коллективизм означает смерть свободы. Свобода стала подавляться во имя равенства. Однако и равенства, как мы знаем из практики, не получилось, воцарились лишь новые виды неравенства — «новый класс».

Вопрос о том, возможен ли «социализм с человеческим лицом», неправильно поставлен. Да, он возможен, но при условии, что социализм примет в себя значительную долю индивидуализма, т. е. перестанет быть социализмом в его чистом виде. Такой гуманитарный социализм фактически осуществлен в Швеции. Но там, хотя государство стало почти социалистическим, все же допускается и поощряется частная инициатива, так что экономика Швеции — капиталистическая, а не социалистическая.

Вообще термин «капитализм» в условиях нового времени устарел и не покрывает большей скрывающей за ним реальности.

Свобода частного предпринимательства на Западе осталась, но она находится под значительным госу-

дарственным контролем. И капиталисты действуют теперь не в одиночку, а объединяются в мощные корпорации. Государство, а также частные учреждения, ведающие социальным обеспечением, берут на себя заботу о платных отпусках, о больничном страховании, выплачивают пенсии престарелым, выдают пособия по безработице и так далее. Фактически современный капитализм есть «социал-капитализм», и в его условиях не только финансовой элите, но и широким массам живется гораздо лучше, чем, скажем, пятьдесят лет тому назад и, конечно, лучше, чем живет население подъяремных коммунизму стран. Объективно говоря, нужда в социальной революции давно отпала, и коммунистические лозунги о готовности оказать «братскую помощь рабочим и крестьянам Запада» — лицемерие чистейшей воды. И если коммунистическая пропаганда еще имеет кое-где успех, как, например, в Италии или во Франции, то это объясняется массово-психологическими, а более не социально-экономическими причинами. А Соединенные Штаты, Англия и скандинавские страны имеют прочный иммунитет против коммунизма.

Но вернемся к теме о свободе (это краткое социально-философское отступление было нужно для конкретизации темы).

Отрицательная свобода на Западе, в общем, достигнута. Но ее осуществление принесло не только неоценимые блага, но также и многие беды, прежде всего — не виданный ранее рост преступности. Не имея никаких моральных императивов и запретов, которые внушались бы с детства, слишком многие на Западе вступают на путь насилия — грабежей и убийств, — что представляется им наиболее легким путем к достижению повышенных материальных благ (минимальные блага они уже имеют).

Главная же причина роста преступности, по нашему мнению, лежит в иной, чисто психологической,

плоскости. Совершение преступлений дает современному преступнику ощущение искаженной самореализации, достигаемой через сознание своей власти над жертвой. Садизм — самый доступный несублимированный путь к повышению в собственных глазах значительности своего «я». И это искажение морального сознания не случайно. Моральный упадок и моральная неграмотность являются злоестественными плодами абсолютизации отрицательной свободы. Ибо отрицательная свобода не самодостаточна. Ее осуществление может тешить наше «я», но она не дает духовного удовлетворения, не дает исхода нашему сверх-«я». Поэтому, когда проходит опьяненность самим собой, отрицательная свобода оставляет в душах пустоту, требующую любого заполнения. Иначе носителей абсолютизированной отрицательной свободы гложет внутренняя пустота, дающая психологический эффект скуки. В свете этого становятся понятны те патологические пути, при помощи которых носители отрицательной свободы пытаются заглушить свою полусознаваемую внутреннюю неудовлетворенность: начиная с неумеренного злоупотребления сексом и отравления себя наркотиками и кончая садистическими преступлениями. Это всё — оргии неприкаянной свободы, ее судороги, заглушающие духовную неудовлетворенность, но лишь на короткое время, и лишь усугубляющие растущую раковую опухоль в душе.

В высшем плане эта отравленность отрицательной свободой нашла свое интеллектуальное проявление в философии экзистенциализма сартровского типа. Эта философия, в разбор тонкостей которой я не могу здесь входить (желающие могут прочесть главу о Сартре в моей книге «Трагедия свободы»), — исполнена одновременно отчаянием и гордыней, она есть «философия горделивого отчаяния».

Идею служения как «рабскую» Сартр отвергает и кончает призывом принять свою судьбу, творимую,

однако (полубессознательно), нами самими. Здесь горделивое «я» не хочет сойти с порочного круга самоутверждений, хотя вполне сознает свою «вброшенность в мир» и свою «приговоренность к свободе». Эта философия призывает не к резиньяции, а к героическому самоутверждению, но неизвестно — ради чего. Поэтому вполне оправдано сказать, что сартровский экзистенциализм есть утонченный интеллектуальный наркотик, не дающий духовного катарсиса. «Дух века» нашел в этой философии свое наиболее изысканно-яркое воплощение, в интеллектуальном плане, конечно. Это есть нищезанятие эпохи Декаданса, осложненное феноменологией Гуссерля и психоанализом Фрейда. Другое дело — христианский экзистенциализм, но изложение его в данной статье увело бы нас в сторону от темы.

Итак, и в практической жизни, и в философии Запада торжествует культ отрицательной свободы, что неизбежно заводит в духовный тупик и отравляет души.

В противовес этому, в России находит отклик скорее идея положительной, ответственной свободы служения. Вообще, потребность служения высшей идее — близка русской душе. (Я, конечно, не утверждаю, что Запад лишен высшей идеи, но это выражено на Западе менее сильно и менее характерно.) Русские люди — лучшие русские люди — вообще более склонны к самопожертвованию, чем более помещански осторожные люди Запада, и в большей степени способны переносить материальные лишения. Г. Федотов находил в этом — в частности, в народовольческом движении — черты неосознанных христианских добродетелей. И сколько мучеников христианства погибло в России, предпочитавших унижения и смерть отречению от Христа! Достаточно прочесть не мудрствующие, но исполненные мудрости сердца проповеди отца Дмитрия Дудко, чтобы представить себе условия, вопреки

которым он возвышает свой голос. Л. Толстой давно уже заметил, что русский героизм лишен всякой позы и ложного пафоса и исполнен духом смирения, при непоколебимом мужестве. И русская философия, в лице ее лучших представителей, зовет к служению высшей правде, а не к самоутверждению. Причем не к рабскому, а именно свободному служению. Коммунизм паразитически использует эту врожденную русскую жертвенность для своих антидуховных и античеловеческих целей.

Однако мне хотелось бы остановить внимание читателей также и на недостатках русского понимания свободы. Главный недостаток здесь можно охарактеризовать как недооценку роли отрицательной свободы, как стремление к положительной свободе, минуя свободу отрицательную. Это менее видно в философии (Лосский, например, утверждает свободу воли во всем ее объеме в своей одноименной книге). Но это чувствуется в жизни. Нельзя утверждать положительную свободу, не приняв риска свободы отрицательной. Это приводит к некоей принудительности служения, что подрывает свободу, — пусть не снизу, но сверху. Человечу нужно, по-видимому, пройти через искус отрицательной свободы со всеми ее соблазнами, прежде чем он вырастет духовно до сознания положительной свободы. Отрицательная свобода подлежит сублимации, а не отменению ее во имя свободы положительной. Нельзя разрывать живое тело свободы на два ее основных аспекта, хотя нужно строго различать эти аспекты. Путь к царству Божьему длиннее и труднее, чем это представляется многим даже высоким русским умам. Слишком стремительный скачок на небо может отомстить за себя падением и ударом о землю.

Обобщая, можно сказать, что русское понимание свободы движется в основном в правильном направлении, но в нем есть также существенные изъяны.

Бросим еще краткий взгляд на историю и судьбы свободы в недавнем сравнительно прошлом: в XIX и начале XX века.

Ко второй половине XIX века могло казаться, что идея свободы медленно, но верно находит себе все более богатое воплощение и завоевывает новые сферы. Но для XIX века характерно и некое измельчание свободы, если можно так выразиться, ее «мещанизация». Однако общее духовное благополучие этой эпохи было лишь поверхностным. В недрах коллективного подсознания Запада зрели новые разрушительные силы, которые прорвались наружу вскоре после конца первой мировой войны в форме фашизма и национал-социализма. Их ложные идеи, отрицавшие свободу ради новой властости, быстро обросли агрессивным телом, что привело ко второй мировой войне. В случае Германии — уязвленное неудачной войной самолюбие воинственного и гордого народа, вкупе с инфляцией и ростом безработицы в Веймарский период, создали благодатную почву для проповеди национал-социализма с его безумными мифами о сверхчеловеке-вожде и о германской расе, призванной к владычеству над миром. Психолог Эрих Фромм прав в том, что здесь имело место некое подсознательное «бегство от свободы», — ради национального самовозвеличения и чувства социальной обеспеченности, ради своего твердого места под солнцем. Эти новые комплексы оказались чрезвычайно мощными — не забудем, что национал-социализм был побежден лишь коалицией трех мировых держав, притом кровавой ценой.

С утратой свободы в большевизме дело обстоит совсем иначе. Ведущую роль здесь играла прельщенность большей части политически неграмотного народа утопией «рая на земле», наивная вера в то, что народная, якобы, власть установит новый справедливый строй. И это — на фоне веками накапливавшегося

рессентимента низших слоев населения против «господ». И то, не будь кровавой и неудачной войны, революция вряд ли произошла бы.

Народ, как во времена Пугачева, мечтал о «воле» (не о свободе) — и получил, по законам диалектики, самую горькую неволю, а мечта о земном рае воплотилась земным адом.

Во всяком случае, в обоих вариантах свобода была утрачена и заменена новым рабством. И этот закат свободы в России оказался настолько мучительным и длительным, что зари нового дня еще не видно, хотя за последнее время на горизонте стали мелькать некие проблески.

В целом, можно сказать, что русский дух вдохновлялся более идеей правды Божией на земле и менее — идеей свободы. Но правду нельзя механически отделять от свободы, и стремление к правде несет в себе и потенции свободы.

В противоположность этому, американский дух исполнен пафоса свободы, идея же правды как высшей справедливости, хотя и не чужда американскому духу, однако не стоит в его центре. Русский дух был поэтому склонен видеть в свободе скорее инструментальную ценность, чем самоценность. О том, что это — заблуждение, мы уже говорили.

Что касается американского духа, — мы отнюдь не утверждаем, что он глух к зову высшей справедливости. Наоборот, американцы более, чем какая-либо иная нация, щедро откликались на призывы о помощи, и Америка за последние десятилетия много сделала для устранения социальных несправедливостей. Но что американцы более вдохновляются пафосом свободы, чем этосом служения высшей правде, — в этом вряд ли может быть сомнение. Именно поэтому американский дух склонен к релятивизации истины (прагматизм!), тогда как русский ум более догматичен. Но идея свободы, особенно свободы внутренней, духов-

ной, близка русскому духу. Недаром едва ли не самое глубокое, что было сказано о свободе и в ее защиту, исходило от Достоевского, который в своей «Легенде» навеки осудил духовное рабство. А такой почти гениальный мыслитель, как Бердяев, с правом был назван «философом и рыцарем свободы».

Правда и свобода, хотя и отличны друг от друга, все же связаны друг с другом незримыми нитями. Поэтому борьба за правду есть также и борьба за свободу, и борьба за свободу ведет к правде.

Союз русского и американского духа мог бы создать гармонический синтез, в котором истина и свобода заняли бы подобающие им верховные места.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ХРОНИКА»

в 1977 году

«Хроника текущих событий» (Самиздат), Москва. Вып. 42, октябрь 1976 г. Цена — 4.50. Вып. 43, декабрь 1976 г., цена — 5.00. Вып. 44, март 1977 г., цена — 5.00. Вып. 45, май 1977 г., цена — 5.00.

«Хроника защиты прав в СССР», под редакцией В. Чалидзе, Э. Клайна, П. Литвинова, Нью-Йорк. 4 выпуска в год, годовая подписка — 15.00.

КНИГИ И БРОШЮРЫ

Валентин Турчин. Инерция страха. Цена — 10.00

Валерий Чалидзе. Уголовная Россия (Очерки преступности в СССР). Цена — 12.00

Михаил Лунин, декабрист. Сочинения и письма. (Перепечатка с книги 1923 года с добавлениями.) Цена — 10.00

«Владимирская тюрьма». Сборник статей и документов. Сост. В. Буковский. Цена — 4.50

Инициативная группа защиты прав человека в СССР. Сборник документов. Цена — 3.00

Дело Айриkyяна. (Документы суда и заявления в защиту армянского политзаключенного Айриkyяна.) Цена — 2.00

Е. Гнедин. «Из истории отношений между СССР и фашистской Германией». Документы и современные комментарии. Цена — 3.00

Сборник документов Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Вып. 1 — 5.00. Вып. 2 — 5.00. Вып. 3 — 5.00

В ПЕЧАТИ

А. Некрич. «Наказанные народы».

А. Подрабинек. «Карательная медицина».

М. Иоффе. «Одна ночь». (Мемуары бывшей политзаключенной).

П. Григоренко. «Наши будни». (Сборник статей)

«Память». Исторический сборник. Вып. 1.

Цены указаны в долларах. За доставку авиапочтой: добавочно 2.00 за книгу и 1.00 за брошюру.

Заказы и чеки направлять по адресу:

**Khronika Press
505 8 Ave
New York, N. Y. 10018
U. S. A.**

Восточноевропейский диалог

*ДВЕ СТАТЬИ Т. ЖЕНКЛИСА**

Мысль о том, что работы литовского самиздатского автора Т. Женклиса (псевдоним) должны стать доступными не одним лишь литовским читателям, что их необходимо перевести на русский и, по возможности, на другие языки, возникла у меня при чтении статьи «Чего мы ждем от эмиграции?». Привлекла меня эта статья не только, и даже не столько несомненной актуальностью темы, — кто сейчас не спорит о духовном назначении и политической роли эмиграций из коммунистических стран! — сколько специфически прибалтийским на нее взглядом — взглядом, который мне представляется и уникальным, и общезначимым в одно и то же время.

Известно, что осуществленная по сговору с Гитлером оккупация Прибалтики Советским Союзом в 1940 году юридически не была признана ни одной западной державой. Единственные государства свободного мира — Австралия и Новая Зеландия, — которые в бытность там у власти социалистов признали было Литву, Латвию и Эстонию советскими республиками, аннулировали это свое признание сразу же после выборов, приведших к образованию нынешних правительств этих стран. Таким образом, за границей продолжают существовать государственные организации всех трех прибалтийских стран, правительствами Запада официально признающиеся представителями законной государственности Литвы, Латвии и Эстонии. Послы этих трех, в прошлом независимых, республик до сих пор аккредитованы при правительствах большинства крупных государств Запада, включая США, Великобританию и др.

В этом отношении прибалтийская эмиграция находится в исключительном положении, ибо, в отличие от остальных эмиграций, имеет возможность считать себя юридически полномочной представительницей своих народов. Это обстоятельство глубоко укоренено в сознании и самих прибал-

* Обе статьи публикуются в сокращенном переводе. — Ред.

тийских народов, внутренне никогда с оккупацией не сми-
рившихся и постоянно живущих надеждой на восстановле-
ние своей государственной независимости. Для литовцев
(как и для латышей или эстонцев) естественно поэтому рас-
сматривать свою эмиграцию в качестве полноправного хра-
нителя и выразителя их политических и духовных традиций,
а также национальных чаяний и целей.

Мне представляется, что идеи Т. Женклиса о народе
в стране и об эмиграции как о функционально различных
и одновременно нераздельных элементах единого националь-
ного организма, живущего подготовкой к грядущей свободе,
идеи, столь естественные в литовском контексте, способны
пролить свет и на некоторые актуальные проблемы суще-
ствования и деятельности других эмиграций, в частности, —
русской. Особенно важным кажется мне то, что Т. Женклис
главное предназначение эмиграции видит в создании и даже
в воплощении ею политической альтернативы нынешнему
режиму страны, что решающую роль он признает, таким
образом, за политическим аспектом деятельности эмигра-
ции, то есть именно за тем ее аспектом, который слишком
многие эмигранты, в том числе и последней волны, всяче-
ски стремятся обойти по причинам, не всегда понятным.

Статья Т. Женклиса об эмиграции является развитием
и продолжением его предыдущей статьи, посвященной памя-
ти долголетнего первого секретаря ЦК КП Литвы А. Ю.
Снечкуса. Последняя вызвала довольно резкую отрицатель-
ную реакцию со стороны отдельных органов литовской
эмигрантской печати. В частности, выходящая в Кливленде
(США) консервативная газета «Дирва» («Почва») в мате-
риалах за подписью «Антиженклис» обвинила Т. Женклиса
в том, что он пытается «героизировать» Снечкуса, придавая
личности этого «обыкновенного холуя Москвы» некую исто-
рическую значимость и даже респектабельность. Статья
«Чего мы ждем от эмиграции?» была написана Т. Женкли-
сом именно в качестве ответа на критические выступления
Антиженклиса по поводу этой предыдущей статьи, в силу
чего последняя должна быть также представлена на суд
читателя. Тем более, что эта, посвященная памяти Снечкуса,
статья Т. Женклиса не лишена и определённого самостоя-
тельного интереса. Ведь в ней автор, который, по-видимо-
му, неплохо знал Снечкуса лично, рассматривает этого круп-

ного партийного работника как бы изнутри его же круга, но при этом не с официальных позиций, а со своей подлинной точки зрения, более того, — с точки зрения национальных интересов Литвы, какими они ему представляются. Такое, надо сказать, в неподцензурной литературе бывает не часто.

Поскольку Т. Женклис не пожелал подписаться подлинным именем, то, естественно, перед читателем встанет вопрос, кто же скрывается под этим псевдонимом. Единственное, что в этой связи ясно, это то, что автор живет и работает в Литве, что ни с какими диссидентскими кругами он не связан и, наверное, вообще не стал бы «публиковаться» в самиздате, если бы не возникшее в связи со смертью Снечкуса желание написать «непредвзятый некролог».

То обстоятельство, что Т. Женклис — типичный литовец советской формации, придает написанному им особый интерес. Его статьи свидетельствуют о подлинных настроениях в Литве, даже среди ее наиболее «советизированных» слоев, и показывают, что за 30 лет оккупации захватчикам ни в малейшей мере не удалось искалечить душу литовского народа, отучить литовцев от национально-здорового образа мышления, истребить их убежденность в том, что естественным уделом их родной Литвы является свобода.

А. Штромас

Т. Женклис

ПРОЩАЯСЬ С АНТАНАСОМ СНЕЧКУСОМ

«22 января 1974 года на семьдесят втором году жизни внезапно скончался Антанас Снечкус». Эти слова официального сообщения были переданы вечером того же дня по Вильнюсскому и Московскому радио и на следующий день напечатаны почти во всех газетах Советского Союза. Спустя еще день, в газетах появился и некролог, подписанный в числе других всеми членами Политбюро и секретарями ЦК КПСС...

Со смертью Антанаса Снечкуса завершается целая эпоха в истории советской Литвы. Всё, происходившее здесь за последние тридцать с лишним лет, связано с именем этого человека. Снечкус был как бы неотъемлемым атрибутом советского строя в Литве, его личностным воплощением. Оккупированную Литву даже трудно себе без него представить.

Быть может, именно из-за такого отождествления Снечкуса с политической структурой оккупированной страны его личность и роль не привлекли к себе достаточно серьезного внимания. Для одних он был всего лишь национальный предатель № 1, главный подручный оккупантов; для других — просто хозяин (в близком окружении его иначе и не называли); для третьих — а их в Литве, пожалуй, большинство — он был и тем, и другим. Но столь упрощенные оценки не вскрывают сути этой отнюдь не заурядной личности.

1. Юность «хозяина»

Антанас Снечкус родился в 1903 г. в день праздника Трех волхвов в селе Бубляляй близ города Шакай. Его родители были богатыми землевладельцами. Им принадлежало более сотни десятин плодородной сувалькийской земли. В начале первой мировой войны вся семья была эвакуирована в Воронеж, где Антанас учился в литовской гимназии. Четырнадцать лет он встретил там русскую революцию 1917 года... Он уже тогда включился в революционное движение школьников, где и получил первые уроки организационной работы и конспирации...

В Литву вся семья вернулась в 1919 г. ...Первый шаг Снечкуса по прибытии на родину — попытка уговорить родителей создать на своей земле коммуны с вовлечением в нее всех окрестных хуторян. Убедившись, что дома отнюдь не разделяют его революционных намерений, он покинул родителей и начал само-

стоятельную жизнь. В 1920 г. он вступил в КПЛ и вскоре стал руководителем ее Алитусского комитета. С этого времени в партии и появился «товарищ Матас» — под этим псевдонимом Снечкус был известен партии на протяжении всех 20 лет подполья.

В том же 1920 г. Снечкус был впервые арестован, как гласило обвинение, за подрывную антигосударственную деятельность. Но благодаря поручительству брата, занимавшего видный пост в системе юстиции, он был выпущен до суда на волю. Суда он дожидаться не стал и, по решению партии, уехал в Москву, где учился и одновременно работал в Коминтерне. Снечкусу удалось приобрести доверие руководителей Литовской секции Коминтерна и вскоре он стал членом ЦК КПЛ.

2. Во главе партии

В конце 1926 г., сразу же после Сметоновского государственного переворота*, «товарищ Матас» нелегально возвращается в Литву и заменяет расстрелянного тогда же руководителя подпольной КПЛ Каролиса Пожелу. В двадцать четыре года Снечкус фактически становится во главе литовской компартии. С этого момента и до последнего дня своей жизни, то есть сорок восемь лет подряд, Снечкус был бессменным главой партии — абсолютный рекорд во всем мировом коммунистическом движении.

Дальнейшие вехи биографии Снечкуса таковы:

в 1930 г. он был арестован, в 1931 — приговорен к 15 годам каторги, но вскоре обменян на арестованного

* 17 декабря 1926 г. силами литовской армии был совершен государственный переворот, свергший правительство блока левых партий: народников (ляудининков) и социал-демократов и приведший к власти правую партию националистов (таутининков) во главе со Сметоной и Вольдемаросом. Сметона и его партия стояли у власти вплоть до 1940 г. (Здесь и далее — примеч. переводчика.)

в Москве литовского священника; нелегальное и, вероятно, спасшее ему жизнь возвращение в Литву в 1935 г. и новый арест в 1939 (в 1940 г. его вновь приговорили к 8 годам каторги) завершились тем, что в первые же дни оккупации 1940 года Снечкус был назначен на пост директора департамента госбезопасности формально еще независимой Литвы (в служебный кабинет он явился прямо из тюрьмы Девятого форта, где сидел в те дни); в феврале 1941 г. на V съезде КП(б) последовало официальное избрание его Первым секретарем ЦК Литовской компартии, уже ставшей частью ВКП(б).

Антанас Снечкус по-своему уникален и в этом — ни в одной советской республике, ни в одной стране коммунистического блока к 1974 году не осталось человека, который бы продержался у власти еще с довоенных времен...

Биография Снечкуса доказывает, что, в отличие от большинства нынешних руководителей в СССР и в других странах блока, он ни в коей мере не был карьеристом. Наоборот, он добровольно отказался от обеспеченной жизни, от перспектив блестящей карьеры в независимой Литве, предпочтя этому опасную жизнь коммуниста-подпольщика. Отказался он и от благоустроенной семейной жизни. Его жена Мира Бордонайте, тоже активная коммунистка, провела, как и он, много лет по разным тюрьмам. Первый их сын родился лишь в 1945 году — они оба были тогда в том возрасте, когда иные люди уже имеют внуков.

Еще в 1931 году мать, навестившая Снечкуса в тюрьме, предложила записать на его имя всё весьма значительное состояние их семьи, если Антанас согласится подать прошение о помиловании. (В независимой Литве такое прошение подлежало безусловному удовлетворению, рассматривалось как раскаяние, и поэтому компартия считала подачу такого прошения несовместимым с членством в партии. — Прим. пер.)

Это предложение Антанас, конечно же, отклонил. В 1940 г. мать навестила Снечкуса в Каунасе, в роскошной квартире секретаря ЦК, и отказалась там поселиться, сказав: «Ты не хотел быть барином, и всё равно стал им». Больше она с Антанасом никогда не встречалась и скончалась в эмиграции, не желая жить под властью, во главе которой стоял ее сын. Не удалось ей больше увидеть и другого сына: своего старшего брата Снечкус сослал в 1940 г. в Сибирь, откуда тот никогда уже не вернулся.

Да, Антанас Снечкус был человеком принципиальным, до конца преданным делу коммунистом, для которого судьбы отдельных людей — даже самых близких — не стоили ровно ничего... Он безжалостно принимал решения о расправах с самыми лучшими друзьями и соратниками, если выяснялось, что они в чем-то проявили слабость. Нюансов в отношении к людям он не признавал. Для него существовали только друзья или враги его дела...

3. Первые годы власти

Думаю, что Снечкус до конца жизни оставался убежденным коммунистом. Но, вместе с тем, его убеждения, по-видимому, со временем отходили всё дальше от обожествления советской действительности. Дело в том, что в Снечкусе как-то очень своеобразно сочеталась неколебимая преданность идее с типичными для сувалькийского землевладельца практицизмом, хозяйственной сметкой, твердостью в отстаивании своей деловой выгоды... Видимо, не без влияния этих качеств с течением времени в деятельности Снечкуса всё более выявлялась национальная ориентация, защита специфических интересов Литвы, благосостояния ее населения...

В первые послевоенные годы Снечкус, как и перед войной, был неумолим. Жестокие расправы с партиза-

нами (приготовленные для них виселицы возвышались в любом городке и никогда не пустовали), массовые депортации литовцев в Сибирь стараниями Снечкуса осуществлялись быстро и безжалостно. Я помню, как в те времена он резко осуждал в частных разговорах Палецкиса* за его интеллигентскую мягкотелость, за его некоммунистическое, народническое нутро. Палецкис в силу своих возможностей всегда старался помогать жертвам репрессий, но результаты его усилий были, конечно, ничтожны.

Помню и проповедь Снечкуса о том, что на футбольных матчах нам следует «болеть» за русские команды, а не за свою литовскую, ибо победа русских на футбольном поле лучше, чем что бы то ни было, способна научить литовцев уважать «старшего брата» и тем самым поверить в достижения советской власти во всех областях жизни. Это было, кажется, в 1946-м или 47-м году, но уже в начале 50-х годов он сам на стадионе «болел» за вильнюсский «Спартак», позднее не без его инициативы переименованный в «Жальгирис» (так по-литовски называется Грюнвальд, где литовцы одержали решительную победу над крестоносцами в 1410 г. — Прим. пер.), а сразу же после смерти Сталина (еще в 1953 году) Снечкус говорил, что теперь намного легче станет дышать и работать и что можно будет гораздо больше сделать для Литвы, чем при Сталине.

Характерно, что в первые послевоенные годы в Литве уничтожалось всё, что имело отношение к нашему прошлому. Многие помнят тревожную ночь в Каунасе в 1946 г., когда весь город проснулся от взрывов. Это уничтожали комплекс памятников в сквере Военного Музея. Памятник независимости был

* Юстас Палецкис — либеральный журналист и поэт. В 1940 г. заменил Сметону на посту президента Литвы. Затем был много лет Председателем Верховного Совета Литовской ССР. Ныне — член Союза Писателей. Пенсионер.

тогда заменен статуей В. Мицкявичуса-Капсукаса, а могила Неизвестного Солдата — бюстом Ф. Дзержинского... Ничего подобного не совершалось тогда ни в Латвии, ни в Эстонии. В центре Риги и поныне стоит статуя Свободы... И странным кажется, что всего через десять лет после этого Снечкус получил нагоняй от Хрущева за реставрацию Тракайского замка!..

Итак, поначалу Москва и мечтать не могла о более ретивом исполнителе ее воли в Литве, ибо Снечкус служил ей не за страх, а за совесть. Он был верен своим принципам и тогда, когда безжалостно истреблял «врагов народа», и когда взрывал памятники, и когда силой коллективизировал литовскую деревню. Он был искренен и тогда, когда писал в 1949 году свою книгу о Сталине — «Великий друг литовского народа» — и закончил эту книгу такими словами: «Литовский народ будет вечно благодарен Великому Сталину за руку помощи, протянутую ему в 1940 году». Снечкус был, безусловно, фанатик; убеждения его были антинациональны, а действия — преступны, но предателем его трудно назвать.

Именно то, что он был верующим коммунистом, обошлось литовскому народу куда дороже, чем обошелся бы ему какой-нибудь карьерист. Известно, что самыми опасными и кровавыми людьми в истории оказываются именно те, кто искренне и последовательно служат абстрактным идеям, стремясь приспособить к ним живых людей. Достаточно вспомнить Торквемаду и Савонаролу, Кальвина и Робеспьера, Ленина и Гитлера.

4. Самостоятельность политической игры

Советская действительность идейному человеку не благоприятствует. Искренний коммунист в СССР обречен — как и любой другой человек, пытающийся жить в соответствии со своими убеждениями, какими

бы они ни были. Выживают лишь приспособленцы. Фанатичный Снечук оказался достаточно практичным, чтобы стать гибким политиком, который, не раскрывая себя до конца, использует обстоятельства в своих собственных целях. И во имя осуществления таких своих идейно-политических целей он сумел свести свою негибкую принципиальность к терпимой для советских условий норме... А кроме того, он всё же был литовцем, и это сыграло свою роль в развитии его идейных установок.

Видимо, первое серьёзное столкновение с Москвой произошло у Снечука в 1949-50 годах, когда ему пришлось защищать от преследований своих друзей по подполью — старых литовских коммунистов.

Литва — это, пожалуй, единственная республика, которая не знала репрессий против старых партийцев; в ней даже не было ни одного необоснованно обвинённого и арестованного коммуниста с партийным стажем, восходящим ко временам независимости (если, конечно, не считать тех, кто оказался в 37-39 годах в России и там попал в руки Сталина и Ангаретиса). Скорее всего, именно в этот период, т. е. на рубеже 40-50-х годов, политика Снечука постепенно становится всё более национально ориентированной. Была она весьма многогранной: укрепление и использование сильных связей в Москве (прежде всего, прочная личная дружба с Сусловым, который в 1945-1946 годах руководил бюро ЦК ВКП(б) по Литве и жил в Вильнюсе); подчинение своему влиянию присланных из России вторых секретарей ЦК КПЛ (очень хорошо ему это удалось с Исаченко и Трофимовым, труднее было с Шарковым, но в результате последнему пришлось покинуть Литву); искусный подбор кадров аппарата по принципу личной преданности и слепой исполнительности; фактический саботаж многих поступающих из Москвы директив при видимости их тщательного исполнения (такие, например, кампании, как

внедрение кукурузы или расширение посевных площадей за счет пастбищ); упорное стремление добиваться для Литвы дополнительных привилегий и поблажек (одним из важнейших аргументов здесь служила необходимость доказать многочисленной литовской эмиграции, что советская Литва действительно процветает). Снечкус, среди прочего, добился права на выделение в личное пользование колхозного двора гектара общественной земли под выращивание одной беконной свиньи, идущей на экспорт и подлежащей обязательной сдаче государству. И то, что на сегодняшний день Литва сохранилась как одна из наиболее национально-компактных республик (свыше 80% населения — литовцы); что развитие промышленности в Литве осуществлялось более или менее равномерно, без нанесения существенного ущерба природе или непоправимого загрязнения окружающей среды; что сельское хозяйство республики остается продуктивным, а обеспечение населения происходит на более высоком уровне, чем в других республиках; что в литовских школах изучают не только Донелайтиса, но также Басанавичуса и Майрониса*, — всё это в какой-то степени результат национальной ориентации в политике Снечкуса.

Как бы тяжело и угрюмо ни жилось в Литве, в СССР ее считают республикой, сумевшей лучше других сохранить свои традиции и сравнительно дальше других продвинуться на пути модернизации.

5. В роли «хозяина»

Успешно проводить такую политику Снечкус мог лишь потому, что ему удалось подчинить своему то-

* К. Донелайтис (1714-1780), поэт, родоначальник современной национальной литературы; его творчество относится к периоду до включения Литвы в состав Российской империи (1795 г.). Й. Басанавичус (1851-1927), А. Майронис (1862-1932) — классики литовской литературы, борцы за национальную самостоятельность Литвы.

тальному контролю всё, что происходило в жизни, республики, — он действительно стал единовластным ее хозяином. Интересен следующий эпизод: когда Хрущев дал известное указание о внедрении по всей стране посевов кукурузы, группа литовских агрономов во главе с профессором Васионаускасом написала Хрущеву большое письмо, в котором обосновывалась невозможность применения этого указания к Литве. Помню, в какую ярость пришел Снечкус, когда ему сообщили об этом письме. Конечно, по существу он был согласен с письмом, и ярость его была вызвана отнюдь не его содержанием. Но авторы письма, не согласовав дела с ним, портили ему политическую игру. Состояла она в том, чтобы, дисциплинированно откликнувшись на хрущевскую директиву, засадить кукурузой поля вблизи проезжих дорог, а весь остальной земельный массив сохранить в прежнем виде, включая и осужденные партией севообороты. Письмо же Васионаускаса со товарищи привлекло к Литве повышенное внимание Москвы, и это помешало Снечку маневрировать свободно. В тесном кругу он называл авторов письма «вредителями-несмышлениками», а официально настоял на исключении их из партии и смещении с должностей. После падения Хрущева Снечкус позаботился о немедленном восстановлении Васионаускаса и его коллег в партии и в должностях, объяснив им, сколь наивно и пагубно они поступили, обратившись в Москву через его голову.

Совершенно иначе реагировал Снечкус на письмо протеста, написанное литовскими деятелями культуры по поводу строительства нефтеперерабатывающего комбината под Юрбаркасом, что грозило необратимым загрязнением Немана. Говорят даже, что он сам был тайным инициатором этого письма, ибо оно помогало ему аргументировать перед Москвой собственные возражения на сей счет. Строительство было свернуто, к нему никогда более не возвращались.

Заслуживает внимания также и борьба Снечкуса против присоединения к Литве Кенигсбергской (Калининградской) области. Нет надобности объяснять, какой урон могло причинить Литве это присоединение — как в экономическом, так и в национальном отношении.

Московские руководители часто бывали недовольны Снечкусом и много раз собирались заменить его кем-либо другим, менее самостоятельным, но ничего из этих намерений не получалось. Перед каждым очередным съездом КПЛ Снечкус распускал слухи, что на сей раз он обязательно выйдет в отставку. И в республике поднимался переполох: ...«Что будет с нами без Снечкуса?». Эта паника по каналам КГБ доходила до Москвы, и московские друзья Снечкуса получали возможность добиться для него еще одного секретарского срока. «Хитер, как лиса», — говорили в Литве про Снечкуса, узнав, что он в очередной раз остался на посту первого секретаря. И с облегчением вздыхали: «Будем жить, как жили». Литовский народ на опыте многих лет усвоил, что в условиях оккупации Снечкус в конце концов стал оптимальным руководителем республики, наилучшим посредником между нею и Москвой. За это в Литве очень ценили Снечкуса; многие даже говорили, что Литва породила двух выдающихся государственных мужей: Витаутаса Великого и Антанаса Снечкуса.

Когда гроб с телом Снечкуса предавали земле, каждый живущий в Литве литовец мысленно принимал участие в этих похоронах. И если не боль утраты, то озабоченный вопрос — «какова-то теперь будет наша жизнь?» — не давал покоя всем. Не перестает волновать он и сегодня. Воистину, дай Бог Петрасу Гришкявичасу* быть достойным своего предшественника.

* П. Гришкявичус — нынешний первый секретарь ЦК КПЛ.

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ ЭМИГРАЦИИ?

(Открытое письмо газете «Акирачай»)

Уважаемые «Акирачай»!

Совсем недавно я узнал о том, что статья, написанная мною по поводу кончины Антанаса Снечкуса, дошла до вас и была вами напечатана. Из того же источника мне стало известно, что статья эта получила некоторый отклик в эмигрантской печати. В частности, до меня дошла своеобразная контрстатья, напечатанная в газете «Дирва» и подписанная псевдонимом Антиженклис. Она-то и вызвала у меня острое желание написать вам, но на тему гораздо более принципиальную, чем та, по которой Антиженклис спорит со мной. Эта тема, или, если угодно, проблема, — и сформулирована в заголовке данного письма...

По сути дела между моей позицией и позицией моего антипода (Антиженклиса) разницы нет. Различаемся же мы лишь в одном — в том, что для меня проблема начинается именно на том месте, где Антиженклис, как бы исчерпав проблему, ставит точку. Беда тут в том, что у Антиженклиса всё окрашено только в два цвета: черный и белый. Оккупация — зло, Снечкус — сообщник и слуга оккупантов, о чем же здесь еще и рассуждать? Мажь черным — и будешь прав. Для тех же, кто проявляет национальную зрелость и в состоянии противопоставить себя оккупантам, предназначается белая кисть. И всё. Что сверх того — от лукавого... Однако исчерпать все проблемы только в пределах двух этих противоположных цветов я не могу. Для меня оккупация — не абстрактная

отрицательная величина, она — будни, быт, самое общее условие моего повседневного существования. Поэтому я оцениваю Снечкуса не абстрактно, а пределах именно этих, заранее заданных нам условий существования. Они не зависят ни от Снечкуса, ни от меня, ни от всех нас, вместе взятых. А вот — останется ли в этих условиях что-нибудь от Литвы? Будет ли наша земля истощена чужеродными ей сельскохозяйственными культурами, вроде кукурузы и кок-сагыза, или севообороты позволят ей сохранить плодородие? Уничтожат ли нашу природу нефтеперерабатывающими комбинатами или она дотянет до лучших дней в неприкосновенности? Сохранимся ли мы сами на своей земле как национальная общность или будем до конца колонизированы? Будем ли мы жить лучше или труднее? Вот это зависит и от Снечкуса, и от его преемников, и в какой-то мере от каждого из нас. И все эти обстоятельства не могут не иметь решающего влияния на нашу оценку отдельных людей, событий и ситуаций...

Должен сказать, что такого отрыва от забот страны, от ее психологии, какой проявился в статье Антиженкиса, я от представителя нашей эмиграции попросту не ожидал. Мы в Литве вообще плохо знакомы с жизнью эмиграции. За отсутствием достаточной информации мы вынуждены сами создавать образ эмиграции, во многом вымышленный. Этот образ, в сущности, включает в себя то, чего мы от эмиграции ожидаем или что сами хотели бы делать, оказавшись в эмиграции...

Наступило время заменить иллюзии знанием. Именно с этой целью я и попытаюсь изложить здесь наше представление о роли эмиграции — собственно, сформулировать, чего же мы от эмиграции ждем, — а вы, в свою очередь, сообщите нам, насколько эти представления соответствуют действительности.

Прежде всего, народ в стране и эмиграция — это единство, взаимодополняющие части одного организма. Основная функция народа в оккупированной стране носит «консервационный» характер. Мы являемся плотью нации и в первую очередь должны заботиться о том, чтобы остаться в живых и по возможности сохранить свою монолитность и здоровье. Это весьма многосторонняя функция: помимо материальных элементов — людей, земли, других богатств страны, — немаловажная роль в ней принадлежит элементам духовным: языку, традициям, образованию, жажде свободы. «Консервация», кроме того, означает не только сохранение, но и развитие всех этих начал в той мере, в какой это позволяют условия и допускает Бог, не ставя при этом под угрозу само физическое существование нации.

В выполнении этой миссии эмиграция может оказать нам весьма существенную помощь. Однако гораздо более важно, чтобы эмиграция сосредоточила свое внимание на тех задачах, которые для нас самих невыполнимы. В первую очередь я имею в виду сохранение нашей органической политической структуры и такое постоянное ее развитие, чтобы эта структура могла в любой момент послужить альтернативой нынешнему режиму и тому состоянию политической летаргии, в которое он вверг наше общество. Я говорю здесь о политической структуре в самом широком смысле этого слова, включая в него и свободную культуру, и свободную печать, и, разумеется, свободные политические организации. Только эмиграция может сегодня пестовать живую национальную душу, поддерживать ее в состоянии постоянной готовности в подходящий момент естественно слиться с костяком народа в своей стране. В этом и состоит, по нашему мнению, основная функция эмиграции как органической части своего народа.

В целом у нас создалось впечатление, что эмигра-

ция эту функцию выполняет. Это подтверждается злобными выпадами советской печати против «окопавшихся в эмиграции политических трупов и их безнадежных усилий повернуть вспять колесо истории», «всячески вредить советской Литве» и т. д. Однако конкретной информации нам не хватает... В частности, нам совершенно неясно, в каком объеме организация литовской государственности продолжает существовать за границей, каковы ее постоянные задачи и рамки деятельности... Нет у нас полной информации о дипломатической службе Литвы, упоминаемой чаще других государственных органов по радио и в печати, о Вселитовском Комитете Освобождения (ВЛИК). Является ли он моделью Литовского сейма или же действующим в изгнании правительством страны? Какова его повседневная деятельность, решением каких проблем он занимается? Почему он постоянно подвергается критике на страницах вашей газеты «Акирачай»?...

Мы склонны верить, что государственные органы Литвы за границей внимательно следят за ходом развития нашей страны, что они формулируют обоснованные политические установки в отношении текущих событий как в Литве, так и во внешнем мире; иначе говоря, что они достойно и со знанием дела представляют свободную Литву в свободном мире... Мы не доверяем утверждениям советской пропаганды, что наши представители за границей застряли на уровне 1940 года и ограничиваются лишь стремлением к простому восстановлению того, что безвозвратно ушло в прошлое и практически невозстановимо...

Мы слышали о существовании в эмиграции различных литовских политических партий, имеющих собственные органы печати и собирающихся на общие форумы. Нам хотелось бы знать, какие вопросы, волнующие страну, обсуждаются на этих форумах, какие позиции возникают при их обсуждении, как они фор-

мулируются. Это важно для нас, ибо мы хотели бы сравнить их с тем, что сами шепотом обсуждаем в кругу близких и доверенных людей.

Назову вкратце те вопросы, которые кажутся нам актуальными и вызывают у нас множество споров. Это, во-первых, вопрос о гражданстве: кого можно будет считать гражданином будущей независимой Литвы? Вопрос о структуре сельского хозяйства Литвы. Вопрос о судьбе той промышленности, для которой в Литве нет ни сырьевой базы, ни рынков сбыта. Вопрос о роли Церкви в будущей Литве. Вопрос о Восточной Пруссии, о будущих отношениях с соседними государствами — в частности, с Россией, Польшей и Германией; о месте Литвы в Европе и мире; о тех тенденциях в народе, на основании которых у нас могли бы образоваться разные политические партии.

Обсуждаем мы и вещи более конкретные: скажем, вопрос о политических деятелях, которые смогли бы сплотить нацию вокруг себя. Увы! — ответить на этот вопрос, как и на все конкретные вопросы, гораздо трудней, чем на более общие. К тому же, нам плохо известны имена, популярные в эмиграции...

Почему мы так полагаемся на эмиграцию?

Во-первых, потому, что на Западе существуют условия для свободного обмена мнениями по всем этим вопросам, равно как и свободный доступ к информации.

Во-вторых, потому, что эмиграция организована и обладает кадрами профессиональных политических деятелей, не может не обладать, поскольку существуют официально функционирующие за границей государственные органы.

Третье и очень важное обстоятельство связано с теми надеждами, которые мы возлагаем на литовскую молодежь, выросшую в демократических условиях Запада. Эта молодежь, как нам кажется, может внести

в нашу политическую культуру западный опыт — в частности, столь необходимый нам дух терпимости.

В-четвертых, будучи свободными представителями нашего народа, эмигранты и их организации могут налаживать связи со свободными же представителями других народов СССР и Восточной Европы; подобные связи позволяют заложить основы для лучшего взаимопонимания, для нахождения общих позиций, более того — для совместных действий по достижению единой для всех нас цели в настоящем и по установлению основ добрососедских отношений между нашими странами в будущем.

В-пятых, сегодня в эмиграцию вливается новая кровь — появляются люди, хорошо знакомые с современным положением в стране, обладающие достаточной эрудицией и заинтересованностью, чтобы включиться в политическую деятельность эмиграции.

В заключение хотелось бы сказать еще несколько слов об освободительной работе, которую вроде бы ведут наши эмигрантские организации. Нам непонятно, как вы толкуете само это понятие — «освободительная работа». Означает ли это создание подпольных организаций сопротивления на территории самой Литвы? Мы деятельности таких организаций не ощущаем и, надо признаться, не слишком этим опечалены. Слишком много уже было пролито крови, число жертв составило около трети всей нации, а каковы результаты? Имена погибших героев? Славные страницы истории сопротивления? Но во имя этих целей вряд ли следовало терять столько человеческих жизней. Историю уже не исправить, но извлечь из нее урок — необходимо. И урок этот кажется весьма наглядным: собственными силами нам от советского тоталитаризма не избавиться, как не могли от него избавиться ни восточные немцы, ни венгры, ни поляки, ни чехи со словаками — как ни пытались. Не поможет в этом и Запад (упомянутые народы его помощи

тоже не получили), ибо самое важное для него — закрепить политический статус-кво, т. е. ту уравновешенную силой ситуацию, которая сложилась в современном мире.

Итак, вывод возможен только один — судьба всех поработанных коммунистами народов (в том числе и русского народа) едина, и решаться она будет в одной точке — в Москве. В пределах настоящего письма нет необходимости обсуждать те возможные пути и формы, в которых судьба эта будет решаться, и возможный вклад в общее дело, который может внести наш небольшой народ. Важно лишь подчеркнуть, что советская власть обречена на гибель внутренними законами своего собственного развития. Я полностью и безо всяких сомнений готов подписаться под пророческими словами нашего большого поэта Бернардаса Бразджйониса: «Рухнет скоро в мире коммунизм, Ясно вижу его гибель я — Ложь взрастает в миг и мигом гибнет, В пропасть скользкий путь ей предначертан».

Я верю в то, что гибель эта не за горами. Уже сегодня слышно, как куранты начинают бить последний час режима. Русское диссидентство, видимая часть которого представлена именами таких великанов духа, как Сахаров и Солженицын, является символом и порукой этого скорого конца. И все наши надежды сосредоточены на ожидании той минуты, когда Москва, наконец, перестанет быть советской, коммунистической. Лишь тогда наступит день и нашей свободы. Будем ли мы пытаться приблизить его насильственными или иными подпольными действиями, будем ли мы теперь оказывать организованное сопротивление оккупации или нет, день этот все равно неминуемо придет. Но соображения безопасности нации заставляют нас считать слишком широкое распространение подобных действий в Литве нежелательным.

Надо сознавать и то, что само по себе освобожде-

ние не принесет политической и социальной идиллии. Страсти, сдерживаемые в течение длительного времени тяжелым прессом угнетения, вырвавшись на волю, неизбежно будут действовать разрушительно. Вызванные ими конфликты и столкновения могут стоить нам большой крови. И теперь наша главная задача состоит, как нам представляется, в том, чтобы не допустить такого развития событий. Таким образом, главный профиль освободительной работы — в нашем понимании — заключается в том, чтобы уже сейчас начать готовиться к завтрашнему дню свободы, готовиться так, чтобы прийти к нему с максимальной организованностью и минимумом жертв. Мы, находящиеся в стране, обязаны сделать все возможное для сохранения в оптимальном виде плоти нации. Вы, в эмиграции, должны были бы готовить новые социально-политические основы ее существования в условиях свободы (разумеется, совместно с представителями эмиграции соседних народов). А вместе с тем — уже сегодня и безотлагательно — надо делать всё возможное, чтобы мы могли лучше узнать друг друга. Ввоз вашей литературы и печати в страну, надлежаще организованные радиопередачи, поддержка постоянных и интенсивных связей между эмигрантами, приезжающими погостить на родину, и нашими людьми в стране — вот что теперь, по-моему, самое важное в практической деятельности.

Я бы хотел, чтобы мое письмо было воспринято как призыв к максимальному налаживанию и всемерному развитию этой работы, — для начала хотя бы в виде отклика на то, что в этом письме предложено, — как призыв к обеспечению нас по возможности более полной информацией и к развернутому обсуждению существа всех затронутых в данном письме проблем. Только на основе такого диалога между страной и эмиграцией, только на базе нашей совместной работы плоть нации сможет в час свободы органически

соединиться с ее разумом и душой, хранимыми эмиграцией, чтобы тем самым приобрести полноту, суть и смысл целого.

Собравшись на расширенную конференцию редколлегии журнала «Континент», мы, члены редколлегии, сотрудники и корреспонденты журнала, а также приглашенные представители общественности Востока и Запада, приветствуем сообщение о том, что академик Андрей Сахаров, Надежда Мандельштам, Анатолий Марченко, Александр Подрабинек, Владимир Борисов и Валентин Иванов приглашены на съезд американских профсоюзов, открывающийся 8 декабря в Лос-Анжелесе.

Мы хотим выразить полную поддержку и благодарность председателю АФТ-КПП г-ну Джорджу Мини и американским рабочим за сделанное приглашение.

Мы надеемся, что приглашенные советские граждане смогут присутствовать на съезде АФТ-КПП и осуществить контакты, предусмотренные Заключительным Актом Хельсинкского соглашения, декларирующим свободное передвижение людей и информации.

Мы призываем советское правительство предоставить приглашенным советским гражданам визы на выезд в Соединенные Штаты и на возвращение к себе на родину.

Берлин, 5 ноября 1977

Запад — Восток

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА ВОСТОКА И ЗАПАДА

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОНТИНЕНТА».

Париж, 15 сентября 1977

От редакции:

Публикуя стенограмму своего первого «Круглого стола», мы надеемся, что эта встреча русских и французских интеллектуалов положит начало плодотворному диалогу между представителями свободной литературы и общественной мысли Востока и Запада.

Владимир Максимов: Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто пришел, за то, что они откликнулись на наше приглашение. Затем, по поручению Андрея Сахарова, я хотел бы зачитать один очень злободневный документ, который, несмотря на свою злободневность, как нельзя лучше отвечает теме сегодняшней встречи.

В. Максимов читает письмо политзаключенных пермского лагеря № 36 (см. «Континент» № 13).

Этот документ получен буквально позавчера из России и позволяет мне коротко заключить свое выступление. Когда меня, моих друзей, спрашивают — кто мы, левые или правые, — я и мои друзья отвечаем: мы не правее и не левее нашего сердца, а наше сердце с ними, с авторами этого письма.

В. Максимов передает руководство ходом дискуссии Н. Горбаневской.

Наталья Горбаневская: Я думаю, что тема, которую мы сегодня выбрали, выходит далеко за пределы политики и что, говоря о проблеме личной ответственности, мы не будем заниматься ни взаимными обвинениями, ни взаимными восхвалениями. Я уверена, что присутствующие разделяют точку зрения наших политзаключенных и что большинство из них делает всё для того, чтобы пожелания наших заключенных реализовались на практике.

Н. Горбаневская читает выступление отсутствующего на дискуссии Ефрема Янкелевича, активного участника правозащитного движения последних лет, только что выехавшего на Запад и с большим риском вывезшего письмо политзаключенных. Выступление Янкелевича написано в форме письма главному редактору «Континента».

Ефрем Янкелевич: Уважаемый Владимир Емельянович! Письмо девяти пермских политзаключенных вряд ли нуждается в чьих-либо комментариях. Однако оно касается, в частности, одного из аспектов проблемы личной ответственности индивидуума, проблемы нравственного выбора, и об этом я хочу сказать несколько слов.

Тоталитарный социализм обладает той, к сожалению, привлекательной для многих чертой, что он освобождает человека от необходимости принимать решения, сообразуясь с индивидуальными нравственными ценностями или даже с некими общими понятиями о добре и о зле. Подробнее и компетентнее проблема нравственного выбора человека в идеократическом государстве, я уверен, будет затронута в сегодняшней дискуссии. Здесь же я отмечу, что, тем не менее, никакая тоталитарная деспотия не способна отнять у человека бесценный дар выбора между добром и злом.

Авторы письма сделали свой выбор, трагически определивший их судьбу в разное время и при разных

обстоятельствах. Как мне представляется, они при этом не помышляли взять на себя ответственность за судьбу родины и мира. Однако — и, возможно, именно поэтому — они оказались в числе тех немногих, на которых отныне лежит эта ответственность. И сегодня больше никому не покажется странным, что именно они, превращенные в заложников непоследовательностью одних западных правительств и беспринципностью других, говорят о проблемах, стоящих перед Западом, и о пути, на котором они видят разрешение этих проблем.

Девять заключенных пермского лагеря строгого режима предлагают человеку Запада совершить нравственный выбор, совершить выбор между свободой и свободой от необходимости эту свободу защищать.

Я надеюсь, что тема сегодняшней встречи позволит обсудить это письмо.

Н. Горбаневская предоставляет слово Александру Пятигорскому, охарактеризовав его как единственного среди присутствующих русских «профессионального философа».

Александр Пятигорский: Прежде всего, я, к сожалению, должен констатировать весьма печальный факт: руководство «Континента» сделало коренную ошибку, попросив меня начать эту дискуссию. Я хотел бы сначала внести некоторую ясность в понимание мною самим моей профессии. Я очень плохой философ. И то обстоятельство, что я «единственный философ», едва ли может служить объяснением и оправданием столь низкого качества.

Я хотел бы начать свое маленькое выступление моим полным несогласием с тем, что сейчас было сказано. Всё чтение и комментарий письма заключенных представляет собой попытку убедить Запад сделать выбор. Как представитель этой несчастной и абсолютно дегенерировавшей профессии, я должен сказать, что мы не можем не только принудить Запад морально

сделать такой выбор, но даже просить его об этом. Дело в том, что, во-первых, с одной стороны — есть несколько десятков храбрых и доблестных людей в советских тюрьмах и концлагерях, которые в этом и других письмах фигурируют как персоны, как отдельные личности, ставящие свои подписи, за которые они заплатили временем, кровью и жизнью. С другой стороны — существует их ошибка, заключающаяся в том, что они верят в такую абстракцию, как Запад и человек Запада.

Я думаю — нет Запада и нет человека Запада. Я думаю, что мы все — жертвы этой страшной ошибки, у истоков которой стоит западная и русская философия. Опять, с одной стороны, — отдельные люди, с другой стороны — нечто безличное и целостное, будь это Запад или Восток. И опять мы надеемся, что те проблемы, за которые мы платили и платим, — будут разрешены кем-то другим. Мы говорим: «Запад *должен*», «Запад должен понять», «Запад должен проснуться». Уверяю вас, Запад ничего не должен! «На глазах всего мира» — написано в письме. У мира не может быть глаз, глаза могут быть только у каждого отдельного человека. У мира нет сознания. Коллективное сознание не существует.

Я понимаю, почему они так пишут. Но я не понимаю, почему мы это так воспринимаем. Там написано — «у Запада достанет мудрости ли», «достанет ли у Запада мудрости». И тут я не могу не обратиться к только что прочитанной мною книге «Кухарка и людоед» Андре Глюксмана, где Андре Глюксман пишет, что эта страшная государственная система с помощью философии обманула народ, что она обманула этот умный, свободолюбивый и талантливый народ. Вспоминая свою жизнь философа, от моего детства до моего бегства на Запад, я не могу себя считать ни талантливым, ни умным. Нас обманули, потому что мы были дураки. Так же, как дураков обманули в 1792-м

и в 1793-м. Так же, как их обманывают и будут обманывать. И Андре Глюксману нас очень жалко, мне — нас не жалко.

Теперь я хочу перейти к следующей, с моей точки зрения, самой страшной проблеме — к проблеме выбора. Я понимаю, когда замечательно храбрых и доблестных людей мучают, и они говорят нам о проблеме выбора. Это я понимаю прекрасно. Но она не может быть не только навязана, эта проблема не может быть даже предложена одними людьми другим людям. Потому что мы опять окажемся в плену вечной дихотомии добра и зла, которую сильный всегда найдет способ интерпретировать в свою пользу и против слабого. Никакая культура — ни западная, ни восточная, ни русская, ни американская, ни африканская — здесь не поможет.

Я думаю, что пока проблема добра и зла будет проблемой отношения между коллективом и обществом, между одним человеком и двумя людьми, взятыми вместе, эта проблема останется совершенно безнадежной. Я думаю, что единственная возможность — не решить эту проблему, но поставить ее на место — появится, когда каждый человек вступит в диалог о добре и зле не с другими, а со своим Богом. И я боюсь, что в этом случае, в этом общении не только коллектив не в помощь, но даже Церковь.

И в заключение я позволю себе сказать еще одно слово о философии. Дело в том, что мы привыкли жить в двойственном мире бытия и сознания. В этом губительном мире, в котором — и здесь я вполне согласен с Глюксманом — безраздельно господствует основная европейская философская линия от Платона до Ленина: любая проблема решается либо в пользу сознания, либо в пользу бытия. Либо лысые учителя, эти выродки, учителя жизни, уничтожают бытие со стороны сознания, либо стихия вешает их на столбах и уничтожает сознание со стороны бытия. И я думаю,

что сейчас мы оказываемся в том причудливом времени, когда единственный выход — каждому быть философом для себя и плевать на всякую другую философию.

Илиос Яннакакис: Я хочу сказать, что в одном я не согласен с Пятигорским. Увы, западный человек или, скорее, западный склад ума существует. И мы, выходцы из другого мира, обнаружили его и были травмированы. Ибо, не забудьте, правда о Восточной Европе и о Советском Союзе была известна с давних пор. Но память западного человека удивительным образом отгораживалась от нее и не впускала самые мрачные ее аспекты, которые господствуют в повседневной жизни. У нас, приехавших из восточноевропейских стран, есть огромное преимущество перед этим западным человеком: каждый из нас шел своим путем, прошел свое развитие и занял определенные — опять-таки, свои собственные — позиции по отношению к власти, к господствующей идеологии, к господствующему языку. Мы были окружены запретами и не имели ни источников информации, ни средств познания, но каждый старался осмыслить то, что сам пережил. Результатом этого было странное и парадоксальное чувство свободы, когда каждому из нас, по силам его, характеру и мужеству, открылись всё расширяющиеся просторы. Там, в этих просторах, произошла встреча тех, кого Запад называет диссидентами, или диссидентством, встреча, отмеченная терпимостью друг к другу и подчеркнутым сохранением различий, ибо мы отвергаем одноголосье.

Мы наивно верили, что западному человеку, обладающему всеми средствами информации и возможностями свободного обмена словом и мыслью, гораздо легче, чем нам, пройти подобное развитие. Но редки были случаи, редки люди, которые, пойдя от разных идеологических горизонтов, сумели встретиться.

Это неоспоримый факт. Не признать его — это не оценить усилий, какие должны мы делать на Западе для того, чтобы наша восточноевропейская действительность перестала быть экзотикой, предметом роскоши, который покупают, когда он в моде, а превратилась бы в постоянный источник размышлений для этого западного человека о его собственном праве на существование. Источник размышлений для человека, который не поддается давлению установленных порядков, государственных соображений, идеологических миражей, но свободно становится субъектом своей собственной истории. Свойственная нам терпимость по отношению к любому человеку, проходящему свое развитие, должна стать и терпимостью западного человека. Ибо если сегодня на Западе идет реабилитация — это, безусловно, реабилитация гуманизма. И мы ей, по мере наших скромных сил, способствуем.

Эжен Ионеско: Что до разговоров о Западе — совершенно ясно, что Запад, кроме промахов, ничего не совершил. Ясно, что настоящая колонизация начинается сейчас — со времен деколонизации. Иными словами, в колониальные времена культуры были свободными, существовали духовные традиции, и в какой-то момент мы даже стали надеяться, что именно в Востоке Запад и найдет утраченные им истоки вековой мудрости. Надежда оказалась напрасной. Марксизм захватил Восток, и теперь африканские страны знают, как дорого обходится вера в национальную независимость, ибо национальная независимость не означает свободы личности.

Обойтись без идеологий трудно, да только нужно следить, чтобы идеологии были в прямой связи с действительностью, а не становились ширмой между нею и нами. «Новые философы», в том числе присутствующий здесь Глюксман, прекрасно продемонстрировали нам, что идеологии — это лишь орудия

или условия для порабощения человека. Но рассуждения о порабощении человека сводятся опять-таки к идеологии.

Нынешний момент благоприятствует тому, чтобы понять действительность, понять истину. Мы более или менее освободились от кучи догм, в том числе и от марксизма — своего рода сюрреализма, который способствует созданию, по выражению Алена Безансона, «сюрреалистических обществ». Мы остались без марксизма, и последствия этого, должен сказать, весьма тяжелы. В недавно вышедшей книге молодая французская публицистка Элизабет Антеби задает вопрос: как быть западному человеку без марксизма? — ведь, утратив его, он утратил и все свои привычные ориентиры. У меня есть знакомый — поэт. Как поэта я его очень уважаю, но и он говорит: «Мне понятны все ошибки марксизма и коммунизма. Но куда же, как еще идти? Вот я и остаюсь в этой церкви». Поскольку без идей мы всё равно обойтись не можем, мне лично кажется, что, вместо того чтобы топтаться в пустоте, наилучший выход — найти временную зацепку в старых философиях и старых религиях, будь это христианство, буддизм, хотя бы западный либерализм — он, конечно, зло, но наименьшее из зол.

В конце концов пора научиться различать — что хорошо и что плохо. Любим ли мы людей или нет, хочется нам жить под террором или не хочется? И тут выбор происходит не между сложными идеологиями и философиями, а между простыми и очевидными реальностями.

Хочу добавить, что Запад все-таки очнулся. Появилась молодая философская мысль, с которой мы уже успели познакомиться: это антимарксистская мысль, но идет она от Маркса же или, скорее, от отрицания его. Новая философия явно не хочет иметь Учителей. Но в ней, быть может, есть один дефект: уж не является ли она антиидеологией, опровержением

определенной идеологии? Не сводится ли она к простому отрицанию некоторых идеологических утверждений вместо того, чтобы просто констатировать некоторые основные человеческие реальности? То есть у меня складывается впечатление, что источником сегодняшней антиидеологии все-таки остается идеология, и в этом я вижу ее опасность, так как, вырастая из идеологии, она не может быть чистым порождением фактов. А факты нам известны давно: Андре Жид, Панаит Истрати, Виктор Серж, Артур Кестлер, Раймон Арон, Ференц Фейто, Манес-Шпербер и многие другие писали о несчастье быть марксистом, о бедах марксистского общества. И сидящий напротив меня Ревель тоже говорил об этом. Однако этот номер не прошел, этим людям не поверили. Почему? Им не поверили, потому что существовало и существует слишком много разных интересов, идущих вразрез с пробуждением гуманистического сознания в человеке.

В 1968 году, в момент оккупации Чехословакии, протестовавшие против вторжения чехословацкие студенты столкнулись с французскими леваками 16-го округа, твердившими им: «Вы — буржуи! Что вы в этом понимаете?!» Студенты Западного Берлина, в свою очередь, вздумали ехать в Чехословакию и разъяснять этот феномен, которого чехи и словаки почему-то не могли понять. Наверно, это объясняется тем, что идеология внушала больше доверия, чем реальность, а еще и тем, что люди на Западе дошли до такой взаимной ненависти, что, зная всё, они не хотели знать ничего: лучше конец света, чем порадовать буржуев или разочаровать Бийанкур.

Французы знали, давно знали, что происходит. Хорошо бы разобраться — почему сейчас считаются именно с тем, чем пренебрегали раньше? Может быть, для того, чтобы быть антилеваком, надо пройти через левизну? Однако важно не это: речь идет о заболевании

американской, английской и французской мысли, речь идет, как я уже говорил, цитируя Элизабет Антеби, о растерянности человека, потерявшего привычные ориентиры, а может быть — надеюсь — и о пробуждении чего-то, о возрождении человеческого милосердия и солидарности. В этом-то и состоит моя надежда, моя слабая надежда, когда я вижу перемены на Западе.

Несколько лет тому назад В. Максимов мне сказал: «Мы обо всем расскажем, расскажем о том, что происходит в России, расскажем о лагерях и каторгах, мы всё расскажем — и Запад поймет». Пока еще, говорил он мне, Запад остается лоном общечеловеческой совести. Я ему тогда ответил: «Зря вы будете стараться — всё, о чем вы собираетесь говорить, они уже знают, просто считаться с этим не хотят». Ну, я должен признаться, что допустил ошибку: действительно начинают принимать эти факты во внимание. Только — каким образом и глубоко ли? Если к власти придет правительство коммунистическое, антигуманистическое — я прошу прощения у присутствующих здесь антигуманистов, но я не знаю, смогут ли они ему сопротивляться, смогут ли они выносить лишения и смогут ли они изменить лицо мира.

И еще одну историю забыл я рассказать. Мне пришлось присутствовать при разговоре между двумя интеллигентами, «интеллигентами», ибо интеллигенты — это не ученые, не социологи, не психологи, не физики и не математики, интеллигенты — это журналисты и сочинители романов. И вот двое таких интеллектуальных романистов-журналистов говорили друг другу: «То, что происходит на Востоке, и впрямь ужасно, но говорить об этом нельзя, чтобы не доставить наслаждения буржуйам».

Андре Глюксман: Нелегко говорить с французской стороны, потому что, как вы могли заметить,

французы очень разные и, более того, очень держатся за свои различия. Мне кажется важным учитывать это, так как люди, которые во Франции относятся с пренебрежением к борьбе диссидентов, — также очень разные. По крайней мере внешне: недаром существует своего рода «общая программа» в области внешней политики, обуславливающая тот факт, что левые, как и Жискар д'Эстен, критикуют поддержку, оказанную борьбе за права человека, будь эта поддержка делом интеллигенции, отдельных людей или президента Картера. Но это-то и доказывает, что диссидентство ставит проблемы, расшатывающие привычные схемы, и это позволяет как-то надеяться на то, что нечто вроде «новой философии» будет существовать в XXIV веке, если таковой — на это надежды меньше — когда-нибудь настанет. Из всех вопросов, поднятых здесь, один мне кажется особенно серьезным: почему информация, поступающая уже с 1920 года, о терроре в России так долго не получала отклика на Западе и почему сегодня положение начало меняться? Я думаю, этому есть две причины.

Первая — самая важная: это вклад, внесенный в нашу жизнь советским диссидентством, начиная с самого великого из его представителей — Солженицына, ибо надо сказать, что то новое, что он нам принес, — это не информация о ГУЛаге и его масштабах, но свидетельство о сопротивлении ГУЛагу. В двух словах я бы сказал, что русское и восточноевропейское диссидентство заставляет нас освободиться от старых схем «реформизм-революция». Ибо, судя по всему, внимание диссидентов больше не сосредотачивается на том, что происходит на верхах государства; их — кроме, разве что, братьев Медведевых — не интересует, какие течения существуют внутри советского правительства. А с другой стороны — они не пытаются создавать подпольные организации, чтобы свергнуть власть и взять власть. Наоборот, они действуют как можно

более открыто, и стратегия прав человека вводит нечто совершенно новое по сравнению со старыми методами революции или реформы государства. Это сказано коротко, но, по-моему, это и есть главное, так как заставляет нас интересоваться совсем не тем, что происходит на уровне аппаратов. Критика ГУЛага могла вестись и раньше, но мы теперь знаем самое важное — то, что происходит в населении.

И второй момент, который мне кажется важным, — при этом я частично отвечу Пятигорскому. Понять диссидентство можно, только исходя из собственного опыта. Иначе говоря, выбор, выдвинутый советскими диссидентами, действительно не может быть ни навязан, ни, вероятно, даже предложен, однако мы можем прийти до него сами на основе собственного опыта. О себе скажу, что такое событие, как май 68-го года, при всей своей двусмысленности, позволило мне — мне и другим — лучше оценить, что несет нам русское и восточноевропейское диссидентство. А что касается двусмысленности мая 68-го, я хочу напомнить, что студенты, примкнувшие к этому движению, в большинстве своем были настроены далеко не прокоммунистически или просоветски и, если даже были не антикоммунистами, то, во всяком случае, отнюдь не коммунистами. Напомню, что лидер этих студентов обозвал вождей компартии и прокоммунистического профсоюза сталинской сволочью и прогнал Арагона, который «принес демонстрантам поддержку поэта», заявив ему, что на его седых волосах кровь — кровь советских лагерников.

Самое первое, что сделало лично меня чувствительным к вызову советских диссидентов, — родившись в еврейской семье, эмигрировавшей во Францию в 1936 году, я всегда слышал дома разговоры о том, до чего же французы не понимают, что рассказывают беженцы из нацистской Германии. Всем известно, как дорого это стоило Франции. А вот актуальный при-

мер. Вчера я прочел в газете «Монд» высказывание нобелевского лауреата по физике: если бы, мол, ему пришлось выбирать между Америкой и Россией, он бы из-за работы поехал в США, но он вполне понимает, что рабочий выбрал бы Россию, чтобы избежать печальной участи американского безработного. Каждый может иметь свое мнение, ничего в этом страшного нет, но тогда ставится под сомнение всё то, что представляет собой Бийанкур, место, где рабочие боролись за право на забастовку, за право на собственные убеждения. Ведь рабочим на Западе потребовалось несколько столетий, чтобы завоевать право на свободное перемещение, право на уход от хозяина по собственному желанию, одним словом — право на человеческое обращение. Все эти свободы, как известно, отсутствуют в Советском Союзе. И, следовательно, когда представитель интеллигенции заявляет, что этим можно пренебречь, опасность относится не только к поддержке, оказываемой советским диссидентам, но и к поддержке любой борьбы рабочих во Франции, ибо всякое рабочее движение было движением за свободу. Утверждать, что рабочий непременно и естественно предпочтет Россию Америке, — это просто-напросто свести на нет три века борьбы рабочих. Непонимание по отношению к советским диссидентам подразумевает, влечет за собой непонимание по отношению к нашим собственным свободам. И оно столь же опасно, как и непонимание, проявленное французами в 1937 году, перед лицом того, что происходило в нацистской Германии. Даже если, хотелось бы надеяться, последствия будут менее страшными.

Второй аспект моей готовности откликнуться на диссидентов. На протяжении 10 лет я придавал огромное значение борьбе против колониальных войн и расизма на Западе — и до сих пор считаю ее чрезвычайно важной, тем более, что это позволяет мне понять борьбу против империализма в Восточной Европе.

Объясню на примере: американские негры требовали применения на практике прав, «в принципе» гарантированных конституцией каждому гражданину США независимо от цвета кожи. Активисты стали осуществлять эти права «now», «здесь и теперь», публично, на улице, несмотря на сопротивление полиции южных штатов и расистов. Добиваться признания прав путем их осуществления «тут же» даже ценою жизни — способ, хорошо знакомый советским диссидентам, применяющим его при куда более страшных обстоятельствах. Такая стратегия борьбы, т. е. эффективное и самоотверженное осуществление прав человека, приобрела мировые масштабы, она перекликается с борьбой за гражданские права («civil right») и свободное слово («free speech») в США. Сегодняшние требования американских индейцев о применении соглашений, подписанных в XIX веке, то есть о возвращении им территорий и льгот, гарантированных этими соглашениями, очень сходны с требованиями крымских татар. С той разницей, что индейцы могут обратиться в суд и чаще всего выигрывают процессы.

Третий момент — май 68-го года. При всей своей, повторяю, двусмысленности, это событие вписывается в число крупных, стихийных проявлений энтузиазма во имя свободы на Западе, каким до него было, например, движение, вызванное делом Дрейфуса. И всегда за такими событиями следует выбор, определенный Пеги во время дела Дрейфуса как выбор между «политиками» и «мистиками». Тогда и в течение следующих десяти лет Пеги еще не был католиком, а под «мистикой» он подразумевал уважение к справедливости, уважение, например, к свободе печати в социалистическом движении; последнее уже тогда создавало столкновения между ним и вождями-основателями социалистической партии во Франции, в том числе Жоресом. Я не думаю, что советским диссидентам трудно это понять: уже тогда это называлось партий-

ным духом. С одной стороны, политический карьеризм внутри крупных организаций со сверхидеей захватить власть и решить судьбы человечества — высшая амбиция «политиков». С другой стороны — дух «мистиков», для которых свободы осуществляются всеми людьми, а не даруются государством. Это сущностное противопоставление становится, на мой взгляд, яснее и понятнее благодаря борьбе диссидентов. Если хотите, выявляется, что есть общего между Пеги и Матреной или Иваном Денисовичем.

В заключение я хочу сказать, что если мы восприняли смысл советского диссидентства, если наша встреча с диссидентами состоялась и всё это обусловлено нашим собственным опытом, то, значит, феномен России нельзя объяснить ее отсталостью, как утверждают левые функционеры, — интеллектуальная вселенная Запада и Востока одна. Опасаться мы можем только одного — и это вовсе не свидетельствует об отсталости советского режима, как твердят коммунист Элленштейн, социалист Аттали и К°, — только того, что он нас опередил, осуществляя на практике целый ряд отнюдь не чуждых Западу государственных идей. Но не будем пессимистами — скажем, что в России мы сталкиваемся в укрупненных масштабах со всеми конфликтами между простыми людьми и властью, которые во Франции проявляются с куда меньшим размахом. К счастью — с меньшим.

Жан-Франсуа Ревель: Прежде всего, мне хочется успокоить Андре Глюксмана: если нобелевские лауреаты думают, что рабочему человеку лучше ехать в Советский Союз, то рабочий человек, в свою очередь, думает примерно то же самое о них. Общественные опросы — наша новая национальная религия — периодически показывают, что на вопрос: «Куда бы вы эмигрировали, если бы пришлось?» — не более 2% французов отвечает — в СССР. Кстати, этим лишний

раз подчеркивается то, что Глюксман настойчиво отмечал в своем выступлении, а именно своеобразный разрыв, традиционно существующий во французской и, я думаю, во многих других западных культурах, между правящим сословием государства и населением. К сожалению, именно это сословие — распоряжается ли оно средствами массовой информации, культурой, политикой или экономикой — порождает и передает информацию. В этом смысле, в то время как Ионеско высказывает некоторый осторожный оптимизм по поводу ныне пробуждающейся на Западе сознательности, я должен сказать, что, со своей стороны, отношусь к этому факту куда менее доверчиво, чем он и другие, так как считаю, что мы имеем дело с периодически возобновляющимся и периодически пропадающим явлением.

В начале 30-х годов, после разрухи и голода, вызванных принудительной коллективизацией, репутация советского эксперимента была сильно подорвана. Но прошло два-три года, и этот урок канул в забвение. Начались московские процессы — вопреки общепринятому мнению, они тогда же подробно анализировались и обсуждались. Можно было подумать, что соблазн коммунизма потерпел на Западе окончательное поражение. И еще раз можно было в это поверить после подписания советско-германского пакта, а затем, заново, — во время «дела врачей», процессов в Праге, Будапеште и Софии. Наконец, когда на XX съезде КПСС был прочитан секретный доклад Хрущева, многие подумали, что произошел решающий поворот, что урок наконец усвоен. Не тут-то было. Через несколько месяцев советские войска вторглись в Венгрию — и левые во Франции и в Италии доказали, насколько крепок их организм. Я прекрасно помню, что уже недель через шесть после этого досто-печального события они воспряли духом и телом, как ни в чем не бывало.

Андре Глюксман только что привел пример мая 1968 года, вполне правильно подчеркивая, что волна 68-го во Франции была, в сущности своей, антитоталитарной. Через два месяца после ее отлива этот антитоталитаризм был подкреплён важнейшим событием — вторжением советских танков в Прагу. Но позволю себе подчеркнуть, что с этого же события начался не виданный до сих пор рост силы компартий на Западе — в Италии и во Франции, не виданный с самого основания этих партий.

Вот почему я считаю, что мы имеем дело с явлением как бы постоянной потери памяти. И порождается оно, по-моему, непрестанной путаницей, смешением в умах людей антагонизма «правые-левые» внутри демократического общества, с одной стороны, и борьбой против тоталитаризма, с другой. Социалистическая традиция, вначале вполне искренне, отождествила китайский и советский тоталитарные режимы с левыми идеями. А ведь борьба против тоталитаризма — не «правая» и не «левая». По определению, разграничивать правых и левых возможно только в условиях демократии. Тоталитаризм же является отрицанием самой возможности такого разграничения. Пока мы окончательно не разрубим узел, до сих пор связывающий верность левым идеям, с одной стороны, и какое-то почтение, страх критики тоталитарных режимов, ибо они слывут левыми, с другой, — мы снова и снова будем сталкиваться с проявлениями той амнезии, потери памяти, о которой я только что говорил.

И в этом смысле, мне кажется, в том, что нам твердят советские диссиденты, находящиеся среди нас на Западе, или оттуда — из СССР, — нет ничего важнее, чем их неустанное напоминание нашему общественному мнению: борьба, идущая между свободой и тоталитаризмом, не имеет ничего общего с борьбой левых-правых внутри демократических стран.

Эрнст Неизвестный: Пользуясь правом скульптора, профессия которого — лепить, а не говорить, я не хочу философствовать. Я просто хочу развеселить публику — не столько соображениями, сколько рассказами. Я оставляю в стороне страшные рассказы: о тюрьмах, о своем сломанном носе, о своих ранениях. Я буду рассказывать некоторые вещи о простой жизни, исходя из собственного, персонального опыта. Я смею надеяться, что в моих рассказах вскрыется, почему мы друг друга иногда не понимаем. Хотя в принципе должны бы понимать, потому что единственное слово, которое нам всем понятно и не нуждается в комментариях, это — смерть. Но все остальные слова оказались двоемысленными. Оказывается, прежде чем разговаривать, нужно составить новый словарь понятий, куда войдут все слова, которыми мы оперируем.

Они оказались двузначными. Слово «свобода» для нас часто значит другое, чем для вас. Например, когда в России говорят: «Надо укреплять законность» — вся Россия начинает дрожать от страха. Когда говорят, что надо развивать демократию, хозяйки начинают сжигать книги годичной давности. Даже самые простые слова — такие, как «театр», — совершенно разные. Например, Альбер Скира мне заказал книгу о моем творчестве и в качестве модели прислал книгу уважаемого мною Ионеско, которая начинается со слов: «Не помню, в два года или раньше, я навсегда полюбил театр и искусство». И тогда, прежде чем писать свою книгу, я подумал — полюбил ли я театр в детстве? Для меня слова «театр» и «искусство» были ругательством, потому что мой отец в 37-м году, когда судили, говорил: «Это театр, это искусство». С тех пор, с детства, для меня слово «театр» стало ругательством. Тем паче, что реальный театр был квинтэссенцией лжи. Среди простых русских людей, для того чтобы сказать, что ты, мол, врешь, говорят:

«Ты что — в театре?» Вот вам иллюстрация простого слова.

Дальше, — я исхожу только из персонального опыта — о понятии счастья. Я думаю, что в человеке счастье распределено поровну. Половина спит в счастье раба, а половина — в счастье свободы. Я сам испытал счастье раба. Может быть, это было самое сладкое чувство в моей жизни. Я кончил десантное училище, где хотя и была строгая дисциплина, но все-таки была проблема выбора: например, я мог сходить в уборную, когда хотел. Но когда меня посадили в вагон и не сказали, куда везут, я лег на нары, поезд пошел, и я понял, что меня освободили от моей воли. Меня куда-то везут, вовремя меня накормят. Как в русской поговорке: «Солдат спит, а служба идет». И я испытал реальное чувство счастья. Я был абсолютно свободен. Я получил свободу раба. Поэтому я знаю, что свобода раба равна свободе свободного человека. И тут встает проблема выбора. Давнишняя проблема, о которой говорили и Св. Августин, и Камю, и коммунисты, и все. И вот тут возникает проблема, о которой говорил мой друг Пятигорский, о некоторых формах русского персонализма — мы все-таки задерживаемся на идее персонализма. Я прошу не забыть о различии между анархизмом Кропоткина и Бакунина, потому что в России слово «персонализм» приравнивается к слову «анархизм».

Второй рассказ о русской ситуации — потому что я не доктор, который прописывает рецепты, а больной, который обсуждает проблему своей собственной болезни. Когда я начал учиться на философском факультете, я вдруг понял, как нас учат. О Ленине мы знали из того, что пишет Сталин. О Марксе мы знали, что о нем пишет Ленин. О Дюринге мы знали из «Анти-Дюринга». И тогда у некоторых студентов возникла идея самообразования. И была организована группа, условно скажем, катакомбной культуры. Наша

задача была не политической. Наша задача была чисто культурной. Если представить духовную жизнь в России, ее можно расположить по двум линиям. Одну можно представить как горизонтальную, это культура, связанная с социумом. Но существует в России и вертикальная культура, которая обращается к ценностям не сегодняшнего дня. По моему убеждению, только в центре этого креста возникает подлинное культурное явление, когда вечное и сегодняшнее сочетаются. Например, таким был Достоевский. Но мы начали заниматься вертикальной культурой.

Это не было диссидентством, но это стало диссидентством, потому что в России всё, что не официально, — диссидентство. И постепенно мы сомкнулись с диссидентами. Почему мы — персоналисты? Потому что у нас, в отличие от Запада, религиозный философ — диссидент, троцкист — тоже, гештальтист — диссидент, потому что это всё — культура. И мы вместе противостояли антикультуре общества. И для того, чтобы общаться, мы должны были уважать персонализм и остаться друзьями. У нас был общий враг, который нас объединял. Этого феномена нет на Западе. Поэтому мы иногда непонятны. Может быть, это немножко дает пояснение к выступлению Пятигорского.

Сейчас я хочу рассказать маленькую историю, которая произошла просто со мной. Я глубоко уважаю Сартра. Я в своем ателье и в ресторане разговаривал с ним около шести часов. Рассказать разговор с Сартром, шесть часов, я не могу. Поэтому я вам расскажу свое ощущение: представьте, что к старому лагернику, который 30 лет сидит в тюрьме, приезжает представитель международной лиги гомосексуалистов и начинает его уговаривать быть гомосексуалистом. Старый лагерник слушает. Аргументы — исторические, психоаналитические, эстетические, гуманистические, социальные. Но старый лагерник не понимает,

в чем дело. Он с уважением относится к этому интеллектуальному аппарату. Но в чем дело?! Оказывается, что дело в том, чтобы не жить с женщиной. А он никогда не жил, он даже не знал, что можно жить с женщиной! Он, как персонаж Мольера, первый раз узнал, что говорит прозой. Потому что защищать собственную экзистенцию в России приходится всем. Это не теоретическая проблема, это проблема практическая, она начинается с детского сада.

Если бы у меня был талант Солженицына, я бы написал страшную книгу — и не «Архипелаг ГУЛаг», а о маленьком мальчике, который ходит в детский сад и знает больше всех стихов о Ленине. И мама с папой просят его никому не раскрывать эту страшную тайну. Потому что все остальные дети знают только два стихотворения, а педагоги — три, а он — пятнадцать. Он становится сразу социально опасным. Сегодня это основная трагедия России. Архипелаг ГУЛаг растет из этой трагедии.

Вот простой пример, чтобы понять, как функционирует эта система. Вот здесь сидит мой друг Пятигорский. Когда Пятигорский решил уехать, русская интеллигенция начала плакать и собираться у меня в мастерской. «Как же так? — говорила она. — Единственный крупный сегодняшний специалист по буддологии, по тамильским диалектам уезжает. Как же будет жить Россия? Без такого специалиста...» Я говорил: «Спокойно, друзья. Если власти понадобится, она мобилизует пятьсот тысяч комсомольцев, за народные деньги пригласит самых крупных специалистов в мире и по закону больших чисел попытается вывести Пятигорского». В этом смысле, это небывалая система. И оценки западной категории не подходят.

Я хочу закончить свое выступление тем, что нам нужно защищать права человека, где бы они ни нарушались. Как человек с тяжелым русским прошлым, я, естественно, интересуюсь Россией, потому что как

— это та болезнь, которая есть только у тебя. Пока человек не болеет раком, это теоретические рассуждения о раке. А самое главное, нам надо общаться, хотя бы для того, чтобы преодолеть терминологический барьер.

Владимир Буковский: После того, что было сказано в этом зале, я не надеюсь сказать очень много нового. Но я чувствую себя обязанным начать с того, с чего начался этот вечер. С письма заключенных. (*Обращаясь преимущественно к Пятигорскому:*) Как ни крути, а я чувствую себя всего ближе к этим людям, которые выразили свою «неправильную точку зрения». Конечно, сидя в концлагере, очень трудно определить, что такое Запад. Запад — это какая-то аморфная величина, которая может снабдить технологией, может снабдить кредитами. Но когда ее спрашиваешь конкретно: ты, Запад, за что ты отвечаешь? — она говорит: нет, ни за что. Для советского человека Запад — это действительно что-то очень темное. Оно дает, но оно не просит. И, конечно же, люди, сидящие там за всякими проволоками, — для них очень трудно понять, что здесь на Западе есть отдельные личности. И что еще труднее понять — вот человек, приехавший из Советского Союза, и он становится частью Запада, и на самом деле он выражает точку зрения Запада; хочет он того или не хочет, снилось ли это ему или нет, а теперь он часть Запада. И где ты проведешь между нами границу? Друг мой — где Восток, а где Запад? Где наш компас? У нас его нет.

Мне кажется, что люди, которым было тяжело, плохо, скверно, — у них есть какой-то компас, но этот компас не показывает — Запад, Восток. Меня судьба поставила перед необходимостью оказаться на Западе сразу после очень глухого Востока. Мне было очень скверно: огромное количество жаждущих сенсаций людей терзало мою душу, и всё, что я мог сделать, —

это примерить погоны на плечи каждого из них. На некоторых они лезли, на некоторых — нет. Когда я оказался в госдепартаменте США, я вдруг обнаружил, что человек, который отвечает за всю восточную политику, ничем не отличается от начальника тюрьмы, в которой я сидел. Он был такой толстый, очень важный и смотрел на меня, как на букашку, которая ползет поперек пути. И он знал лучше меня, что нужно Америке и что нужно Советскому Союзу. Я ничего не мог ему доказать. И когда я был в Германии, я встретил огромное количество людей, которые торгуют с Советским Союзом и продают ему технологию, электронику, сталь, технологию обработки стали. Они не хотят знать, что будут делать из стали: может быть, пушки, может быть, танки, но — «мы не ответственны за это, мы продаем только сталь, мы не знаем, что из нее сделают», — и вдруг я увидел советских людей. Когда я их просил: не продавайте сталь, не продавайте технологию, вы же продаете нам наручники, — они говорили: а что мы можем сделать? если не я продам, то продаст другой, если не продадут немцы, то продадут японцы, если не продадут японцы, продадут французы, но мы ничего не можем сделать. Это то же самое, что говорят советские люди.

Скажите — вы говорили много об идеологии, вы говорили много о философии, разве это имеет хоть какое-нибудь значение в мире, в котором душно жить? Отвечает за всё человек — красный, желтый, белый, черный. И его спрашивают: ты сейчас готов сказать, что ты не хочешь помогать насилию? И если он тебе отвечает: нет, у меня есть конкуренты, у меня есть свои доходы, — то видишь в нем надзирателя. Потому что надзиратель — это не садист, это не насильник, это не убийца. Надзирателем может быть любой из вас. Да, любой. (В. П. Некрасову:) Вот ты вздрагиваешь, Витя, а ты — напрасно. Можешь быть. И не забывайте это.

Всё насилие в мире строится действительно на этой самой личной неготовности жить плохо. Никто вам не поможет. И ваша семья будет недовольна. И ваша жена будет говорить, что вы эгоист. И у вас есть дети, и вы обязаны их кормить, и неважно, какая есть идеология в мире, а есть — рубль. Вы обязаны кормить молоком маленьких детей, а картошкой — тех, что побольше. Никто не хочет знать, что есть такое понятие, как человеческая ответственность.

Я не вижу разницы между западными людьми и восточными. Мало того, я не верю в эту разницу. Я хочу каждого человека видеть лично. Того, кто был пойман с литературой в России и вдруг забыл о Всеобщей Декларации Прав Человека. Как он мог забыть про это? Он ее читал тысячи раз. У нас она там запрещена и криминальный документ. А для него она была доступна с самого детства. Вопрос не в том, какой идеологии он придерживался — левой или правой. Вопрос в том, готов ли он быть человеком, защищать свое достоинство, и неважно, что будет дальше, неважно, что он ничего не достигнет. Мы все сдохнем в свое время. Давайте сдохнем теми, кто мы есть.

Дискуссия заканчивается магнитофонной записью речи Александра Галича, который в эти дни уехал выступать в Италию.

Александр Галич: Я очень сожалею, что не могу присутствовать на встрече редколлегии журнала «Континент» с нашими французскими друзьями. Но я надеюсь, что это не последняя встреча и что мы еще увидимся и поговорим, что называется, с глазу на глаз. Я прекрасно понимаю, что слушать речь, записанную на магнитофонную пленку, — дело утомительное и неблагоприятное, поэтому постараюсь быть чрезвычайно кратким.

Когда-то древнееврейский мудрец, Гилель, сказал замечательные слова: «Если не я — то кто? Если не сейчас — то когда?» И вот мы, собравшиеся здесь,

чтобы обсудить проблему личной ответственности как общую проблему для Востока и Запада, пожалуй, могли бы на своем знамени начертать эти слова: если не я — то кто? если не сейчас — то когда?

Мы живем в удивительном мире, где перестали существовать понятия «наша» и «ваша» беда, которая вот уже 60 лет, 30 лет, 40 лет, как постигла страны Восточной Европы, тоталитарный режим которых разрушает духовную, социальную, экономическую, политическую жизнь граждан, населяющих эти страны. Беда эта подошла к порогам европейских государств, и наше с вами дело, дело нашей личной ответственности — остановить эту беду.

Мы живем в удивительном мире, я сказал. Мы живем в прекрасном мире — чтобы убедиться в этом, порою бывает достаточно выглянуть из окна.

Мы живем в безумном мире, где люди продолжают убивать друг друга во имя того, что называется в их декларациях светлым будущим.

Мы живем в удивительном мире, где люди — сотни, тысячи людей — продолжают опускать в избирательные урны бюллетени, голосуя за тех, кого давным-давно уже, не раз, ловили за руку как лжецов и обманщиков публично, всенародно. И по какому-то непонятному безумию люди продолжают голосовать за них.

Мы живем в мире, где тоталитаризм принимает самые разные формы. Здесь, на Западе, тоже существует свой тоталитаризм, я бы назвал его тоталитаризмом кока-колы. Дело в том, что так называемое общество массового потребления действительно стало массово потреблять консервированные продукты, консервированное искусство, консервированные идеи. Для того чтобы назвать себя, скажем, кантианцем, нужно прочесть хотя бы «Критику чистого разума», изучить ее и понять. Для того чтобы назвать себя марксистом,

достаточно выучить четыре или пять формул — это тоже диктатура кока-колы.

Личная ответственность — с чего же она начинается? Я полагаю — с ответственности за сказанные или написанные нами слова. Вот в номере «Литературной газеты» от 7 сентября 1977 года, неделю тому назад, было — в статье, которая называется «Ради людей», — написано следующее. Речь идет о новой советской конституции, и вот там говорится о том, что эта конституция «дает гарантию неприкосновенности личности и жилищ советских граждан, свободы слова, печати, собраний и демонстраций, сохранения секрета почтовой переписки, телефонной и телеграфной связи. Новая конституция обеспечивает полную свободу вероисповедания. Она значительно расширяет юридические права граждан. Тем самым дает убедительный отпор развернувшейся в ряде стран кампании относительно нарушений прав человека в СССР». Как вы думаете — кому принадлежат эти слова? Вы удивитесь, вероятно, когда я вам назову автора этой статьи. Автор этой статьи — Морис Дежан, бывший посол Французской республики в Советском Союзе, и статья написана в Париже. Что же говорить об ответственности, личной ответственности! Не пришла ли пора перестать бросать слова на ветер, не пришла ли пора перестать оригинальничать и кокетничать? Хватит! Уже дококетничались.

Этим летом я был приглашен Элен Шатлен и Арманом Гатти принять участие в работе их группы на Авиньонском театральном фестивале. Мы занимались тем, что вели открытые репетиции, где вместе со зрителями обсуждали план будущей пьесы, план будущего спектакля. И вот как-то один из зрителей задал вопрос: «Скажите, а собственно, чем вы тут занимаетесь вместе с нами, что вы ищете?» И Арман Гатти ответил ему: «Мы ищем истину».

Я думаю, истина — это то, что всегда ищут. Истина, пожалуй, немного похожа на горизонт, вот он, рядом, он достижим, но он всегда где-то впереди. И в проблеме личной ответственности есть один великий соблазн. Соблазн этот заключается в том, что кому-то может прийти в голову, что он единственный знает истину, истину в самой последней инстанции и, научив людей этой истине, откроет им дорогу к счастливому будущему. У проблемы личной ответственности существуют пределы. И вот за этот предел переходить, пожалуй, не следует.

Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»

Подготовила к печати Ольга Свинцова

Об участниках Круглого стола:

Нет необходимости представлять нашему читателю таких участников дискуссии, как члены нашей редколлегии Эжен Ионеско, Владимир Буковский и Эрнст Неизвестный, как неоднократно автор «Континента» Александр Пятигорский. Имена Жана-Франсуа Ревеля и Андре Глюксмана известны читателям «Континента» по рецензиям на их книги в №№ 10 и 13 журнала. Илиос Яннакакис — профессор Лилльского университета, с 1949 по 1968 гг. — греческий политэмигрант в Чехословакии, с 1968 г. — чехословацкий политэмигрант во Франции. В дискуссии также принял участие французский философ старшего поколения Мишель Фуко, но он был нездоров, остался недоволен своим выступлением и просил его не публиковать. Среди большого числа гостей дискуссии были члены редколлегии «Континента» Раймон Арон, Густав Герлинг-Грудзинский, Николас Бетелл, Корнелия-Ирина Герстенмайер, писатели Виктор Некрасов, Владимир Варшавский, профессор Мишель Окутюрье, редактор парижского чехословацкого журнала «Сведецтви» Павел Тигрид, представители издательств Галлимар и Ульштайн и другие многочисленные представители советской и восточноевропейской эмиграции, французской общественности и европейской прессы. «Континент» благодарит друзей-переводчиков, без которых эта дискуссия не состоялась бы.

ИНДЕКС

Журнал по вопросам цензуры
6/1977

ОТ ХЕЛЬСИНКИ ДО БЕЛГРАДА

На вопросы о детанте отвечают А. Амальрик, В. Буковский, Ота Филип, Лешек Колаковский, Иржи Пеликан, Рудольф Тёкеш и другие:

Вопросы

1. Думаете ли Вы, что Хельсинкский Заключительный Акт достиг реальных результатов в областях т. н. 3-й Корзины (права человека, культурные обмены, свобода коммуникации) или нет? Какое действие он оказал на Вашу жизнь, если имел какое-нибудь влияние вообще?
2. Какие другие перемены или реформы Вы хотели бы увидеть в Вашей стране, или в других странах Европы, в соответствии с рекомендациями Заключительного Акта?
3. В Белграде проходит вторая конференция, вытекающая из Хельсинкской. По Вашему мнению, эта Белградская конференция изменить/улучшит/ухудшит ситуацию относительно 3-й Корзины? Почему Вы так думаете?
4. В ряде стран (напр. в Великобритании, Франции, Бельгии, СССР, Чехословакии, Польше) создались группы с целью следить за прогрессом, достигнутым правительствами этих стран в деле соблюдения условий Хельсинкского Заключительного Акта.
В некоторых из этих стран, правительство враждебно относится к таким группам. При этих условиях, думаете ли Вы, что эти группы могут скорее вредить, чем помочь, или думаете ли Вы, что они заслуживают поощрения?
Почему/Почему нет?
5. Президент Картер дал новое измерение американской, а также международной политике своим настоянием на вопросе о правах человека. Одобряете ли Вы это или нет? Почему/Почему нет?
6. Думаете ли Вы, что детант — средство перемен, или просто признание статус-кво?

Редакция приглашает всех, желающих высказать свое мнение, прислать дополнительные ответы.

Дело Юрия Орлова: Трибунал в Лондоне
Роберт Бернстин: Хельсинки и Опыт Американского Издателя

Милан Кундера: Комедия — всюду (подбор интервью)
Роджер Планта: Насилие и Пресса в Гватемале
Роберт Хэррис: Цензор за Работой в Никарагуа
Н. Дж. Смолл: Волнения в Городке Замбийского Университета

Годовая подписка: 7 ф.ст. (14 долл. США) за 6 номеров
Адрес редакции: 21 Russell Street, London WC2B 5HP
Заказы на подписку направлять: Oxford University Press, Journals Dept., Press Road, London NW10 0DD, England

В США и Канаде журнал распространяется по книжным магазинам издательством Рэндом Хаус Инк., Нью-Йорк.

Random House Inc., New York

Факты и свидетельства

В 1980 году в Москве состоятся очередные Олимпийские игры. Советская печать широко освещает подготовку к этому событию, последовательно используя предстоящие состязания в своих пропагандистских целях. Мы публикуем заметки, обнажающие изнанку «любительского» спорта в Советском Союзе.

Р е д.

Алексей Орлов

ТАКОВА СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

— Лёша, ты хорошо подумал?

Уже за полночь. А мы сидим на кухне за остывшим чаем: геолог двадцати семи лет от роду, то есть я, и дальняя родственница нашей семьи (ее повести печатал Твардовский в «Новом мире»). Мои мать, тетя, бабушка специально выписали ее из Москвы, чтобы она провела со мною разъяснительную работу, — доказала имеющимися в ее распоряжении средствами, что я собираюсь сделать непоправимую глупость — бросить геологию ради журналистики.

— Лёша, ты хорошо всё обдумал?

В ответ я что-то мямлю о призвании.

— Ладно, — говорит она устало. — У тебя всё же остается путь для отступления. Разочаруешься — вернешься в геологию.

Но я не вернулся и не жалею об этом.

Из-за журналистики, видит Бог, я пережил много горьких минут. Случалось, хотел послать ее подальше и больше не прикасаться. «Ну, кто тебя заставляет выслушивать всю эту ложь?» — спрашивал я себя после обязательных еженедельных «летучек», когда голова разламывалась от «претворений в жизнь» очередных решений... Однако журналистика засасывала всё глубже и глубже. Я оправдывался: пишу о спорте, «пятiletние планы» и «принятые социалистические обязательства» меня не касаются. Было и другое самооправдание.

Журналистика позволила мне объездить полстраны. Конечно, я ездил и будучи геологом. Но тут есть разница. В экспедициях общаешься, как правило, с теми же людьми, с которыми работаешь во время «камералки». Круг довольно-таки замкнутый. В журналистских командировках всякий раз — новые встречи, новые люди.

Помню, как слушал, открыв рот, известнейших спортсменов, тренеров, судей. Как не похожи были их рассказы на приторно сладкую газетную пищу!.. Со временем я научился не только слышать, но и видеть. Открытия следовали за открытиями.

Вступая в шестьдесят пятом году в журналистику, я, конечно, не был столь наивен, чтобы ставить знак равенства между правдой и официальной пропагандой. Многому научили и заставили размышлять «дело врачей», XX съезд, события в Польше и Венгрии, травля Пастернака, «Один день Ивана Денисовича», дворцовый переворот в Кремле. Эти потрясения — и десятки других — воспитывали меня, как, впрочем, и миллионы моих соотечественников. Журналистика, однако, ускорила, подобно инъекции, процесс созревания.

Я работал в спортивной журналистике. А спорт в жизни нашей страны играет особую роль. На то есть

много причин. Назову две, на мой взгляд, перво-степенные.

Причина «сверху». Победы в международных турнирах призваны доказать превосходство социалистической системы над демократической. Спортивные состязания — ристалище мирного соревнования двух систем. Поэтому победы советских спортсменов превносятся до небес, а победителям достаются знаки отличия и всевозможные блага. Спорт накрепко привязан к идеологической колеснице, и не случайно делами спорта по партийной, так сказать, линии ведает отдел пропаганды ЦК КПСС — тот самый, который ведает и средствами массовой информации.

Причина «снизу». Наш народ давно устал от невыполняющихся обещаний и кормлений «завтраками» (завтра будет лучше). Иллюзий не осталось. Но разве может целый народ смириться с мыслью, что ему предназначено быть на задворках! Народу требуется самоутешение: мы — не из худших. На помощь приходит спорт. Выиграли в хоккей у канадцев — ага, видите, мы лучше! Победили в состязаниях по дзю-до японцев — смотрите-ка, какие мы! Стал Карпов чемпионом мира — ай да мы, отобрали трон у американца Фишера!

Интерес к спорту взаимный: «сверху» и «снизу». Не потому ли даже центральные газеты отводят спорту зачастую целые страницы! Не потому ли многие наши соотечественники начинают читать газеты с последней полосы: здесь — спорт.

Принято считать, что спортивной информацией никто — от Калининграда до Магадана, от Норильска до Кушки — не обделен. Выступая перед руководителями иностранного вещания Би-Би-Си, Александр Исаевич Солженицын говорил: «...эта группа радиослушателей (молодежь. — А. О.) в общем может иметь достаточно прекрасную информацию и по советскому радио и о спорте, и даже о джазе...» («Кон-

тинент» № 9). Про джаз не знаю. Если же говорить о спорте, то не могу согласиться с человеком и писателем, перед которым я преклоняюсь. Вероятно, А. И. Солженицын имел в виду, что спортивная информация, передаваемая советским радио (то же газеты и телевидение), более правдива, чем внутривосточная или международная. Это безусловно. Ведь, если, допустим, Борзов пробежал 100 метров за 10 секунд и занял в соревнованиях второе место, вам не скажут, что его результат 9,9 сек. и что он был первым. Это — не урожай зерновых: поди-ка проверь, сколько, в самом деле, собрали!..

Но называть спортивную информацию, коей заполнены газеты и эфир, «прекрасной» я бы не решился. Она как айсберг: на поверхности (перед читателем, телезрителем) — одна седьмая, большая же часть — в журналистских блокнотах, на магнитной ленте, просто в памяти. Большая часть не имеет никаких шансов на то, чтобы быть увиденной. Она — для устных рассказов.

Пришла пора приподнять айсберг над водой. Всего лишь — приподнять, на самую капельюшечку. Я ни в коем случае не претендую на детальный анализ спортивной жизни в нашей стране. Мои заметки — только штрихи. Да и всех людей, с которыми встречался, назвать (сегодня) я не могу.

Органы не дремали

Я не верил своим ушам. Возможно ли такое! Органы, чье недремлющее око вошло в поговорку, да чтобы они — дремали? Но самоуверенный молодой человек стоял на своем: «Органы проспали».

Он подсел к нашему столику непрошеным гостем, и сразу же дал понять, что гости — мы, хозяин же — он.

В просторном таллинском ресторане, где каждый

второй столик был свободным, он выбрал тот, за которым сидели мы, два журналиста из Ленинграда. Изнывал ли он в одиночестве, нас ли хотел прощупать, или просто заприметил знакомые лица...

Собственно, *мы* не были с *ним* знакомы. Мы писали заметки о международном баскетбольном турнире, а он приехал из Москвы в качестве переводчика турецкого арбитра. Жизнь любого соревнования такова, что журналистам и переводчикам приходится сталкиваться едва ли не ежедневно. Даже если журналист знает иностранный язык, ему следует пользоваться услугами переводчика. Разумеется, нет правил без исключения: никто не может запретить вам подойти к иностранному тренеру, спортсмену, арбитру. Но с турком приходилось общаться только при помощи молодого человека из Москвы.

— Турок — есть турок, — начал он с места в карьер. — Знаете же, что такое турок! Ничегошеньки ему непонятно: почему туда нельзя, почему сюда нельзя. Одним словом — турок, мать его...

— Он первый раз в Союзе? — вставил я вопрос.

— И в последний! — отрезал молодой человек.

— Почему?

— Неужели не видите!

Я, действительно, видел. Турецкий арбитр судил честно. Он иногда ошибался, но в предвзятости, необъективности обвинить его было нельзя. Он ошибался в обе стороны: как местных команд (национальная и молодежная сборные), так и гостей (югославская и чехословацкая команды). А такие арбитры не в почете у деятелей из спорткомитета. Они любят арбитров, ошибающихся в одну сторону...

Вот так и ужинали: он ругал на чем свет «своего» турка, мы уминали бифштексы. И, наверное, наши посиделки скоро закончились бы, но мой коллега имел неосторожность вспомнить Всемирную Универсиаду, состоявшуюся в Москве годом ранее. Это был опасный

выпад: Универсиаду — особенно ее баскетбольный турнир — постарались забыть в стране Лучших Спортсменов едва ли не через неделю после того, как она закончилась. Но Универсиаду упомянули, и молодого человека понесло.

Сегодня, по прошествии лет, я не помню всего «выступления». В сжатом же виде оно сводилось к следующему:

«Мы слишком доверились спортивному комитету... Мы не подготовились как надо... Мы учтем опыт... Мы не пустим Олимпийские игры на самотек... Мы многое проспали на Универсиаде... Мы уже сейчас начали подготовку к Олимпиаде...»

Необходимая справка: баскетбольный турнир Универсиады проходил в спортивном комплексе ЦСКА на трех площадках: в Ледовом дворце (3000 мест), во Дворце тяжелой атлетики (1000 мест), Игровом зале (500). Пресс-центр находился на втором этаже Дворца тяжелой атлетики.

Я пришел в пресс-центр за день до начала турнира. Всё как обычно: ящички с названием газеты, столики с пишущими машинками, телефоны, на стенах — баскетбольные плакаты и незаполненные еще турнирные таблицы. Всё как обычно...

У столика с табличкой «зав. пресс-центром» покуривают четыре человека. Ни одного знакомого лица. А я довольно хорошо знаю людей, связанных с баскетболом... Не туда попал? Оглядываюсь: плакаты, таблицы...

— Вам кого? — строгое от столика.

— Аккредитация началась? (Знаю: давно началась.)

— Заканчивается, — отвечает. — Фамилия? Газета?

Один перелистывает список, другие стоят молча, на лицах — неудовольствие: прервал я их беседу.

— Орлов, говорите, «Советский спорт»?.. Так, так, так... Орлов... «Советский спорт»..., — рыскает глазами, а я стою просвечиваемый взглядами троицы. — Орлов?.. Нет вас в списке, нет!

(Через пару часов я узнаю, что списки журналистов утверждал еще несколько недель назад Комитет по делам физкультуры и спорта при Совете министров, что списки проходили несколько инстанций и — на какой-то меня вычеркнули. Я спросил в редакции, почему мне об этом не сказали. Коллеги лишь очи потупили.)

— Нет вас в списке!

А я уже рассчитывал в голове варианты, как попасть на соревнования: билеты на матчи предварительного турнира были распроданы.

— Нет вас в списке! — ему не терпелось, чтобы я как можно скорее очистил помещение.

— А Выставкин есть? — спросил я у «зава».

— Какой Выставкин?

— А Владимир Глод?

— Какое еще Глод? — «зав» и помощники переглянулись.

— Юрий Выставкин, баскетбольный обозреватель из Киева, — чеканил я. — Владимир Глод уже *много лет*, — я выделил голосом «много лет», — пишет о баскетболе в «Физкультурнике Белоруссии»... Неужели вы их не знаете?

Нет, не знали!

Может, действительно, они проморгали?

«На польский глядят, как в афишу — коза, на польский выпяливают глаза в тугой полицейской слоновости: откуда, мол, и что это за географические новости?»

В дни Всемирной Универсиады самые правдивые журналисты Вселенной смотрели козами на Португалию. Нет такой страны! — сказало начальство. И

ни полстрочки в газетах. И на экране телевидения — ни-ни. Потому как: «откуда, мол, и что это за?»

(Пройдет несколько месяцев, и Португалия заполонит вся и всё.)

«Выпяливают глаза в тугой полицейской слоновости» и на Израиль. Самому объективному в мире болельщику совсем не обязательно знать, что в вышеозначенном Государстве существует спорт. И показывало телевидение только трибуны, когда по полю стадиона, носящего имя Первого Интернационалиста Солнечной Системы, шла делегация Израиля.

Ох, уж эти израильские спортсмены!хлопот с ними не оберешься!

Выигрывают они у наших соотечественников (баскетбольный чемпионат Европы среди юниоров, Югославия, 1972), а информации об этом матче королева языком слизнула.

Мюнхенскую трагедию не скрыть, и в ход идет обкатанный прием: виноваты сионисты. А кто же еще, если убиты израильские спортсмены!

Югославия далеко, Мюнхен далеко, однако — неслыханная наглость! — Израиль посылает делегацию на Всемирную Универсиаду. Государственный Флаг Израиля вынуждены водрузить — где! в Москве! — рядом с флагами других стран.

Но: ни звука по радио, ни картинки на экране, ни... Хотел написать «ни строчки в газетах», вспомнил: была не строчка — «подвал» огромный (о чем ниже).

А на дорожках, что ведут к Игровому залу (помните: 500 мест), через каждые пятьдесят метров расставлены КПП. Контролеры в штатском начеку: «Ваш билет!»

За час до начала матчей с участием команды Израиля уже не пропускают советских (у которых «серпастый, молоткастый») обладателей билетов и пропусков. Иностранцам пока можно.

У моего друга, московского журналиста, есть пропуск на два лица. За два часа до начала мы проходим в зал. Чтобы наверняка.

Первый ряд — скамейки низкие, сидеть неудобно — весь занят. По периметру. Боже, какая мать-героиня родила этих близнецов! Как с конвейера сошли: все поголовно в тренировочных костюмах. Более подходящего облачения у ГБ не нашлось. А может, и не гебешники это вовсе — физкультурнички или добровольцы-дружиннички?

Места покомфортабельнее заняли — этих-то ни с кем не спутаешь! — гебисты офицерского ранга. Для большей убедительности сидят с женами (или сотрудницами?) — идиллия: всей семьей — на стадион.

Журналистская ложа пока пустует. Иностранцы не спешат: всё равно впустят. Самых объективных на матче не будет: во-первых, не спущено редакционное задание, во-вторых, придешь — беду накличешь. (А как же мой попутчик — московский журналист? — поинтересуется дотошный читатель. Так его уж давно изгнали из редакции — это раз. И главное — справедливости ради — он был бы на матче в любом случае.)

Постепенно заполняются места на угловых трибунах. Идут с гордо поднятыми головами, идут москвичи и киевляне, ленинградцы и минчане, идут болеть за свою команду. Как и где достали билеты, Богу одному известно.

До начала — ровно шестьдесят минут. Впуск прекращен.

За полчаса на площадку, размяться, выходят бразильцы. Их появление едва замечено.

Но вот выходят израильтяне. Свист, улюлюканье, рычание — это первые ряды, это — комфортабельные трибуны.

«Эй, эй, Израэл! Эй, эй, Израэл!» — скандируют угловые скамейки.

Разминаются спортсмены — разминаются зрители.

Особенно неистовствует женская половина гебистского лагеря. Прямо-таки звериный оскал, брызжат слюной. Даже соседи (мужья? сотрудники?) пытаются их урезонить: нужно, мол, и меру знать.

И через весь матч, через все полтора часа прошли: рев и топот и «Эй, эй, Израэл!» Стены раскачивались.

...Баскетболисты Израиля проиграли несколько очков. Они поздравили бразильцев с победой. Бразильцы пожали руки недавним соперникам. Капитаны команд поблагодарили арбитров.

Первый ряд повернулся спиной к площадке — лицом к трибунам. Встали плечом к плечу: советская граница на замке! Никакого контакта с непрошенными в нашу страну гостями.

— Теперь жидам не попасть в полуфинал! — радостно подвела итог матча одна из жен (сотрудниц?).

Ее чувство разделяли редактора спортивных газет и спортивных рубрик. У них гора с плеч свалилась. Чего доброго, дошла бы команда Израиля до полуфинала, пришлось бы признать ее существование. Теперь же дышалось свободно.

Нашлась, правда, газета, приоткрывшая занавес. «Комсомольская правда» пером своего собственного корреспондента в Англии П. Михалева объявила, что израильские баскетболисты находятся в таких же условиях, как и баскетболисты других стран. Корреспондент «Комсомольской *правды*», сидя в Лондоне, опровергал «досужие домыслы» английского журналиста, находившегося в Москве.

Органы (печати!) не дремали: их лондонский полпред дежурил на посту.

Плата за страх

— Слава Богу, не взяли в Чехословакию. Из-за крон *ломаться* — дураком надо быть, — говорил

известный хоккеист, когда его не включили в сборную для товарищеских (всем известны «товарищеские» боины на льду, когда встречаются «друзья-соперники») матчей.

... — Четыре года готовился к Олимпиаде. Думал, попаду в призеры. А за медаль платят в рублях и валюте. Да к тому же призеров Олимпиады не *трясут* на таможне: вези — что хочешь. Но остался без медали и без денег, — горько сетовал на судьбу ленинградский легкоатлет после Олимпийских игр в Мюнхене.

... — Слышал новость: Тер попался! Возвращался из-за рубежа и нарвался. Теперь, говорят, года два будет *невыездным*, — захлебываясь рассказывал мне коллега о том, что участник пяти Олимпийских игр Игорь Тер-Ованесян попался на таможне.

— Ну, как отоварились?

— Под завязку.

— Что с техникой?

— «Филлипс», стерео.

— Джинсы есть?

— Две пары «Супер Райфл».

— А шмон был?

— Не было... Сунули им значки — они и отвалили!

Пресс-конференция в разгаре. Интервьюируемый — красавец — косая сажень — мгновенно реагирует на каждый вопрос. А вопросы сыплются... Не каждому они понятны: *отоварились, техника, шмон* — это понятно всем. Но «косая сажень» совсем не похож на прибывшего с одного из островов Архипелага. Так почему же — шмон?.. И кто эти таинственные, которым нужно *сунуть*, чтобы *отвалились*?..

Впрочем, оговорюсь: тем, кто попал сюда, понятно всё. Из-за границы возвратился спортсмен, благополучно миновал таможню и провез, следовательно,

кое-какой дефицитный товар — джинсы, магнитофоны... Он, конечно, рисковал, но таможенники на этот раз были либеральны и удовлетворились значками (кто сегодня не коллекционер!).

Поздравив счастливого, все переходит к конкретному вопросу: сколько стоит? Вопрос — не праздный, ибо жизнь дорожает повсюду. Подскочат цены на джинсы во Франции или в Италии — подсказывают цены и на свободном советском рынке. (Года три назад джинсы можно было купить в Ленинграде за 80 — 90 рублей — месячная зарплата начинающего учителя, сегодня за них просят 140 — месячная ставка квалифицированного инженера.) Цену назначает продавец: во-первых, он и только он в курсе «зарубежной дороговизны», во-вторых, наценка предусмотрена и «платой за страх», без которой не обходится таможенный досмотр.

Покупатели не сетуют на цены. Они месяцами ждали этот день, они откладывали рубли с каждой зарплаты, они мечтали о практичных удобных джинсах. Так неужели же теперь, когда миг обладания столь близок, они начнут торговаться?

Читатель, не спешите обвинять красавца-атлета: спекулянт, дескать. Не обвиняйте — пожалейте его! Его жизнь не из одних радостей состоит.

Сразу же после приезда (откладывать нельзя!) наш чемпион спешит на станцию технического обслуживания: личный автомобиль требует квалифицированного и быстрого ухода, а работники станции любят подарок.

Наш счастливчик направляет стопы и к директору «Гастронома»: «Примите, Ван Ваныч, духи для вашей милой супруги!» А директор достанет из-под прилавка бразильский кофе.

А как не навестить директора фотомагазина! Ведь сколько раз еще понадобятся аппараты «Зенит-ЕМ» —

источник получения дополнительной валюты в «загнивающих» странах!..

А подарок детскому врачу: дочь частенько болеет...

А администратору театра: «Слышал я, у Товстоногова скоро будет премьера»...

А... Нет, не осуждайте нашего рекордсмена! Пожелайте ему счастливой таможни!

...Хоккеисты ленинградского спортклуба армии задержаны на таможне: нашли валюту. Запланированные матчи в Финляндии отложены на неопределенное время.

...Сборная команда ленинградских боксеров прибыла в Польшу без нескольких ведущих атлетов. Их задержали в таможне: валюта.

... — Я — первая и главная таможня, — говорил мне тренер женской баскетбольной команды: — *Сам* проверяю чемоданы, чтобы у *девок* ничего лишнего не было.

— Пока мы играем, у нас есть всё. Нам дают квартиры, мы каждый год можем менять машины. А слава! Не посчитайте за бахвальство: классный спортсмен известен не менее кинозвезды. Меня, к примеру, узнают на улицах... Но наш век короток. Сколько я еще поиграю — три года, от силы пять. А дальше? Киноактер может и в семьдесят сниматься — у него достаток постоянный. Мы же к тридцати пяти выжаты, как лимон, и ждет нас сто пятьдесят рэ в месяц, хорошо — если двести... Поэтому если спортсмен не дурак, он создает себе материальную базу пока ездит за границу. Мы возем на сегодняшний день и на будущие годы. Чтобы не оказаться у разбитого корыта.

— А ведь ловят, — прерываю я монолог популярнейшего хоккеиста.

— Пока Бог миловал.

Над баскетбольной сборной гром грянул 17-го июня 1973 года. Ничто не предвещало грозы: команда возвращалась из Колумбии, где выиграла крупный международный турнир, а к победителям таможня снисходительна. Однако в таможенную *поступил сигнал*.

Проверяли всех: кого — больше, кого — меньше, в зависимости от сигнала. Нашли магнитофоны и парики «в товарном количестве». Изъятием товара всё бы и ограничилось. Ну, пошумели бы в спорткомитете: где, мол, ваша честь?.. Но — у игрока московской команды ЦСКА обнаружили пистолет (виновник, офицер Советской Армии, промямлил: «Покупал в магазине игрушек, не знал, что всамделишный»), и началась настоящая — вплоть до раздевания — проверка.

Парики, шубы, мохеры, «антигипертонические браслеты» (чемпион Токийской Олимпиады 1964 г. провез 1000 таких браслетов и реализовал по 100 рублей), рубашки, магнитофоны — это всё пустяки, но — *пистолет!* По «взрывоопасности» оружие стоит в одном ряду с наркотиками (и их везут — например, олимпийская чемпионка по гимнастике, мгновенно исчезнувшая со спортивного горизонта) и «запрещенной литературой» (и ее, разумеется, везут: нашумевшая история с шахматистом, еще несколько лет назад претендовавшим на мировое первенство; он возвращался после проигранного матча и, должно быть, запомнил, наивец, что после проигранного обязательно проверяют).

Итак, нашли пистолет. И был суд. И был приговор (три года лишения свободы на стройках «большой химии», отбыл, правда, половину срока). Но осудили не того, кто оружие провозил. Пистолетчик отделался испугом: сняли с него звание «заслуженный мастер спорта».

А судили провозившего вещи «в товарном количестве», ибо не только провозил, но и продавал, спекуляцией, значит, занимался. Ботинки, скажем, продавал по 40 рублей пару... И не удосужились судьи поинтересоваться в ближайшем комиссионном магазине о ценах на импортную обувь. Удосужились бы — узнали, что в магазине ботинки стоят ничуть не меньше. Но магазины — государственные, им промышленность спекуляцией отчего же нельзя... А подсудимый спортсмен, извините уж, частник. Что дозволено Юпитеру... И потом — ведь *именно на него* сигнал поступил!

После истории с пистолетом из национальной сборной отчислили (на разные сроки) пять баскетболистов. Не скоро оправилась команда — тогда олимпийский чемпион — от поражения в матче с доblesтными таможенниками.

...Крик души чемпиона Европы по волейболу: «Дипломатам можно, а спортсменам нельзя? Чем третий секретарь посольства какого-то Мадагаскара лучше меня! Но его-то не проверяют!»

Я не еду за границу

— Ребята, предлагаю пари. Я утверждаю: на вас либо синие трусы, либо черные. Если у кого-либо трусы другого цвета, тут же выкладываю десять червонцев.

Перспектива расстаться со ста рублями была у фотокорреспондента «Советского спорта» минимальной. Дело происходило в середине пятидесятых годов, когда только счастливым удавалось выехать за границу на какие-либо соревнования. Коллеги фотокора к кругу счастливых не принадлежали, а потому пользовались услугами исключительно советской легкой промышленности. А следовательно: носили трусы

черные или синие. Предлагая пари, фотокорреспондент рисковал не больше, чем те безвестные остряки, которые выкатили на футбольное поле переполненного стадиона роскошный лимузин и заявили, что его владельцем станет человек, предъявивший немедленно фотографию тещи.

Нынче времена стали другими. За границу ездят спортивные корреспонденты центральных газет и тех, что рангом пониже. Надо только прорваться в «обойму» и в первой же поездке оправдать надежды. Не оправдаешь — пеняй на себя.

Журналист обычно проходит обкатку в странах «народной демократии» или сопредельной Финляндии. Затем у него появляется шанс поехать в западную державу. К таковым, не знаю почему, причисляют и Югославию.

Корреспондент «Советского спорта» поехал в Грецию — тогда страну «черных полковников» — на чемпионат Европы по легкой атлетике. В первый же день прямо из гостиницы он направился — нет, не на афинский стадион! — на поиски обездоленных. Ему, разумеется, повезло, и он нашел человека, от которого отвернулось счастье. Страдалец на чем свет проклинал бездушную систему, лишившую его средств к существованию... Через пару дней читатели познакомились с «исповедью». А был ли «несчастный»? Поди — проверь! Не схватят за руку, не поймают с поличным. Зато аванс в счет будущих поездок заработан.

И — характерно: чем яростнее корреспондент поносит Запад, тем больше усилий прилагает, чтобы попасть туда снова. Никто не спросит: «Отчего же ты, братец, рвешься в ад?»

Летом семьдесят первого года в Ленинграде проходил международный турнир баскетболистов. Югославскую делегацию возглавлял Борис Кристанчич. Много и охотно рассказывал он о чемпионате мира,

который состоялся годом ранее в его родной Любляне.

Как-то Кристанчич спросил меня:

— Не помню тебя, Алексей, вроде бы не видел в Любляне?

— А я там и не был.

— О-о-о!!! — удивился Борис: — А еще говоришь, что любишь кошарку!

Это я да не люблю кошарку! Да как у Кристанчича язык повернулся! Да на свете нет лучшей игры, чем баскетбол — кошарка! С пылом доказывал я, а он свое:

— Почему не приехал в Люблян?

Демонстрируя братство баскетбольных журналистов, на мою защиту стал корреспондент загребской газеты «Спортске новости» Йован Косиер:

— Не приехал — значит не мог. Через четыре года в Югославии первенство Европы — тогда и придет. Правда, Алексей?

Но я не стал ждать семьдесят пятого года — решил брать быка за рога в семьдесят третьем.

— Чем рискуешь? Выпустят — не выпустят, — втолковывал мне Анатолий Пинчук, мой московский коллега, честнейший журналист, баскетбольный обозреватель номер 1.

— В Испании же чемпионат. Сразу в Испанию — такого не бывает.

— А сразу в Югославию — бывает?

Сам он, между прочим, первый и последний раз за границей был в Югославии, на том самом люблянском первенстве, которым попрекал меня Кристанчич. Друзья убедили Пинчука, чтобы он предпринял попытку, и попытка удалась.

О неудачной — с точки зрения редколлегии, но отнюдь не читателей (тираж газеты более 3 миллионов) — командировке Пинчука следует сказать особо.

Он не писал: первое — о гигантском социалистическом строительстве в Югославии; второе — о дружеских встречах с представителями рабочего класса и молодежи; третье — о том, что «к победам ведет комсорг»; четвертое — о «необъективности арбитров», засуживающих что есть мочи доблестную советскую дружину и т. д. и т. п. Он писал — непоправимая ошибка! — только о баскетболе... Пинчук оказался горе-политиком.

— Мы *предупреждали* Толю, говорили ему, как следует писать... Да и сам-то он — дожил до сорока лет, неужели ничего не усвоил, — делился со мной несколько месяцев спустя коллега Пинчука по «Советскому спорту». А Толя в это время уже не работал в газете, ушел «по собственному желанию».

И теперь А. Пинчук толкал меня:

— Подавай бумаги на Испанию!

И я пошел в партбюро Ленинградского телевидения за характеристикой.

— Вот образец, — сказал секретарь, достав из стола исписанный листок: — Здесь всё, как надо. Надо написать в том же духе.

— ?

— Чего тебе непонятно? — (На «ты» — это принято, это — по-партийному, и если человек приходит за характеристикой — не в Израиль, — то как с ним еще разговаривать — и дураку ясно — по-партийному.) — ...Чего непонятно?... А-а-а... Ты в первый раз? Я дал образец. Следуя ему, изложи, какой ты хороший... Да, да, сам! А кто за тебя писать должен? Не дяде же нужна характеристика... И считай — тебе повезло: через пару дней партком — на нем и утвердим.

Домой я не шел — летел: сказал же секретарь «утвердим». И мгновенно вылетели из моей башки десятки рассказов о том, как утверждают.

...Одного ленинградского журналиста при утверждении ошарашили: «Какие вы знаете партии в Японии?» Он собирался в Англию, а ему про Японию... «Так не знаете? А в характеристике написано — политически грамотен»... И не состоялась Англия.

...«Что говорил товарищ Живков на последнем совещании руководителей братских партий?.. Как это — забыли? Вы же в Болгарию собираетесь!»... И не состоялась у московского журналиста Болгария.

...У другого московского журналиста не вышел номер с Чехословакией. Кто-то донес, что видел его в Шереметьеве, когда он провожал своего друга в Израиль. Правда, членам партбюро было известно, что в этот день журналиста не было в Москве. «А если бы был, пошел бы?» — спросили. («А был бы ты, Пушкин, на Сенатской площади?..») С тех пор журналист никуда не выезжает.

...Да что там проводы в Израиль: моего ленинградского коллегу не выпустили в Польшу, потому что «по дошедшим до нас сведениям, вы не ладите с женой».

Сколько подобных случаев я знал. Однако — летел домой.

Вечером, накануне «моего» парткома, позвонил друг:

— Классиков проштудировал? Передовицы за последнюю неделю вызубрил?.. А скажи-ка теперь: бороду сбрил?

— А причем борода? — опешил я.

— Гы-гы-гы! — рокот в трубке: — Гы-гы-гы! Наивняк! Мальчик! Да как только ты войдешь к ним при своей бороде, они сразу же поймут, что ты посылаешь их на ...!

По поводу бороды я и с женой чуть-чуть повздорил (вот они — коварные «нелады!»). «Укороти чуточку», — увещевала жена. А я уперся и предстал перед членами парткома Ленинградского комитета по

телевидению и радиовещанию при Лениблгорисполкомах (трезвым не выговорить) «в бороде». Как в песенке: «Сегодня парень в бороде, а завтра — где? в эНКеВеДе»... Предстал я перед ними и — как с неба на грешную землю опустился. Вижу: подготовлена расправа: молчаливое переглядывание, блеск в глазах, уже и наброситься готовы.

Роли они расписали заранее. Телевизионщики — с ними я общался почти ежедневно — молчали, журналисты с радио — никого я не знал — после оглашения характеристики (мною написанной) открыли стрельбу. В том, что одни молчали, а другие говорили, была логика. Первые всегда могли сказать при встрече: «Не обижайся, старик. Что мы могли сделать! Они задали тон». Другие же видели меня в первый раз, знали, что больше не увидят, — к чему стесняться... В следующий раз, при утверждении характеристики радиожурналисту, роли поменяются. Большие артисты!

— А почему, собственно, в Испанию, *других* стран, что ли, нет! — раздался первый залп.

— Знаете ли вы, *какой* режим в Испании, какие провокации ожидают *каждого* советского человека! — пристрелка продолжалась.

— А мы вас *не делегировали!*.. Туристом?.. На свои деньги?.. Что значит — *на свои*? Вы получаете их в *нашей* кассе! — прямое попадание.

— Да как у вас хватило совести проситься *в гости* к Франко! Вы подумали, *чем* это пахнет? — от меня уже ничего не осталось.

Когда артподготовка закончилась и стало ясно, что противник сметен с лица земли, со стула медленно поднялось грузное тело председателя Ленинградского комитета по (и т. д.) Александра Петровича Филиппова, чей кристально чистый путь коммуниста известен на берегах Невы каждому пишущему собрату. Путь этот устлан десятками уволенных и разжалованных...

Вспоминается (к слову пришлось) общее собрание телевизионщиков. Одна из выступавших, женщина в годах, одобрительно отозвалась о передаче, в которой выступала известная актриса Алиса Фрейндлих. «Тебе понравилась эта *актрисочка*? — грозно прервал Филиппов: — А почему *этой самой* Фрейндлих *позволили* выступать в брюках?» — «Так мода теперь такая, Александр Петрович...» — «*Нет такой моды!*»... Редактор той передачи был понижен в должности.

— Товарищи! — сказал Филиппов, поднявшись со стула: — Товарищи, — вкрадчиво повторил он. — Выдача характеристик, товарищи, и-де-о-ло-ги-ческа-я работа. Это относится и к тем, — голос стремительно приближался к фортиссимо, — *кто* писал характеристику, — заглянул в бумажку, — товарищу Орлову.

И он сел.

Мой туристский вояж в Испанию в семьдесят третьем году не состоялся. Тешу себя надеждой, что там я когда-нибудь побываю. Без предварительных свиданий с парткомами.

А четыре года назад на чемпионат Европы поехал, в числе других, зам. редактора «Советского спорта». Не туристом, естественно, а спецкором. Добрался он до Парижа и дальше... не полетел. Истратив во французской столице за три дня выданную ему валюту, он преспокойненько возвратился в столицу советскую. Другому подобное никогда бы не сошло с рук: не выполнил задание. Но зам. редактора — а он спортивный полпред со стажем, еще в пятидесятые годы синим и черным трусам предпочитал трусы иных расцветок — расправа не грозила. Как-никак — главный идеолог газеты...

Характеристики для выезда за границу я так и не получил. Для «лишающихся советского гражданства» ее заменили справкой «об отсутствии материальных

и иных претензий». Такую бумажку мне выдали безо всяких парткомов. Кстати, эту справку, как и ту характеристику, я сам отстучал на машинке.

«Выдана..., работавшему... Материальных и иных претензий к... не имеется... Подпись. Печать».

Я, в свою очередь, также не имею «материальных претензий»...

ОРЛОВ Алексей Георгиевич — родился в г. Клин Московской обл. в 1938 г., окончил географический факультет и факультет журналистики Ленинградского университета, работал геологом, затем в газетах и на телевидении, с 1971 г. постоянный баскетбольный обозреватель газеты «Советский спорт», печатался в журнале «Аврора» и спортивных журналах, один из трех соавторов книги «Ленинградцы-олимпийцы» (Лениздат, 1973). В декабре 1976 г. эмигрировал, живет в Нью-Йорке.

ИСТОКИ

Виктор Каган

ПОСТСКРИПТУМ К ПРИКАЗУ

Под приказом стояли подписи Сталина, Жукова, Шапошникова и еще начальников поменьше, чьих фамилий я не запомнил. Он был объявлен во всех частях действующей армии на передовой, но никогда не читался по радио и не публиковался в советской печати.

Начало было бодрым, барабанно-фанфарным. «Не только друзья, но и враги признают, что части Красной армии дерутся стойко и, даже попав в окружение, не сдаются, но продолжают сражаться, нанося врагу большие потери...»

Далее приводились два положительных примера. Командовавший армией генерал Белов, действуя в тылу у немцев, нанес им большие потери (приводится длинный список) и, прорвав фронт, вывел из окружения 1603 красноармейцев в полном вооружении, в том числе 103 раненых. Про командира корпуса (фамилии не помню) сообщалось соответственно, что он вывел из окружения 653 бойцов.

Далее отмечалось, что имели место и отдельные отрицательные примеры. «Так, генерал Качалов, попав в окружение, сдался в плен немцам. Штаб армии и большая часть войск пробились к своим, а генерал Качалов предпочел дезертировать в плен к врагу». «Генерал Понеделин, попав в окружение, сдался в плен, в результате чего вверенный ему корпус был разгромлен».

Что осталось от окруженных частей, действия которых в пример не ставились, приказ не сообщал. Надо думать, не больше, чем от примерных. Вспомним, что в то время в армии было три корпуса, в корпусе 3 дивизии, а в дивизии примерно 20 тысяч человек, и мы получим некоторое представление о масштабах разгрома.

После филиппик, в которых «качаловы» и «понеделины» употреблялись уже как имена нарицательные, шел собственно приказ:

«1) командиров, уклоняющихся от непосредственного руководством полем боя или проявляющих трусость, смещать с занимаемой должности как самозванцев (!?), разжаловать в рядовые, а в случае необходимости расстреливать на месте;

2) командиры, сдавшиеся в плен, будут рассматриваться как изменники родины, изменившие военной присяге, а семьи их будут арестовываться и высылаться;

3) рядовых, сдающихся в плен, уничтожать всеми наличными наземными и воздушными средствами, а их семьи будут лишаться всякого государственного пособия и помощи».

* *

Качалов по-доброму разошелся со своей женой и женился на ее же племяннице. Новая семья — жена с матерью и маленьким сыном — жила в том же доме на Ленинградском шоссе в Москве, что и прежняя жена. Когда жену Качалова и ее мать отправили в лагерь, его бывшая жена забрала к себе ребенка и стала хлопотать за Качалова и его семью. Она обратилась к генералу армии Хрулеву, начальнику тыла Красной армии, который часто бывал у Сталина с докладами.

Жена Хрулева находилась в заключении. Когда

после ее ареста он явился к Сталину с очередным докладом, тот сразу сказал ему:

— Я знаю, ты сейчас захочешь просить за свою жену. Так ты про нее даже не заикайся. Мне Берия все уши прожужжал, чтобы я позволил и тебя посадить.

К неудовольствию Сталина, Хрулев не только не отрекся от своей жены, но все время ей помогал. Сам находясь в трудном положении, Хрулев, тем не менее, написал в Главную военную прокуратуру письмо в защиту Качалова: знает его со времени гражданской войны и не допускает мысли, чтобы он мог оказаться изменником. Если бы Хрулев мог привести доказательства, ставящие под сомнение приказ, скрепленный высочайшей подписью, письмо, вероятно, было бы для него роковым. А так оно просто осталось без последствий.

...Бывшая жена Качалова наняла убрать квартиру истопницу из котельной — крестьянку, приехавшую в Москву после освобождения ее деревни на Смоленщине. Истопница увидела портрет Качалова и сказала, что помнит этого человека: он партизанил в их районе, был казнен немцами, и она даже знает, где зарыт его труп. Бывшая жена Качалова кинулась к жившему в том же доме адвокату А. С. Дорфману. Тот составил заявление в Главную военную прокуратуру с просьбой допросить истопницу как свидетельницу и произвести эксгумацию тела. И машина строилась. Истопницу допросили и командировали с нею на место происшествия специального следователя. На скелете были обнаружены полуистлевшие остатки шелкового генеральского белья. Одна рука была несколько короче другой вследствие повреждения кости (Качалов на гражданской войне был ранен в руку), во рту был золотой зуб (примета, тоже совпадающая с Качаловым). Но, возвращаясь в Москву, свидетельница при неизвестных обстоятельствах провалилась меж-

ду вагонами и погибла под колесами поезда. И машина стала.

...Жена Качалова была выпущена из лагеря на правах отсидевшей срок. Ее мать умерла в заключении. Больная водянкой, жена Качалова почти не могла двигаться. Она прописалась в Александрове и лежала на квартире у своей тетки (бывшей жены Качалова), которая прятала ее в кладовку или в шкаф, когда приходила милиция с проверкой (дом стоял на правительственной магистрали). Однажды от хозяйки квартиры в Александрове, где жена Качалова была прописана, пришла телеграмма: «Срочно приезжайте». Она поехала и тут же была арестована и осуждена на 25 лет по обвинению в терроре.

...Бывшая жена Качалова получила письмо, нелегально переправленное из лагеря. Племянница сообщала, что во время следствия ее не выпускали в уборную, гасили об ее грудь папиросы и таким способом заставили подписать, будто она с револьвером в сумочке ходила по Ленинградскому шоссе, подстерегая Сталина и Берия. Тот же адвокат А. С. Дорфман написал от имени бывшей жены Качалова письмо в прокуратуру:

«Направляю письмо, полученное мною от заключенной (имярек). Если написанное в нем правда, то оно ее реабилитирует, если нет — значит, это клевета».

Сталина уже не было. Через несколько недель реабилитированную жену Качалова привезли на носилках, и она умерла на квартире у своей тетки в тот самый день, когда из милиции принесли ее паспорт с московской пропиской.

Жену Качалова похоронили на московском кладбище уже как жительницу столицы.

Сын Качалова, выросший на попечении тетки своей матери, стал юристом.

А самому Качалову поставили памятник возле

деревни на Смоленщине, где он погиб. Собирались еще издать его биографию в серии «Жизнь замечательных людей», но, кажется, раздумали.

*
*
*

Приказ я слышал сам, будучи на передовой в августе 1941 года.

Историю семьи Качалова мне рассказал покойный Александр Соломонович Дорфман.

Про А. В. Хрулева рассказано еще в воспоминаниях Н. А. Антипенко. «Тыл фронта», напечатанных в «Новом мире» (1965, № 8, стр. 153-154). Словесные штампы («клеветнический донос», «бериевская банда»), обязательные в подобных случаях для советской публикации, не могут замаскировать очевидного факта, что карьеру Хрулева поломала его неприемлемая для Сталина человеческая порядочность. Выдающиеся деловые качества, благодаря которым он был незаменим, пока положение было тяжелым, могли лишь отсрочить неизбежную опалу.

Хрулев был смещен с должности и обойден наградами, но умер своей смертью и похоронен возле кремлевской стены. Сделать карьеру на его крови было немалым соблазном, но Хрулева нельзя было тронуть без высочайшего повеления, которого так и не последовало: Сталину он не мешал, а полезным оказаться мог.

Показания истопницы, получи они законный ход, вынудили бы чиновников как-то скомпрометировать документ, под которым уже стояла высочайшая подпись. При жизни Сталина это было неизмеримо опаснее, чем просто убраться в свидетельницу...

19-23 декабря 1976, Иерусалим

КАГАН Виктор — родился в 1920 в Смоленске. С 1937 по 1941 учился в Ленинградском Политехническом институте. Летом 1941 ушел добровольцем в ополчение. В феврале 1945 был осужден по политической статье и 10 с половиной лет провел на Архипелаге, в тои числе 5 с половиной лет на одной из ленинградских «шарашек». В 1966 защитил кандидатскую диссертацию по физике. С 1975 живет в Израиле.

«ВРЕМЯ И МЫ»

Журнал «Время и мы» продается в магазинах:

- 1) Les Editeurs Réunis, 11, rue de la Montagne Ste-Geneviève, 75005 Paris.
- 2) Les Livres Etrangers, 9, rue de l'Eperon, 75006 Paris.

Подписку можно оформить в редакции журнала «Время и мы» по адресу:

Tel-Aviv, Nachmany St. 62 «Time and US».

Стоимость годовой подписки во Франции — 184 фр. фр., в Германии — 92 ДМ. Во Франции подписка оформляется только через банк по адресу:

Israël Discont Bank, Branch Akirja acc. 140317 «Time and US».

Подписку можно также оформить через представителя журнала во Франции и Германии Ария Вернера по адресу:

A. Werner, Postfach 50, 1968, 5000 Köln, W. Germany.

Литература и время

Алексей Лосев

НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ...

Заметки о стихах Иосифа Бродского

*Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда...*

Эти заметки я начал писать для самого себя. Мне посчастливилось дважды держать корректуру стихотворений Иосифа Бродского: в первый раз — в Ленинграде, для машинописного издания, и недавно — в США, для книг «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи». Корректурa — иногда увлекательное занятие, но получилось, что я так долго ползал по этому Нотр-Даму с лупой, что почти забыл, как выглядит здание в целом. Я знаю все стеклышки в витражах, и разглядывал химер в лицо, и помню, в каких местах стены не подведены под крышу да так и брошены, но давно не видел всего сложного и стройного силуэта...

Мои заметки не «Key to Brodsky». Поэт — не комната в мотеле, чтобы его отпирать и запира́ть. Научить понимать поэзию нельзя: ее, поэзии, еще и нет без двух компонентов одновременно — творчества поэта и понимания, восприятия читателя. Готовность к поэзии есть наша форма участия в ней. И все-таки мой незримый собеседник — тот, кому поэзия Иосифа Бродского или вообще незнакома, или чужда, или стоит не более как в ряду иных, в меру сладких, в меру волнующих явлений нашей культуры. Что-то вроде

миссионерского импульса разжигает во мне надежду приобщить еще кого-то к миру этой поэзии. Как-то, знаете ли, обидно думать, что всё лучшее всегда достается потомкам. Быть современником большого художника — это (я бы хотел найти слово, объединяющее в себе *счастье* и *подспорье*) в жизни. Это помогает выжить, в чем мы — будучи оптимистом, убежден — нуждаемся больше, чем наши потомки.

В восьмом сонете к Марии Стюарт И. Бродский пишет:

...сведи удача нас,
понадобились вряд ли бы слова нам:
ты просто бы звала меня Иваном,
и я бы отвечал тебе «Alas».

.....

Я б гордым показал тебя славянам.
В порт Глазго, караван за караваном,
пошли бы лапти, пряники, атлас...

Поэт пародийно, но обряжает собственный образ в бармы и венец, видит себя Иваном — Васильевичем? IV-м? — во всяком случае, если современником, то — династически равным Марии по фамилии Стюарт. Драматические положения в духе «Египетских ночей» или «Теперь я раб, в каменоломне...» чужды фантазии Иосифа Бродского. Но вполне серьезные, глубокие уподобления собственной судьбы судьбе Данте или даже Христа свойственны его поэзии.

Сейчас принято считать, что творчество вообще несколько параноично по своей природе. Это дешевая газетная передержка, а к творчеству Иосифа Бродского паранойя и мания величия и вовсе не имеют отношения. Доказать это легко: перелистайте книжки Иосифа Бродского в поисках автопортретов — разве

параноическому сознанию свойственно столь ироническое отношение к самому себе?

Но в стихах присутствуют как бы два Иосифа Бродских. Один — с жалобами на возраст, на карьеру, на растущую плешь, на семейные неурядицы, на самого себя (ленив, невесел, дни провожу «меж печкой и продавленным диваном»); но одновременно и другой — тот, кто с иной, заведомо высокой позиции оценивает бытие первого, «внешнего». Серьезное и почти благочестивое отношение поэта к *другому Иосифу Бродскому* есть отношение к миссии поэта как послушника Музы, исполнителя воли Божьей, чья судьба разыгрывается в формах христианской мистерии или трагедии титанов (Данте). Тут мало общего с эгоцентризмом и уж бесконечно далеко от саморекламы эстрадных поэтов. Это тот же пиетет поэта к поэзии, который позволяет Пушкину воскликнуть «Подите прочь, какое дело...» или Маяковскому изображать космического *другого Маяковского*. Читатель не может стать полным соучастником поэзии, если не будет разделять этот убежденный пиетет поэта.

У Иосифа Бродского есть стихи, которые тяжелы, сухи, рассудочны. Из больших вещей, включенных в последние сборники, я полагаю такими, например, «Памяти Т. Б.» и — популярное настолько, что английский перевод был помещен даже среди норковых страниц фешенебельного журнала «Vogue», — «Пенье без слов» (шапка в журнале: **ВЕЛИКАЯ ПОЭМА О ЛЮБВИ!**). Ощущение от «великой поэмы» такое, словно Муза оставляет поэта, предавшегося суемудрию. Он остается наедине со своей сухомыткой. Он долго вычерчивает какие-то построения в духе геометрии для 7-го класса и географии для 6-го, но никакой любви в этих многих строчках не получается. Приобщения читателя к таинству не получается. Странно: если мы уже хорошо знакомы с И. Бродским, мы

знаем, что его мастерство безупречно и, стоило бы ему захотеть, он бы мог увлечь, заморозить, втянуть нас в свою ворожбу. Но он не хочет. По каким-то причинам он проявляет непонятную доблесть, предпочитая оставаться в одиночестве. По каким?

Та же малоодушевленная риторика свойственна длинной элегии «Памяти Т. Б.» (1968). Стихотворение — непосредственный отклик поэта на внезапную и загадочную смерть друга, но мы не находим в нем ни трагедийности, ни даже простой сердечной печали. Главная интонация этого многословного, не лишнего повторов стихотворения — неуверенность. Это отражается в не очень-то свойственном Бродскому солагательном наклонении большинства периодов (все эти «если», «вряд ли»), в чрезмерной развернутости метафор — словно бы автор, не убежденный на этот раз в правомерности своих тропов, старается убедить себя и читателя (и даже больше себя, чем читателя) подробным *логическим* их развертыванием. Обычно зоркий и памятный на характерные черты реальности, он здесь словно бы пасует перед стремительным ускользанием из памяти живого облика близкого человека. Да и нет здесь живого облика. Эпитафия как будто бы написана на заказ посторонним мастером, которому заказчики сообщили лишь несколько довольно формальных сведений о покойнике: обстоятельства смерти (близкие к самоубийству), семейное положение (не замужем), род занятий (тюркология). Отсюда — несколько назойливое подкрашивание риторики «тюркскими» элементами, что даже шокирует: неужто профессиональные занятия погибшей девушки — первое, что уместно вспомнить другу в момент трагедии? Ведь нашлось же у него столько проникновенных слов, чтобы оплакать смерть незнакомого и чужезычного поэта Т. С. Эллиота или вовсе уж отдаленного столетиями Джона Донна. Почему же он капитулирует перед близкой бедой?

Эта капитуляция стоит иных побед. Сухое и многословное, шокирующе равнодушное стихотворение (вплоть до удивления автора собственному равнодушию), как неказистый пробный камень, выявляет одно из самых ценных качеств поэтической работы Иосифа Бродского — неизменную при всех обстоятельствах, всегда полную, всегда до крайнего предела и за, искренность. Фальшь исключена. Он предпочитает оставаться (или просто не может не быть?) высоким художником, даже когда терпит поражение, но не преуспеть в качестве утонченного ремесленника, изощренного имитатора (а он бы мог, с его-то колоссальным арсеналом поэтических средств!).

Сочиняя «Памяти Т. Б.», он не изображал образцовой классической скорби, не взвинчивал себя кликушеством, а с обычной полнотой самоотдачи изобразил свое непосредственное чувство, и чувство это было изумление перед непостижимостью смерти, перед неадекватностью проявлений скорби случившемуся, перед хрупкостью загробных мифов, перед стремительностью, с которой природа стирает чье-то личное существование со своей поверхности и из памяти оставшихся. Даже скорбь была явно слаба, чтобы тягаться с этим изумлением. Элегией «Памяти Т. Б.» поэт не умножил число своих трагических шедевров, но она свидетельство подлинности всего, что он пишет, тот самый «патент на благородство», без которого не обходится ни один подлинный художник. И свидетельство доблести в то же время.

«Цель творчества — самоотдача...» Четырехстопный ямб и уверенность позднего Пастернака в собственных дефинициях так убедительны, что мы охотно им доверяем, в то время как Бродский, видимо, поставил бы вопросительный знак уже над первым словом: «цель» — ?

Что касается цели, результата (уже достигнутого), то в стихах Иосифа Бродского мы находим мно-

гие свидетельства тому, что результат вызывает у художника недоумение, если не смятение. Заканчивая экстатический «Разговор с небожителем» картиной рассвета и отрезвления, тем более убедительной, что в поэзии Бродского такие описания чаще всего синхронны, то есть поэт как бы озирается и сообщает, что он видит сию минуту, в момент творческого акта, — он пишет:

Теперь отбой,
и невдомек,
зачем так много *черного на белом?*
Гортань исходит *грифелем и мелом...*

Рукопись только что законченного или заканчиваемого стихотворения изображена классическим приемом остраниения, она представляется автору никак не связанной с только что миновавшим экстазом, в пробудившемся от экстаза сознании не возникает ни малейшей мысли о том, что все эти слова, нет, эти графические значки, нет, даже просто что-то черное на чем-то белом, есть результат (цель!) промчавшегося душевного потрясения. Для мелического по своей природе творчества Иосифа Бродского (поэт — певец: отсюда — *гортань*) тот факт, что «гортань исходит грифелем и мелом», если и есть констатация результата (цели), то только как результата абсурдного.

Собственно, всё вышесказанное мы находим и на несколько лет раньше «Разговора с небожителем» в «Письме генералу Z». Там та же мысль развивается не столь взволнованно, но с многозначительным прибавлением: «...сумма страданий дает абсурд. / Этот абсурд обладает телом. / И да маячит его сосуд / *чем-то черным на чем-то белом*». И здесь законченные стихи для автора снова лишь абсурд, абсурдный результат, абсурдное тело, в которое облачается творчество, — просто что-то черное на чем-то белом. Начало творческой параболы здесь прослежено раньше,

указывается, что творчество, или даже шире — жизнь художника как творческий акт, — это, прежде всего, сумма страданий.

Но, пристально рассматривая эту тему как характерный мотив поэзии Иосифа Бродского, вглядываясь в ее разные в разных пьесах модификации, мы рискуем упустить кое-что, очевидно более важное для поэта, более общее. Ведь *сумма страданий* — это понятие из основ христианской этики*. Сумма страданий в христианской этике приводит к искуплению. Если вернуть наизнанку термин «риторический вопрос», мы получим то, что делает здесь Бродский: «риторическое утверждение». Если риторический вопрос по сути дела не вопрос, то риторическое утверждение поэта, что вот, мол, на опыте собственной жизни и творчества он убеждается в том, что сумма страданий приводит к абсурду, к созданию отчужденного и безразличного судьбе творца результата творчества — произведения, — такое утверждение есть по сути, конечно же, вопрос, задаваемый поэтом христианству (не сказать ли — Христу?).

Это лишний раз дает нам основание вовсе не парадоксально утверждать, что Иосиф Бродский с его бесконечными вопросами и сомнениями, генезис которых отчасти язычески-славянский, отчасти ветхозаветно-иудейский, всеми корнями и всей практикой творчества — христианский поэт.

«Вера без дел мертва»; в применении к поэту это, увы, означает, что чем чаще он испытывает себя, свою Музу и своего Бога, тем живее его связь с верой. Не с той, доступной, по слухам, счастливчикам, которую можно раз и навсегда проглотить и усвоить, как облатку, союз с которой можно зарегистрировать

* Поставленное в ряд с «абсурдом», оно указывает на экзистенциалистический характер мировоззрения Бродского, в первую очередь — на его связь с Киркегором.

более или менее архаическим актом, но с той, которую надо неотрывно беречь и, когда она потухает, великими трудами разжигать вновь, как огонь на ветру; которая, собственно говоря, и толкуется в Евангелиях.

Эта тема не желает уходить из сознания и творчества поэта и в нынешнем его периоде, когда многие мотивы ушли или переменились. Изменяется лишь интонация. Например, она становится горько-элегической в «Декабре во Флоренции»: «Человек превращается в шорох пера по бумаге, в кольца, / петли, клинышки букв и, потому что скользко, / в запятые и точки». Или не столь минорная интонация того же мотива в финале «Похорон Бобо»: «И новый Дант склоняется к листу / и на пустое место ставит слово».

Уместно сказать, что такое отношение к творчеству не было изначально свойственно Иосифу Бродскому, оно появилось и развивалось вместе с взрослением поэта, с углублением взгляда на жизнь. Еще за три года до «Разговора с небожителем» и даже всего за год до «Письма генералу Z», в милом и остроумном «Послании к стихам» (умиленной стилизации Кантемира) Бродский писал: «...милые стихи, в вас сердце / я свое вложил. Коль в Лету / канет, то скорбеть мне перву. / Но из двух справ — я эту / смело предпочел сему перлу. / *Вы и краше и добрей. Вы тверже / тела моего. Вы проще / горьких моих дум,* что тоже / много вам придаст силы, мощи...» Стало быть, еще и речи не было ни о каком трагическом абсурде творения, отчужденного от Творца. Было — если и грустное, то в то же время сладостное *традиционное* сознание перевоплощения, самоусовершенствования в работе, служения благу и, возможно, таким образом бессмертия. Традиционность вообще благотворна, но, обладая мощной властью диктовать мысли, чувства и отношения, традиции опасно комфортабельны, они избавляют от необходимости собственного опыта; а кое для кого и губительны, пото-

му что в процессе опыта, страдания, самоотдачи только и состоит подлинно высокое творчество.

Это рассуждение вернуло нас к Пастернаку — «Цель творчества — самоотдача...» И если, запнувшись на первом слове, мы обратились к тому, как «цель творчества» трактуется в поэзии Иосифа Бродского, то «самоотдача» сомнения не вызывает. Слово можно выбрать и другое, но для возрожденного из пепла христианского мироощущения Пастернака (выстраданного — самого первичного и сильного) родился этот выкрик: Самоотдача! — и при всем несходстве поэтов мы вправе назвать тем же именем то, что происходит с Бродским в стихах зрелого периода. И если уж говорить о цели, наконец, то не есть ли она для поэта в попытке слияния с Богом в творческом акте, который и есть единственное спасение от ничто.

Здесь на земле
от нежности до умоисступленья
все формы жизни есть приспособленье.
И в том числе
взгляд в потолок
и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,
в котором нас разыскивает, скажем,
один стрелок...
(«Разговор с небожителем»)

Могут указать на ироническую интонацию в приведенных строках. Она есть. Но поэт так продирался к уровню этих строк, что, может быть, сам не заметил, как от удобного плаща иронии остались одни лохмотья.

«Всё виснет на сопле своих вопросов...» Вопросая, ответственный философ не чает получить ответа. Проклятие «проклятых вопросов» и состоит в бесконечном ускользании ответа. Но там, где поскальзывается философия, — беспечно посвистывая, проходит

поэзия. Все эти черные пропасти пустоты не исчезают, но теряют свои ужасные качества в «Бабочке». Неуклюжая грация этого стихотворения, построенного на рывках вопросов-вопросов, имитирует полет бабочки. Слышатся отголоски поэзии георгианских сквайров, задумчивых и пытливых, но крепко стоявших обеими ногами на земле. И наш поэт, вопрошая и вопрошая, и не дожидаясь ответа, то ли как Вордсворт, то ли как монах-дзеннит, неожиданно нащупывает надежную почву под ногами. Само это непоследовательное, не рассчитанное на ответ вопрошание взрывает «немецкую», фаустовскую логику «проклятых вопросов» — ответ между строчками, там, где сердце екает в провале на месте непоставленного ответа, прежде чем подхвачено новым набежавшим вопросом; это волшебное ощущение и есть баланс света и ничто, жизни и смерти, Бога и пустоты, но эта же возникающая в междустрочиях энергия и есть поэзия. То есть: единственный ответ, надежда и спасение — поэзия.

Мы вдруг видим, что автор впервые улыбается не сардонически, не иронически и не печально. Это мгновенное озарение простым светом: ответ в самом вопросе, в самом вопрошании. Совсем просто, как «А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало...» Ответ — И! Всегда — И.

«Пустота. Но при мысли о ней / видишь вдруг как бы свет ниоткуда» («24 декабря 1971 года»). Источник страдания, «предмет боязни» и объект отворачивания — ничто, пустота, которая «и вероятнее и хуже Ада». Шкловский, прочтя только что написанное стихотворение Бродского со зловещим названием «Nature Morte», сказал, по-моему, не без ужаса: «Так еще никто не описывал *вещи*...» Действительно, еще никто так не описывал человека — *как вещь*. Мы знаем немало спиритуальных путешествий, когда поэты вос-

паряли в область чистого духа. Иосиф Бродский первый отважился на прогулку в другую сторону. Правда, сам он (в «Похоронах Бобо», в «Декабре во Флоренции», в «20 сонетах...») намекает, что путешествовал вслед за Данте, однако не забудем о разнице между путешествиями: бурлящий аллегориями, дымящийся иносказаниями Ад Данте неразрывно связан с Землей и с Небом, это Ад сознания, для которого нераздельно сущее и идеальное, макрокосм которого един — небо возвышается до Рая, земля углубляется до Ада. Стало быть, путешествие в Дантов Ад застраховано верой в Благое Провидение. В ад пустоты, абсолютного ничто, путешествуют, как падают в пропасть. И если в стихах среди ужаса этого беспорядочного и безобразного падения вдруг засветился спасительный свет *ниоткуда* — это свет откровения.

Что же мы видим на этой интересной картинке?

Мы видим поэта Иосифа Бродского, скептически отчаявшегося как в логике, так и в чистой метафизике, мыслящего и воспринимающего мир экзистенциально, как и его собратья по веку, не принимающего омертвелой обрядовости (что швабра, что епитрахиль, всё едино — «Nature Morte»), усвоившего отреченную улыбку дзенна и, тем не менее, *дарованного* откровением. И тут начинается исполнение заповеди: к нищему духом приходит блаженство, и поэту даже не обязательно называть своим именем *свет ниоткуда*, он и так разлит в стихотворении, в его торопливом, с комком в горле, беге сквозь город, бедную магазинную толчею, трамваи, слабо освещенные парадные, а главное — в этом стремлении растворить это откровенное чудо, наделить им всех.

«Все» возникают сразу же при начале стихотворения: «В Рождество все немного волхвы...» Лишь внешне зима, город, Рождество придают стихотворению сходство с живаговским циклом Пастернака. Но существеннее для нас глубокое различие в христианском

мировосприятию обоих поэтов. Стихи Пастернака знаменуют мощное возрождение христианской осмысленности мира («...через много-много лет / Твой голос *вновь* меня встревожил...» и т. д.). Как поэт он выражает это со сверхъестественной силой: строчки в конце «Рождественской звезды» — «...вдруг кто-то налево / от двери рукой отодвинул волхва...» — действительно не что иное как чудо, поэтическое чудо, адекватное свершившемуся 1977 лет тому назад, — поэт, Пастернак, стоит там, при входе в пещеру в группе волхвов, и, обернувшись вместе с волхвами, видит Звезду, и это событие определяет его судьбу на две тысячи лет вперед. Когда та же Звезда появляется в конце рождественского стихотворения Иосифа Бродского, ее появление абсолютно не сопряжено с какой бы то ни было внезапностью; подчеркнуто современный антураж стихотворения с самого начала освещен этим светом, эту строчку — «смотришь в небо и видишь — звезда» — словно бы можно без ущерба для композиции переставить в любое место стихотворения. В отличие от Пастернака, для Бродского Рождество не событие в истории человечества, а событие в истории каждого человека; повторяемость в каждой человеческой жизни светоносных элементов христианской мистерии — единственная альтернатива столь тяготящим поэта узам времени и пространства.

Путешествия Иосифа Бродского.

...Собственно путешествиями можно назвать только два «дивертисмента» — литовский (1971) и мексиканский (1975). Вынося определение жанра как развлекательного в заглавие, Бродский подчеркивает, что предлагаемые стихи находятся несколько в стороне от кардинальных тем его поэзии. В этом есть осознанное или неосознанное лукавство, потому что, в отличие от прозы (Грэм Грин, например, правомерно разделил свои произведения на «романы» и «развече-

ния»), поэзия имеет тысячу возможностей «несерьезно» трактовать серьезные темы, но при этом она никогда не становится в самом деле только развлечением. Интересно — не значит несерьезно, неглубоко. Все стихи Иосифа Бродского, на наш взгляд, очень интересны: повествовательным мастерством, способностью автора видеть вокруг себя не заранее припасенные и выпестованные клише, а непосредственно и остро реагировать на действительность, обогащать ее силой воображения, открывая новые ипостаси жизни.

Пусть он философически грустит об однообразии мира в послании «К Евгению», но, «москвич в Гарольдовом плаще», он не в силах скрыть блеска зрачков, пожирающих яркие зрелища. Интонация «ну, был в Мексике... ну, взбирался на пирамиды...» — случайная в этом путешествии. Главное здесь — это работающая на полный ход мощная машина воображения, которая раскручивает перед нами такие великолепные, густо насыщенные яркими деталями картины, как «Гувернантка», «1867» или «Мерида».

Вторую часть новеллы о незадачливом императоре («1867») он смело пишет на музыку аргентинского танго. Этот нарочито дешевый, нарочито экзотический аккомпанемент контрастирует с уверенной и сухой манерой, в которой дан портрет героя. Достигается сильный трагический эффект: за гротескным и символическим танцем несчастного императора как бы следит пустоглазый череп из последней строки.

Прием повторяется в «Мексиканском романсеро», ирония которого несколько более романтична: партия дешевого сопровождающего оркестрика, создающего гротескный контраст содержанию, доверена стилизации «под Лорку».

Хотя вещи Иосифа Бродского пестрят географическими названиями, неправильно по такому формальному признаку, как пейзаж стихотворения, относить к жанру путешествий почти всю лирику Иосифа Бродского

последних лет, как сделал Карл Проффер («New York Times Review of Books», 1976, 19 февр.). Два итальянских стихотворения — «Лагуна» (1973) и «Декабрь во Флоренции» (1974); «Темза в Челси» (1974); два не озаглавленных, написанных в одном размере и в одной интонации, словно близко стоящие отрывки из лирического дневника, американских стихотворения — «Я жил тогда в стране зубных врачей...» и «Воскресный вечер в скромном городке...» (1972) — всё это цикл не о путешествии, а об изгнании, торопливо и страстно начатый по горячим следам в стихотворении «1972» и, может быть, завершённый большою (не по количеству строк, а по трагическому размаху) поэмой «Колыбельная Трескового Мыса».

Изгнание — нечто совершенно противоположное путешествию. Путешественник жадными очами смотрит вокруг, изгнанник — больше внутрь себя, на ускользающий образ родины. Путешественник видит вокруг разные страны, изгнанник всё время одну — НЕ-родину. Изгнанника можно назвать путешествующим разве в той степени, в какой путешествующим было семейство Лота. По Мексике Бродский путешествовал так же, как несколькими годами раньше по Литве, но, в целом, с июня 1972 он не путешествует, а живет в изгнании.

Центральное стихотворение этого ряда — «Декабрь во Флоренции». Во Флоренции в декабре автору всё наводит на ум судьбу Данте, так и окончившего свои дни в клетке изгнания («щегол ... в центре проволочной Равенны»).

Река «под шестью мостами» (Николаевский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, Петра Великого — Охтенский, Володарского?), толпа, осаждающая трамвайный угол, — все эти смещения мест откровенно ставят судьбу автора в параллель с судьбой великого флорентинца. Для полного совмещения автор даже избегает называть имя Данте в стихотворении.

Здесь уместно вернуться к высоким параллелям и мистериальным мотивам в творчестве Иосифа Бродского. В формуле «богочеловек», которая сделала последние две тысячи лет *новым* временем, он понимает «человек» только как первое лицо; таким образом, путь каждого — для него крестный путь. Неслучайный след такого самоощущения мы находим, например, в образах «Лагуны», в эту же степень возводится жестокий реализм «Nature Morte» — последней частью. Замечательно, что ни широта взгляда, ни вольность, ни беспощадность творчества Иосифа Бродского не страдают от этой постоянной ориентированности на жизнь и проповедь Христа. Начиная с юношеского, очень популярного в самиздате «Рождественского романса», календарь поэзии Иосифа Бродского — только христианский, определяемый не датами солнцеворотов, а Рождеством, Пасхой, Сретеньем. Смена номеров года для этого календаря малозначительна, важно другое: что каждый год повторяется. Год — Рождество, Пасха и всё остальное. Этим во многом и определяется волнующая сиюминутность происходящего в календарных стихах Иосифа Бродского, эффект присутствия и участия автора.

Вспомним «Сретенье» (1972), простоватое величие которого определяется тем же пристальным взглядом в упор, каким Джотто рассматривал сцены, изображенные им на стенах капеллы Скровеньи. Эффект присутствия здесь магически сильный. Настолько, что перебегая взглядом с Марии на Младенца, на Марфу, на Симеона, мы наполняемся уверенностью, что вся сцена Сретения Богородицы увидена с очень близкого расстояния глазами непременного участника этого события, в силу этой роли зрителя и не изображенного в традиционном составе участников сцены, — это, конечно, старый мастер, муж, Иосиф.

Хотя о географии в стихах Иосифа Бродского надо говорить осторожно и, по большей части, условно, жизнь поэта складывалась так, что он, вольно или невольно, немало поколесил по глобусу, и эти передвижения так или иначе все отразились в его стихах. Как ни странно, при этом мы находим в стихах еще и отчеты о путешествиях в страну, отсутствующую на школьном глобусе, но занимающую очень заметное место в воображаемой вселенной поэта, — в Империю.

Культурные, психологические, художественные источники возникновения Империи многообразны, сложно переплетены и не всегда прослеживаются. Но, прежде чем указать на несомненные, подумаем — зачем, собственно, поэту, так чутко откликающемуся на непосредственную действительность, понадобилось создавать еще одну зону иллюзорной реальности?

Прежде всего, здесь нет места предположениям об эзоповом языке, шифре и т. п. Это не для Иосифа Бродского. Слишком бесшабашно он преступал всю жизнь бесконечные табу родимой государственности, чтобы вдруг ни с того ни с сего начать прятать свою фигу в карман (или, в свойственной ему стилистике, не фигу, а жест скрещенными руками, «похожий на / молот в серпе», — «Лагуна»). Не в характере нашего поэта и эскапизм, бегство от действительности, строительство пресловутой башни из слоновьих косточек, рытье кафкианской норы или ребяческое рисование цветными карандашами «гринландии». Похоже, что дело в другом.

Философия Иосифа Бродского всегда клонилась к обобщениям и, не чураясь злобы дня сего, не хочет идти на поводу у сего дня. Рим, по Мандельштаму, «место человека во вселенной». Очень смахивающая на Рим императоров Империя Иосифа Бродского — это вечное место надежд, страданий, отчаяния и любви человека. Это не Утопия и не Антиутопия — это

символ общественности и государственности, которая не лишена собственной эстетики, но всегда враждебна и противопоставлена личности. Понятно, почему в видениях поэта этому «Риму» противостоит Грек (видимо, скорее идеальный, чем исторический). Грек абсолютно свободен по своей природе, для него существенны отношения с природой и со своим Пантеоном, а не с тяжелой абстракцией государства.

Империя Иосифа Бродского похожа на императорский Рим прежде всего потому, что поэт справедливо ощущает Рим двухтысячелетней давности своей духовной родиной. В генеалогии мировой поэзии Иосиф Бродский — отпрыск основного ствола. Через Державина и Пушкина, через европейскую поэзию Ренессанса и XVII века основные принципы его поэтики прямоком восходят к творчеству семи великих римлян (Тибулл, Катулл, Проперций, Марциал, Гораций, Вергилий, Овидий). Глубокая привязанность Иосифа Бродского к этим поэтам, к Марциалу и Овидию в первую очередь, очевидна. Очень важно для Бродского то, что эта римская поэзия непосредственно предшествует возникновению христианства и присутствует при нем, что она внесла вклад в создание моральной и интеллектуальной атмосферы, способствовавшей распространению нового учения. В то же время она способствовала сохранению, хотя бы и в модифицированном виде, идеалов уходящей пантеистической цивилизации. Поэты (как и писатели, мыслители, художники) Рима подготовили Рим к приходу апостолов, но, вместе с тем, предохраняли его по мере сил от узкого фанатизма прозелитов. Всё это очень совпадает с первохристианским и в широком смысле слова либеральным мироощущением Иосифа Бродского.

При всей его любви к псевдоалександрийской поэзии Кавафиса и, может быть, меньшей любви, но несомненной связи со сходной поэзией Кузмина, Империя Иосифа Бродского имеет мало общего с Алек-

сандриями грека и русского. Ностальгические и элегические Александрии Кавафиса и Кузмина суть формы эскапизма, призрачные ретроспективные утопии, укрывавшие поэтов от непереносимых проблем существования, вымышленные страны, воплощавшие философские и эстетические идеалы каждого из них. Империя Иосифа Бродского — не адрес иллюзорной эмиграции, избавляющей от проблем смерти, греха, несвободы, а напротив, место встречи поэта с этими чудовищами лицом к лицу, очищенная от лишних суетных деталей площадка трагедии, грандиозный полицейский участок (Хлебников: «Участок — великая вещь. Участок есть место встречи меня и государства»).

В этой поэтике привлекает ее смелость, ясность, простота. Как нередко бывает при чтении Бродского, приходит на ум сходство с ренессансной живописью. Закон обрушивается на статистических граждан в «*Post Aetatem Nostram*» с кроважидным безразличием дракона с картин Карпаччо, только не будет Св. Георгия, ибо, как предупреждает название поэмы, этот ужас, этот мир рафинированной несвободы и торжества посредственности есть мир после ухода христианства.

Иосиф Бродский изображает Империю как погибший мир, сохраняющий видимость живого. Он настолько жив (тут разворачивается во всем блеске художественное мастерство поэта), чтобы притягивать к себе тысячью ностальгических нитей — азийским ливнем, циркульями, базарами, гетерами, мальчишками, собаками, — но он уже мертв в середине, он лишен будущего и надежды.

В «*Post Aetatem Nostram*» есть реминисценция из русской живописи, с силой выражающая эту безнадежность: сцена, где грек, греясь на берегу, следит за купаньем двух скованных одной цепью хохочущих рабов. Рабы хохочут у воды, как на знаменитом этюде Александра Иванова, но нет и не будет приближаю-

щегося Христа. Словно бы этим и разделяются два универсума, в которых поэт присутствует одновременно: один личный — с Богом, другой бездушный, отчужденный и безбожный — Империя.

Иосиф Бродский размышляет географические и хронологические очертания своей Империи, чтобы подчеркнуть ее универсальность — в мире и в истории.

В цикле подражаний и вольных переводов из Марциала «Письма римскому другу» — это почти классический Рим, разве что лишенный сугубо локальных примет. В «Post Aetatem Nostram» это уже Рим фантазмагорический, сдвинутый в Азию, с тюрьмой-небоскребом. В «Одному тирану» — это усредненная Европа где-то в окрестностях века сего, и тиран не похож на геморроидального императора, а как-то органично сочетает в себе черты цюрихского шахматиста, читателя газет по кофейням Ульянова и завсегдатая мюнхенских пивных Шикльгубера («...движением ладони от запястья он возвращает вечеру уют»).

В «Колыбельной Трескового Мыса» Империей, или Империями, уже попросту названы Россия и Америка, при всех своих противоположностях равные для поэта как места «свидания меня и государства».

Хотелось бы привести еще пример чуда, которое делает поэт: «20 сонетов Марии Стюарт» (1974).

Сонеты не по зубам большинству современных поэтов. Да и современных ли только? Жесткая форма так обкрадывает лирическое содержание, что большинство сонетов, написанных за последние 500 лет, не поднимаются над уровнем версификации. Для Иосифа Бродского формальных трудностей такого порядка не существует. Сонет, глухая, закрытая форма, идентичная застегнутой на все пуговицы* прозе высоких реалистов, типа Флобера, выбран здесь, чтобы по закону

* Выражение Л. А. Виноградова.

контраста предельно усилить сокровенное, нежное внутреннее звучание.

Контраст действительно очень силен. Тон сытого и слегка хмельного рассуждения после тяжеловатого французского обеда, нарочитые непоэтические вульгарности («В Париже, ночью, в ресторане... Шик / подобной фразы...» и т. д.)* — всё это написано со смелым и новым для искусства поэзии реализмом. Ни дать ни взять — французский роман. Тон начитанного гуляки, которому во время физиологического моциона в Люксембургском саду статуя ходульной шотландской королевы напомнила некие знакомые черты, сохраняется с первой до последней, 280-й строки.

Автор варьирует исторические и биографические реминисценции, шутит — то от себя, то имитируя обывательскую пошловатость, дерзит историческим и литературным кумирам, смачно матерится, и мы, увлеченные артистизмом его игры, не сразу обнаруживаем, что все эти арабески обтанцовывают, очерчивают невысказанные слова, в которых заключено единственно значительное и подлинное в повести лирическое пространство, обладающее — как третьим измерением — глубиной во времени. И повесть на поверку выходит историей печальной любви мальчика из голодного города, потерявшего с ходом времени всё, что может потерять человек, потому что в нежном возрасте безоговорочно принял за образец трагическую модель жизни.

Вот это и есть, как говаривали сентиментальные критики в «Литгазете», «чудо искусства». Ведь поди

* Действительные вульгарности. Даже для современной, выдавшей виды поэзии. За прошедшие со времени выхода «Цветов зла» сто с лишним лет было понаписано столько всего, что поэзию, кажется, трудно шокировать, но здесь этот эффект достигается: автор искусно надевает на себя маску не циника, что было бы вполне «поэтично», принято, знакомо, но пошляка, что, с точки зрения существующего канона, недопустимо.

расскажи он свою историю напрямую, да еще в устарелой ученической форме сонетов, что бы из того вышло?

Будучи не в состоянии окончательно уподобиться медведям, русские, и русские лирики в особенности, погружаются в зиму почти как в спячку, оцепенение и наваждение — в этом отношении они более всего соприродны своему отечеству. Пушкин был едва ли не первым и последним в России поэтом, способным искренне воскликнуть: «Мороз и солнце! День чудесный!» — и поскакать верхом в Тригорское вдоль скованных льдом Маленца и Сороти. «Люблю зимы твоей жестокой недвижный воздух и мороз!» Для него одного приход зимы означал праздник, бодрую суету, деятельный период («Зима. Крестьянин торжествуя...»). После его смерти — в трескучие морозные дни — русская зимняя лирика оцепенела окончательно, не высывая носа если не на улицу, то по крайней мере из шубы. В преувеличенно арктических «Здравствуй, в белом сарафане / Из серебряной парчи» и «...яркое солнце играет / В косматой его бороде...» льстивое великолепие картин отражает ужас и трепет поэтов перед абсолютизмом русской зимы; эти хрестоматийные оды зиме очень хороши, хотя и не так откровенны, как унылый взгляд и окоченелость непосредственной лирики, для которой зима — это вечные сумерки, одинокость, неподвижность, только подчеркиваемая неживым движением снега: «Никого не будет в доме, / Кроме сумерек. Один / Зимний день в сквозном проеме / Незадернутых гардин...» и:

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли.

На небе ни клочка лазури,
В степи все гладко, все бело,
Один лишь ворон против бури
Крылами машет тяжело.

И на душе не рассветает,
В ней тот же холод, что кругом,
Лениво дума засыпает
Над умирающим трудом... — и т. д.

Даже в многолюдной столице «над желтизной правительственных зданий клубится петербургская метель». Строчки память приводит без разбора — из Пастернака, Фета, Мандельштама. Преимущественно, климат поэзии последнего, как верно подметил один критик*, — зима. Но, подобно своим лирическим предшественникам, всей душой испытывая коренную российскую склонность к зимнему оцепенению, лирический герой Мандельштама, лишенный дворянских или богемных привилегий, вынужден активничать и бегать по делам. Душа его застывает в лад с северной столицей, хваленая архитектура которой вся ведет родословную от «ледяного дома», но в конце стихотворения он трусит по улице, «бензин вдыхает и судьбу клянет». Чудак Евгений выбегает на автомобильный Невский уже XX-го, мандельштамовского века прямо из века девятнадцатого, но, разумеется, этот Евгений не имеет никакого отношения к Онегину — «бег санок вдоль Невы широкой», осеребренная морозной пылью шуба на бобрах не по нем (ностальгическая тема барства в творчестве Мандельштама связана с веселым сознанием собственного разночинства, его проза, посвященная литературным впечатлениям от XIX века, называется знаменательно: «В не по чину барственной шубе»). Этот Евгений — конечно, всё тот же столетний бедный безумец, оседлавший некогда льва в

* София Полякова.

подъезде дома Лобанова-Ростовского и сделавший пальчиком Медному Всаднику. Безумие крепко засело в генеалогии лирических Евгениев, и немудрено помрачиться рассудком от студеного российского мрака, в частности — от того, что бедность не позволяет предаться медитации. Впрочем, по романтическому канону художественное творчество обязательно происходит вблизи безумия. В России сознание поэтов яснее весной. Юная Цветаева: «Сплю весь день, весь день смеюсь, должно быть, / Выздоровливаю от зимы».

На этом фоне, или в этом контексте, мы начинаем читать стихотворение Иосифа Бродского из цикла «С февраля по апрель»: «В эту зиму с ума / я опять не сошел, а зима / глядь и кончилась...» (С легким удивлением: как, мол, это удалось — зимой да не сойти с ума?) Это стихотворение — не описание природы, но явление природы, хотя и дважды опосредованное — переживаниями поэта и читателя. Но вообще оно тоже часть того процесса — поворота солнца на лето, ледохода, оседания наста, пробуждения зерна, — который называется весной. Процесс этот, происходящий в городской природе, и его переживание сознанием поэта едины. Но если обычно переживанием исчерпывается содержание лирической пьесы, у Бродского оно обязательно ищет выражения еще и в мысли. (Лирическое мышление укоренилось в русской поэзии от Баратынского и Тютчева, и стиль Иосифа Бродского ближе к беспокойному вопрошанию первого, чем к афористичности второго.) Все наши чувства, ошеломленные началом стихотворения, — шумом ледохода в ушах, блеском весенней воды, дробящейся в зрачке, потрясающим ощущением оседающего наста в мозгу (мгновенно включенные ассоциации уже и ноздри наполняют запахом сырого ветра, и мышцы — весенней ломотой) — весь этот заряд острых ощущений неуследимой и стремительной спиралью выно-

сит читателя к заключительной мысли — свежей, суровой и ясной:

Не кончается время тревог,
не кончаются зимы.
В этом суть перемен.
В толчее. В перебранке Камен
на пиру Мнемозины.

Зима и безумие издавна связаны в стихах Иосифа Бродского. Тема звучит уже в стихотворении 64-го года «Орфей и Артемида»: «Наступила зима. Песнопевец, не сошедший с ума...» — с тем, чтобы с годами смена сезонов вообще стала невыносимой для душевного равновесия: «Я не то что схожу с ума, но устал за лето...» (1975). Что поделать. Даже признаваемый олимпийцем Гете писал где-то в «Поэзии и правде», что постоянство природы, одевающей деревья в зелень каждую весну, может доподлинно свести с ума. Что тогда говорить об Иосифе Бродском, чьи отношения со Временем столь темпераментны и ревнивы! А еще и скользнувшая исподволь в стихотворении реминисценция, оспаривающая крылатое Шекспирово словцо: «Не кончается время тревог, не кончаются зимы...» Это непосредственно предшествует заключительному трехстишию (не просто трем строчкам, а трехстишию, потому что в построении стихотворения ощущается тяготение к терцине). В заключении этом урбанистический (петербургский) пейзаж, точно прикрепленный к эпохе двумя современными речениями («толчая», «перебранка»), становится материалом для волнующе лапидарного определения поэзии: «перебранка Камен на пиру Мнемозины».

В близком Иосифу Бродскому искусстве живописи есть очень важный момент, нечто находящееся вне открытой живописью плоскости, но, в то же время, ключ к картине. Картина мертва, пока зритель этим ключом не воспользуется. Речь идет о точке, месте в пространстве, из которого художник видел свое произведение. Надо найти этот пункт как ключ к перспективе. Потом уже можно топтаться туда-сюда, изучая детали. Иногда найти «точку начала взгляда» просто: в упор и сверху, как бы исподлобья, упираясь взглядом прямо в передний план и ускользая потом в синеющую бесконечность холмов, — Леонардо; или с головокружительной высоты, искоса, как бы резко обернувшись на быстром ходу по крутизне и увидев завихряющуюся даль, — Тернер. Иногда сложнее.

В молодости Иосиф Бродский сочинил романтическую балладу «Холмы». Эта вещь обозначила «точку начала взгляда» поэта, взгляда, близкого Высокому Возрождению: пронзительный реализм переднего плана с бесконечной и двусмысленной перспективой за ним.

Он с самого начала хватил очень высоко, потому что такая творческая установка требует титанической работы: мир, видимый так, необъятно велик, его нельзя зашифровать в немногих емких иероглифах, он подлежит полному художественному пересозданию, а в качестве средства в первую очередь нужно разработать новую гармонию, целиком пересмотреть словарь...

Что дает художнику силы для такой гигантской работы? Шепот Музы, не слышный нам, о котором он иногда проговаривается?

Мы не знаем ответа. Мы видим только, что нам послан новый Крысолов, и он может вывести нас из лабиринта, который мы сами нагородили.

ПОПРАВКА

По недосмотру ответственного секретаря редакции текст «Заявления по украинскому вопросу» в № 12 «Континента» был напечатан с пропуском — притом с пропуском одного из самых важных пунктов заявления. Четвертый абзац заявления должен читаться следующим образом:

«В нашем заявлении мы говорим именно об украинцах как о крупнейшей в рамках Советского Союза угнетенной нации и как о нации, наиболее упорно — наравне с литовцами — стремящейся добиться независимого государственного существования. *Мы стремимся, во всяком случае, создать такую ситуацию, в которой украинцы могли бы свободно высказаться, хотя бы они жили в независимом государстве.*»

Наша почта

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ И УКРАИНСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

В № 12 журнала «Континент» напечатано «Заявление по украинскому вопросу», исходящее от группы диссидентов, среди которых находятся имена А. Амальрика, В. Буковского, А. Галича, В. Максимова и других лиц, известных своими выступлениями против ущемления прав человека в СССР. Авторы «Заявления» призывают российскую эмиграцию отказаться от «империалистических» (по их выражению) устремлений и признать право украинского народа на образование самостоятельного государства. Да разве об этом идет спор?

Только безнадежные чудаки могут отвергать это право в нашу эпоху у многомиллионного народа, когда мировое общественное мнение вполне определенно и ясно высказалось в пользу признания прав каждого человека. Вторая эмиграция возвестила о признании ею этого права устами Манифеста Комитета Освобождения Народов России, подписанного ее представителями в Праге в ноябре 1944 года. Эти взгляды Манифеста разделялись также многочисленными представителями старой эмиграции, примкнувшими к Освободительному Движению Народов России. С тех пор до настоящего времени в русской эмигрантской прессе, сколько мне известно, не появлялось никаких серьезных возражений против национальной программы Манифеста.

Сущность спора в том, что некоторые непримиримые националистические группы (в особенности украинские) безапелляционно заявляют, что представляемые ими народы ни в каком праве на самоопределение не нуждаются, ибо они высказались за полное отделение от России одним фактом

своего участия в Февральской революции. Больше того, эти группы утверждают, что, поскольку их взгляды на отделение от России созвучны со взглядами их народов, они и только они являются его единственными представителями в эмиграции. Эти непримиримые и слышать не хотят о том, что на Украине и вне ее существуют другие украинцы, не имеющие никаких враждебных чувств к России и считающие, что сосуществование с Россией на началах действительной и полной административной и культурной автономии в едином демократическом государстве ничего, кроме пользы, украинскому народу не принесет. Разве не установленный факт, говорят эти инакомыслящие, что украинские крестьяне даже в царской России жили много зажиточнее русских крестьян? Непримиримые утверждают, что указанных инакомыслящих на Украине раз-два и обчелся и поэтому этих «московских запроданцев» и спрашивать нечего.

А почему бы не спросить об их количестве у самого украинского народа? Известно ведь, кстати, что украинский народ после революции только один раз был косвенно опрошен о его отношении к России — во время выборов во Всероссийское учредительное собрание — и высказался тогда в пользу русских, а не украинских партий. Конечно, с того времени много воды утекло, и возможно, украинский народ теперь держится другого мнения. Что ж, на то его воля.

Однако об этой воле мы узнаем только после того, как его спросим, и притом не по коммунистическим, а по демократическим образцам. И кто знает, не полетит ли тогда созданная по коммунистической прихоти Украинская Советская Социалистическая Республика вверх тормашками вместе с Кремлем?

Ф. П. Богатырчук

От редакции: Автор этого письма — доктор медицинских наук, до войны — профессор Второго Медицинского института в Киеве, ныне — Оттавского университета в Канаде. Во время войны был председателем Украинской

Национальной Рады при КОНР, в 50-е годы — председателем объединения украинских федералистов-демократов и редактором его печатных органов.

**Его Высокопреосвященству
Кардиналу ИОСИФУ СЛИПОМУ**

**Шлем Вашему Высокопреосвященству самые
сердечные поздравления по случаю 85-летия со
дня рождения и 60-летия служения христианской
Церкви.**

Редколлегия «Континента»



Слава Ісусу Христу !

Ч.4080/77

Ватикан, дня 3 листопада 1977

До
Хвальної редакції
журналу "КОНТИНЕНТ"
Париж, Франція.

Х в а л ь н а Р е д а к ц і є !

Спасибі вам велике за пам'ять про "каторжника" і побажання
з нагоди ювілеїв. З'єднані спільними бажаннями праці для добра
наших народів, ідім даліше вперед з Богом і упованням, що наш
труд і змагання принесуть благословенні овочі волі і справедливості.

Во Христі

Патріарх і Кардинал

**Редакция журнала «Континент»
с чувством глубочайшей скорби
сообщает о том,
что 15 декабря 1977 г.
скоропостижно скончался
известнейший русский бард,
поэт и сценарист,
член редколлегии «Континента»,
человек большой души
и открытого сердца**

**АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ
ГАЛИЧ**

Колонка редактора

«КОНТИНЕНТ» В ОКЕАНЕ ВСЕОБЩЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Помнится, когда три с лишним года назад мы начинали свое восхитительно безнадежное дело, многие из нас еще наивно полагали, что наши западные собратья по перу, воспитанные, как известно, в лучших традициях европейского плюрализма, воспримут появление нового издания если не с восторгом, то хотя бы с умеренной демократической лояльностью. Но, к сожалению (а может быть, и к счастью), нам пришлось утратить эти иллюзии уже до выхода в свет первого номера «Континента». Едва в печати промелькнуло сообщение о предстоящем событии, как в лобовую атаку на нас бросились два святых Себастьяна немецкой политической толерантности — Генрих Бёлль и Гюнтер Грасс. Не жалея страсти и не стесняясь в выражениях, что, видимо, по их мнению, составляет привилегию всякого плюрализма, они заранее обвинили основателей «Континента» во всех смертных грехах и, так сказать, призывали нас к толерантности с позиции абсолютной нетерпимости.

Призыв лидеров демократии с человеческим лицом был немедленно подхвачен всем кругом средств массовой информации «прогрессивного» толка. Причем непосредственный предмет разговора, то есть журнал «Континент», отошел на задний план, о нем, как правило, упоминалось вскользь, между прочим, даже нехотя, словно о чем-то, не имеющем особого значения. Внимание, главным образом, сосредоточивалось на имени издателя Акселя Шпрингера, с которым, по их сузубо толерантному убеждению, мы не

должны были сотрудничать. Цитадель западногерманского политического плюрализма газета «Форвертс» с присущей ей терпимостью озаглавила статью об этом сотрудничестве, как говорится, простенько, но со вкусом — «В упряжке с дьяволом». Следуя своей готтентотской логике, этому респектабельному органу печати следовало бы озаглавить статью о дружеских попойках их лидера Вилли Брандта с палачом восточноевропейской социал-демократии Леонидом Брежневым самым лирическим образом. Например: «В упряжке с ангелом». Приблизительно в этом же духе впоследствии выступил и сверхдемократический «Штерн», главный редактор которого обучался политической терпимости в ведомстве доктора Геббельса, призывая уничтожать врагов дорогого его либеральному сердцу фюрера. Господи, думал ли мой отец, погибая в бою под Смоленском, что через тридцать пять лет бывшие гитлеровские пропагандисты будут преподавать его сыну уроки общественной толерантности!

С появлением «Континента» оживилось также и заросшее мохом дремучее племя русских черносотенцев. В их безграмотно и на скорую руку сляпанных листках и листочках (причем, не более и не менее, как от имени «старой, доброй русской культуры») запестрели антиконтинентовские филиппики с целым набором погромных обвинений в «сионистских деньгах», «еврейском заговоре», «руке КГБ» и т. д. и т. п. «Старая, добрая русская культура» в лице бывших вольноопределяющихся эсесовских зондеркоманд, с дубинкой диффамации в руках спешили на помощь своим западным братьям по толерантному мародерству.

Но когда эти в высшей степени толерантные ипостаси здешнего политического спектра слились в едином политическом экстазе против нашего журнала, мы поняли, что стоим на правильном пути. Последовавшие затем клишированные наскоки самой

демократической в мире советской печати только укрепили нас в этом убеждении. Остальное зависело от нашего собственного мужества, нашей профессиональности, нашего взаимопонимания.

Становление журнала, да еще в условиях изгнания, эмиграции, географической разобщенности, — дело крайне трудное, если не мучительное. Мы искали своего идейного и духовного единства в острых, иногда доходивших до разрыва дискуссиях, в противоречиях живой действительности, в советах и помощи наших друзей на родине. И в конце концов мы обрели его — это единство демократического многообразия, — омрачив тем самым музыку хорошо налаженному оркестру толерантной конспирации как на Западе, так и на Востоке.

Путешествие «Континента» в океане всеобщей западной толерантности продолжается. Демократические ангелы, в полном соответствии со своей классически тоталитарной психологией, пытаются преследовать или саботировать наш журнал во всех направлениях: в прессе, в публикации, в распространении. Но показав в своей повседневной практической деятельности пример подлинной и последовательной общественной терпимости, журнал приобрел надежный и все расширяющийся круг союзников как у себя на родине, так и за рубежом, и теперь уверенно смотрит в будущее. Сегодня мы с полной уверенностью можем присоединиться к словам, сказанным в интервью с нами одним из ведущих лидеров «Пражской весны» Зденеком Млынаржем, что в «Континенте» «с развитием дела в целом можно найти такую основу для объединения наших сил, которая принимала бы в расчет все имеющиеся демократически гуманные традиции при полном равноправии, чтобы они могли сосуществовать друг с другом, преследуя общую цель — гуманистическую и политическую».

И мы убеждены, что в конце концов найдем такую основу.

Ноябрь 1977 г.

Обращение к президенту Картеру

Глубокоуважаемый господин Президент!

Принцип безусловной защиты прав человека, объявленный Вами краеугольным камнем американской политики, подтверждает репутацию Вашей страны как подлинно великой державы — лидера свободы и демократии в современном мире.

Этот принцип пробивает себе дорогу сквозь яростное сопротивление тоталитарного монолита, сквозь глухую злобу и непонимание интеллектуального и бюрократического истаблишмента, а то и сквозь прямой саботаж вчерашних союзников, давно сговорившихся со своей совестью и с тоталитаризмом. И мы прекрасно отдаем себе отчет в том, сколько душевной силы и личного мужества требуется человеку, взявшему на себя историческую ответственность за судьбы свободы и демократии в современном мире.

Но проведение этой политики в жизнь дает поработенным народам уже потерянную было ими надежду. Остальное они — эти народы — сделают сами.

Благодарность современников и потомков будет Вам лучшей наградой за выполнение той миссии, которую Вы на себя взяли.

Берлин, 7 ноября 1977 г.

*Расширенная конференция
редколлегии
журнала «Континент»*

Критика и библиография

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХРОНИКА»

(К пятилетию существования)

Это издательство возникло в начале 1973 г. в Нью-Йорке по инициативе Валерия Чалидзе, участника и известного «законника» советского правозащитного движения, после того как, выехав на месяц в Соединенные Штаты, он был немедленно лишен советского гражданства.

Первоначальной задачей издательства было восполнить пробел, образовавшийся в периодике самиздата при временном прекращении выхода «Хроники текущих событий». Поэтому журнал издательства, озаглавленный «Хроника защиты прав в СССР», вначале выполнял функцию сбора и систематизации информации о нарушениях прав человека в СССР, о борьбе в защиту этих прав, о документах самиздата.

В мае 1974 г. приостановленные выпуски самиздатской «Хроники текущих событий» увидели свет и были публично переданы на Запад членами Инициативной группы. Одновременно московская редакция поручила издательству «Хроника» переиздавать машинописный журнал типографским способом. Эту задачу издательство успешно выполняет: начав с 28-го номера, оно, вслед за Москвой, недавно выпустило уже 45-й.

В связи с этим изменился и характер нью-йоркской «Хроники защиты...». Журнал стал включать главным образом информацию о западных выступлениях и мероприятиях в защиту прав человека в СССР. Это очень важно для участников правозащитного движения в Советском Союзе: они получают дополнительные доказательства того, что они не одиноки, что кому-то в мире всё же есть дело до наших бед и проблем. В последнее время всё заметнее тенденция редакции «Хроники защиты...» не только собирать и публиковать информацию, но и осмысливать ее. В этом особенно активны В. Чалидзе, А. Вольпин, П. Реддавей. Среди тем,

которые они рассматривают: советское исправительно-трудовое законодательство, гуманитарные статьи Хельсинкского Акта, положение религиозных меньшинств в СССР, новые меры административного взыскания и т. п.

Очень важен в журнале раздел «Персоналии». Тут уже опубликованы биографические справки об академике Андрее Сахарове, о покойном Григории Подъяпольском, о Семене Глузмани, Владлене Павленкове, Мустафе Джемилеве, Александре Гинзбурге, Юрии Орлове, Миколе Руденко и Анатолии Щаранском. Хотелось бы, чтобы этот отдел был расширен, ибо иногда создается впечатление, что о человеке пишут только после того, как он уже арестован.

В последнее время «Хроника защиты...» всё чаще, хотя пока и недостаточно, освещает проблему борьбы за права человека в странах Восточной Европы. Между тем, во многом сходные, в чем-то различные движения в Советском Союзе и в каждой из стран Восточной Европы сближает не только солидарность, проявляемая ими по отношению друг к другу, но и общие фундаментальные причины, общность судеб. Как говорит румынский писатель Паул Гома, «мы все живем в одной Биафре, столица — Москва».

«Хроника защиты...» часто помещает на своих страницах советские законодательные акты и инструкции, не публиковавшиеся в открытой советской печати. На страницах журнала находит отражение деятельность советских Групп Хельсинки.

В этом году издательство начало также полную отдельную публикацию документов Хельсинкских групп. Вышли уже три выпуска.

Издательство стремится оперативно откликаться на репрессии и угрозы репрессий против активистов правозащитного движения в Советском Союзе. Оно либо само составляет специальные сборники («Андрей Твердохлебов — в защиту прав человека», «Мальва Ланда — в защиту прав человека», Нина Буковская — «Письма матери», «Инициативная группа по защите прав человека в СССР»), либо воспроизводит сборники самиздатские («Дело Айрикияна», «День политзаключенного, 30 октября 1975 года», «Судебный процесс по делу Эстонского демократического движения», «О пытках в Грузии», «Дело Ковалева», «Дело Твердохлебова»).

Среди авторов, чьи книги вышли в издательстве «Хроника», — Лидия Чуковская, Анатолий Марченко, Валентин Турчин. Владимир Буковский составил для издательства сборник «Владимирская тюрьма», куда, кроме более ранних самиздатских документов, вошла его собственная документация о Владимире, написанная на основе сохранившихся при высылке тюремных записей.

С издательством активно сотрудничает лауреат Нобелевской премии мира академик А. Д. Сахаров. Здесь вышло наиболее полное собрание его работ — «О стране и мире».

Особого внимания заслуживает деятельность самого издателя. Кроме постоянной чисто издательской, редакторской, административной работы, Валерий Чалидзе за эти годы не только написал ряд статей для «Хроники защиты...» и американских изданий, но и выпустил три исследования: «Права человека и Советский Союз», «Лекции о правовом положении рабочих в СССР» (тема, к сожалению, мало разработанная и изученная) и «Уголовная Россия» (эта книга вскрывает поразительную неразборчивость и извращенность советского уголовного законодательства; однако В. Козловского, рецензента ее в № 12 «Континента», мы могли бы упрекнуть в недостаточно строгом отношении к этой работе).

Повышению правовых знаний в Советском Союзе служат не только отдельные статьи «Хроники защиты...», но и выпущенный издательством «Сборник конвенций по правам человека, ратифицированных Советским Союзом», и переизданные им постановления ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях».

Если сборник «Литературные дела КГБ», имея касательство к литературным проблемам, тематически остается в рамках основного направления деятельности издательства «Хроника» — борьбы с нарушениями прав человека, — то сборник статей «Самосознание» (сост. П. Литвинов, М. Меерсон-Аксенов и Б. Шрагин) — это попытка выйти за пределы как чисто правозащитной, так и чисто политической проблематики. Как бы ни относиться к конкретным положениям ряда статей сборника, следует приветствовать сам факт появления еще одного разговора о судьбах нашей страны.

Этими же мотивами, вероятно, продиктовано появление в издательстве «Хроника» таких внешне далеких от текущих

событий книг, как сочинения декабриста Михаила Лунина, переиздание книги Дж. Ст. Милля «О свободе» и самиздатские исторические сборники «Память». Первый уже вышел из печати, из материалов второго опубликована пришедшая на Запад отдельно от сборника работа советского дипломата Е. Гнедина «Из истории отношений между СССР и фашистской Германией». Идет работа по восстановлению прерванных было нитей исторической нашей памяти, нащупываются отдельные корешки наших традиций, похороненных было советским режимом, но постепенно воскресающих. И маленькое нью-йоркское издательство делает большое дело для завтрашней России.

Вик. Соколов

СОБЛАЗН СМЕРТИ

«Здесь дело в том, что суть коммунизма — совершенно за пределами человеческого понимания».

А. Солженицын. Речь в Нью-Йорке

Поставленный Шафаревичем вопрос о происхождении, значении и сущности социализма настолько огромен и глубок, что просто теряешься — как к нему подойти в необходимо краткой рецензии. Как убедительней дать понять читателю, что автор «Социализма как явления мировой истории» коснулся таких тайников этой истории, что всякому честному с самим собой человеку, не боящемуся додумывать до конца, придется, быть может, отказаться от истин, казавшихся ему абсолютными.

Прав Шафаревич, утверждая, что «социализмом движет инстинкт смерти», что везде и всегда социализм нес смерть. Он пришел к этому выводу, собрав огромный материал. Один перечень использованных им источников занимает больше шести страниц и касается одинаково как Идеального государства Платона, так и утопий (Мора, Кампанеллы, Фурье...), как империи древних инков, так и

И. Шафаревич. Социализм как явление мировой истории. ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1977.

древнего Китая, как хилиастического социализма, так и социализма «научного», как психоанализа Фрейда, так и «Эроса» Маркузе. Диапазон огромен, но огромна и поднятая тема.

Анализируя собранный им материал, Шафаревич констатирует, что все социализмы, в каком бы виде они ни выступали, какими бы именами ни назывались, были ли они реально осуществлены или только появлялись в форме социальных или литературных произведений, в подавляющем большинстве сводились к одному и тому же знаменателю: *осуществление всеобщего счастья насилем* через всеобщее уравнивание и с помощью безжалостного бюрократического аппарата. Решительно все подавляли индивидуальность, противопоставляя ей общность — не только имущества, но и интересов. Почти все или боролись с религией, или ее извращали, видя в ней врага и конкурента проведению в жизнь своих начинаний.

Всё это есть уже в управляемом философами Совершенном государстве Платона. Те же социалистические мотивы проявляются и в различных христианских ересьях. Так, катары запрещали индивидуальную собственность, утверждали, что *«брачные узы противоречат законам природы»*. Табориты (радикальная часть гуситов), «Братья свободного духа» и анабаптисты были движимы теми же тенденциями.

Поразительным примером социалистического государства является открытая испанцами в 1524 г. и завоеванная ими в 1531 г. империя инков. Основной частью населения были крестьяне, пастухи и ремесленники. Ниже их на социальной лестнице стояли государственные рабы «янакуна», но они и за людей не считались. Крестьяне получали землю от государства и должны были отбывать воинскую и другие повинности. Государство, когда считало нужным, производило массовое переселение населения из одного района в другой — по политическим или экономическим причинам. Всё это требовало колоссального бюрократического аппарата. Но стандартизация жизни вызвала в народе апатию и неспособность к какому-либо развитию. Она привела к тому, что огромная империя не смогла устоять перед двумя сотнями завоевавших ее испанцев.

Приблизительно такие же условия жизни и труда существовали в древнем Шумере в начале III тысячелетия до Р. Х.

Всё производство и вся торговля находились в руках государства. Некоторые исследователи полагают, что в Шумере существовали «лагеря смерти», куда сгоняли военнопленных перед их уничтожением.

В древнем Египте (I—VI династии) начала разрабатываться не технология производства, но *«технология власти»*, где каждый «чиновник» занимает строго ему определенное место. Ее двигатели — те же социалистические инстинкты. Вся земля принадлежала фараону, а крестьяне, считавшиеся «плодами земли», распределялись и передавались вместе с нею. Таким образом, стержнем строя была предельная бюрократия. И бюрократическая система позволяла организовывать и производить те гигантские работы, результатом которых явились египетские храмы и пирамиды: на постройке пирамиды Хеопса непрерывно работало 100 000 человек в течение 20 лет! Но так как вся земля (и строительный камень) принадлежала не частным лицам, а государству, тогдашний строй нельзя назвать, подобно античному, рабовладельческим. Египет уже во времена Менеса (создателя единого государства) был не государством аристократии, а *государством бюрократии*.

Интересным показателем для характеристики древнего Китая является учение и законодательство Шан Яна («эпоха сражающихся царств», середина IV в. до Р. Х.). Они воистину превосходили принципы, положенные в основу современных «социалистических» стран: жители должны быть прикреплены к земле; правитель должен издать закон о взаимной слежке; если правитель хочет сделать государство сильным, он должен поступать так, чтобы народ был слабым, и *«всегда помнить, что добродетель ведет свое начало от наказания»*. Лишь такими методами правитель может ослабить народ и *«превратить его в руду или в глину»*.

Подытоживая все приведенные им примеры и опираясь на работы занимавшихся этим вопросом ученых, в частности Ф. Хейхельхейма и М. Вебера, Шафаревич заключает: *«Основой всех экономических отношений было представление, что государство... является собственником всех источников дохода. Любое пользование ими должно было выкупаться — при помощи поставок государству или отбывания трудовой повинности... Отбывавшие ее объединялись в отряды или армии, отправлялись на грандиозные строй-*

ки. Они работали на государственных полях, рыли и очищали ирригационные и судоходные каналы, строили дороги и мосты, городские стены, дворцы и храмы, пирамиды и другие гробницы, транспортировали грузы. Иногда такие повинности накладывались на покоренные народы, и, как предполагает Хейхельхейм, именно из этого и развилась вся система повинностей, т. е. государство за образец отношения к своим подданным брало систему эксплуатации завоеванных народов».

Если бы речь не шла о примерах, взятых в большинстве случаев из глубокой древности, можно было бы подумать, что описана социально-экономическая система Советского Союза: государственная собственность на все средства производства и дохода, насильственная индустриализация, колхозы и совхозы, Беломорканал и другие братские ГЭСы... Переставляется с головы на ноги знаменитая схема Маркса: *не прогрессом оказывается социализм, а регрессом*, не с капитализмом завершается предыстория, но социализм возвращает человечество в доисторические времена. Это уже знал французский социолог и бывший член ФКП Э. Морен, когда двадцать лет назад писал в своей «Самокритике», что советский режим заставил СССР пройти через катакомбы, инквизицию, реформацию, крестовые походы и т. д.

Но всё это история, примеры, взятые из различных периодов истории и в различных частях земного шара. Показательно же, что и большинство теоретических (литературных, социологических и философских) сочинений, написанных на общественные темы в социалистическом духе, не говоря уже о «Государстве» и «Законах» Платона, отмечены той же печатью: Утопия Томаса Мора управляется *отцами*, следящими, чтобы никто не оставался праздным; в Городе Солнца Кампанеллы под контролем администрации осуществляется общность всей жизни; Д. Уинстенли в «Законе свободы» отменяет частное пользование землей и преследует всякий «частный интерес», разрешает администрации переводить граждан из одной семьи в другую, а провинившихся — обращать в рабов, работающих под наблюдением *смотрителей*; «История Севарамбов» Д. Вераса протекает в государстве, где всё хозяйство основано на абсолютной государственной собственности, правительство тщательно следит за полной изоляцией страны от внешнего мира.

Но еще более поразительная вещь — и Шафаревич несколько раз на нее указывает — как и в случае с Великим Инквизитором Достоевского, все эти осуществления и теории связаны с *самими благородными, самыми возвышенными, самыми человеколюбивыми намерениями*. И не только цари, фараоны и другие владыки считали, что, декретируя и проводя свои мероприятия, они творят добро. — отождествляющееся для них со справедливостью, — но и большинство угнетаемого и эксплуатируемого ими народа верило, что это действительно так!

Вся вторая часть книги посвящена вскрытию и снятию этого парадокса, который с торжеством коммунизма («научного социализма» Маркса и Энгельса) стал основной проблемой нашего времени. Обращаясь к психоанализу Фрейда, к экзистенциализму Хайдеггера и Сартра, к философским «экскурсам» Маркузе, к трудам ряда других философов и социологов, ссылаясь на малоизвестную переписку Маркса и Энгельса, Шафаревич приходит к выводу, что:

а) Идея гибели человечества... находит отклик в психике человечества. Она возбуждает и притягивает людей, хотя и с разной интенсивностью, в зависимости от характера эпохи и индивидуальности человека...

б) Эта идея появляется не только в индивидуальных переживаниях хотя бы и большого числа отдельных личностей — она способна объединить людей, т. е. является социальной силой. Стремление к самоуничтожению можно рассматривать как элемент психики ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

в) Социализм — это один из аспектов стремления человечества к самоуничтожению, к Ничто — его проявление в организации общества».

Таков вывод Шафаревича, который в свете «социалистической действительности» мира, в коем нам приходится жить, становится еще более убедительным. Народам Советского Союза «научный социализм» уже обошелся в сто миллионов жизней. За два года, коммунизируя Камбоджу методами «социалистической революции», красные кхмеры уже уничтожили в этой маленькой стране два с половиной миллиона человек — убитых, замученных, умерщвленных голодом.

Шафаревич пишет, что «идея гибели человечества — в психике человека» и что социализм движим «инстинктом смерти». Это так, но откуда же это взялось? Шафаревич несколько раз подчеркивает враждебность социализма и социалистических течений — религии, а когда такой враждебности в прямом виде нет — есть попытки религию перетолковать (социализм ересей, Мюнцер, Бокельзон и т. п.). Однако Шафаревич не говорит о *духовных* причинах этой враждебности.

Есть силы жизни и смерти. За силами жизни стоит Христос, за силами смерти — *«противоречащий»*, именуемый в Библии Сатаной. В древней Персии эта борьба символизировалась противостоянием Ормузда Ариману. Инстинкт не есть только то, что о нем думают психоаналитики, будь они фрейдисты или юнгисты. Инстинкт есть и своего рода *вдохновение*, «инспирация», восприятие, улавливание души человека «божественного глагола» и «глагола» дьявольского, глагола Соблазителя. Первый зовет к добру, второй соблазняет злом. Уже в Библии, у пророка Исаии, есть такие слова: «Оставили Господа, презрели Святого Израилева, — повернули *назад*» (Ис., 1:4; выделено мною. — К. П.).

Социализм есть попытка повернуть историю назад, воскресить тенденции и идеи, какие еще можно было бы оправдать для древнего Китая или Египта, но ни для кого не приемлемые, совершенно противожизненные в XX веке. Это всё равно, что втиснуть ногу взрослого человека в ботинок трехлетнего ребенка. Мы свидетели того, как пришлось исковеркать душу и тело русского народа, чтобы втиснуть в «научный социализм», свидетели того, как он продолжает калечить тела и души других народов. И прав был Бердяев, когда, характеризуя коммунизм, писал: *«Отрицание Бога приводит к отрицанию человека»*. Человек не есть, как считал Маркс, «совокупность общественных отношений», но совокупность отношений между духом и материей. Игнорирование духа, который есть свобода, — это игнорирование человеческого в человеке, его духовное убийство, а в конце концов — и физическое.

Христос пришел для того, чтобы спасти человечество от сил распада, регресса, сил смерти. Он пришел дать Земле новый импульс, импульс жизни, движения вперед — *«И се,*

Я с вами до скончания века». И Он знал, что требует от людей нелегкой борьбы: «В мире будете иметь скорбь», — но скорбь, а не безнадежность, потому и завещал: «...но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан., 16:33).

Книга Шафаревича — иллюстрация этой борьбы и этой скорби.

К. Померанцев

ЗВЕЗДНЫЙ СТРАННИК

(К столетию со дня рождения Максимилиана Волошина)

Говоря о Волошине, нельзя не вспомнить одну древнюю апокрифическую легенду — легенду о Серых ангелах, которые не восстали против Бога, как Денница, но и не сражались на стороне небесного воинства... Это те, кого, говоря словами Мильтона, «Светлый Рай отверг и серный ад не признал, и ни свет, ни тьма их не приняли в лона свои» («Потерянный Рай»). И вот они всегда среди людей, они знают так много, что едва в силах вынести этот страшный груз. И страшней всего — что нет у них шансов предостеречь людей от возможного грядущего, ибо им не верят. Ведь их полагают такими же людьми, и — «нет пророка в своем отечестве». Вот они-то и есть те вечные странники, идущие агасферовыми путями, которые за Знание и Память, за прозрачность для них прошлого и будущего платят страшную цену: они обречены на вечное внутреннее одиночество: *«Да, я помню мир иной, / Полустертый, непохожий, / В вашем мире я — прохожий, / Близкий всем, всему чужой»*. В этих строках — разгадка и поэзии Волошина, и его человеческой судьбы. Невозможно понять Волошина, если не учесть, что оккультизм (и антропософия, в частности) были для поэта не игрой, а самой живой, искренней духовной реальностью, более того — просто верой, причудливо сочетавшейся с христианством.

Антропософский взгляд на душу, как на странницу во Времени, в разные века воплощающуюся в разных людей, был для Волошина не поверьем, не гипотезой, а действительностью. Люди почти никогда не помнят своих прежних

существований, прежних судеб и реальных биографий, и не помнят *грядущего*... Но есть среди них немногие, кому оставлен, хотя и не в полной мере, страшный дар: смутно вспоминать, кем ты был когда-то, и даже помнить, как отсветы реального бытия, свои странствия по обратнонаправленному времени.

Ключ ко всему творчеству Волошина — веноч сонетов «*Sonata Astralis*». Это попытка раскрыть нам, насколько доступно слову, ощущения вечного странника, человека, несущего жуткий груз Знания, пусть зыбкого и отрывочного, но достаточного, чтобы понимать, что за эту Память — творческий дар — за вневременность, он платит вечной неприкаянностью:

Изгнанники, скитальцы и поэты,
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог.
У птиц — гнездо, у зверя — темный лог,
Но посох — нам и нищенство заветы.
Долг не свершен, не сдержаны обеты,
Не пройден путь, и жребий нас обрек
Мечтам всех троп, сомненьям всех дорог...
Расплескан мед и песни не допеты.

Эти песни *никогда* допеты не будут — ведь Время для странника не может быть тем абсолютом, каким казалось людям доэйнштейновской поры и незнакомым с догадками древних индийцев...

Долг не свершен. Это прежде всего долг перед Тем, кто обрек странников на тяжкую и великую миссию пророчества. Но если бы пророкам верили безоговорочно, то у людей была бы отнята свобода воли. Та, что позволяет и верить, и не верить, и побивать пророков камнями...

Мысль о поэте-пророке варьируется в литературе чуть ли ни с догомеровских времен. У Пушкина поэт получает свыше пророческий дар, чтобы «глаголом жечь сердца людей». У Волошина наоборот — звездный скиталец исконно пророк, и лишь в одном из воплощений принимает облик поэта.

В невероятно емком ключевом сонете венка как бы спрессованы все мысли, все чувства, все еще не сказанные слова, из которых, как из крохотного бутона, разворачивается эта лиричнейшая, горькая и мудрая поэма.

Вот начало ключевого сонета:

В мирах любви неверные кометы —
Закрыт нам путь проверенных орбит!
Явь наших снов земля не истребит,
Полночных солнц к себе нас манят светлы.
Ах, не крещен в глубоких водах Леты
Наш горький дух, и память нас томит,
В нас тлеет боль внежизненных обид —
Изгнанники, скитальцы и поэты!

Одиночество в любви, в безответности ее — лишь малая часть того Одиночества, которое — расплата за Знание:

Я исследил, измерил, взвесил, счел,
Дал имена, составил карты, сметы,
Но ужас звезд от знания не потух:
Мы помним все. Наш древний, темный дух —
Ах, не крещен в глубоких водах Леты!

Носители эзотерических тайн не могут двигаться путями «проверенных орбит». Их путь — «параболы безвозвратные», и нет покоя, и мерцает память даже в миги воплощений о тех — временах ли, состояниях ли — память об «утраченном рае» подсказывает, что *«мы беглецы и сзади наша Троя, / И зарево наш парус багрянит»*.

Гармоническое сочетание знания и прозрения, мысли и чувства, — то, что называется аполлонической гармонией, то, что в русской поэзии дано было разве только Пушкину — вот строй волошинского миропонимания. И в начале нашего века он был так же одинок среди своих современников. Поэты-символисты, признававшие лишь интуитивное, непостижимое разумом «дионисийское начало» (Вяч. Иванов) были далеки от аполлонизма. Темная, земная, иррациональная стихия, буйная и смутная, отождествлялась ими с понятием духовности. Один лишь Блок избег этого соблазна, ибо назвал его по имени. В то же время существовала и псевдопротивоположность дионисийства: плоский брюсовский рационализм. Волошин и тут был «двух станом не боец, а только гость случайный» (А. К. Толстой). В 1920 г. Волошин писал так (о гражданской войне): *«А я стою один меж ними / В ревущем пламени и дыме / И всеми силами своими / Молю за тех и за других»*... — и это потому,

что он понимает: *«Истории потребен сгусток воли, / Партийность и программы — безразличны».*

По Волошину, мир мертвой машинной цивилизации неизбежен. Кто бы его ни породил, но этот мир — апокалипсическая необходимость, после изживания которой откроется выход в мир цивилизации духовной: *«Есть злая власть в душе предметов, / Рожденных судорогой машин. / В них грех нарушенных запретов /... Но мы, свободные кентавры, мы мудрый и бессмертный род»...* Странники в конкретном бытии принадлежат все же к определенному народу, даже кругу людей, со всеми их достоинствами и недостатками, но в космическом странствии — остается им лишь надеяться, ждать, пока человечество осознает, что оно — не только инструмент Господень, но и сотрудник, помощник в вечно длящемся сотворении мира, со-творец, которому чем далее, тем все больше препоручается.

Освобождение от неприкаянности есть освобождение от Памяти. Велик соблазн, но и цена велика: ведь неприкаянные — «соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» (Мф., 5:13). И душа усталого странника исключается из звездных скитаний, и «перестает быть», ибо отказ пророка от груза Знания есть предательство Духа.

Особое место в творчестве Волошина занимает судьба России. Если подход Блока к этой теме — национально-исторический, подход Ахматовой — лирический, то Волошин видит Россию из иных измерений, ибо и в этом закрыт серому ангелу «путь проверенных орбит». Судьбу своей земной отчизны он видит в контексте общемировых судеб. Это — попытка (еще одна!) облечь Знание в поэзию.

Не нам ли суждено изжить
Последние судьбы Европы,
Чтобы собой предотвратить
Ее погибельные тропы?
Пусть бунт наш — бред,
Пусть дом наш — пуст,
Пусть боль от наших ран — не наша,
Но — да не минет эта чаша
Чужих страданий — наших уст.

Тут Россия — сразу и Христос, и враги Его. «Ныне оставляется дом ваш пуст» — слова Христа, обращенные к Иерусалиму. А слова об искупительной чаше — перифраз молитвы в Гефсиманском саду: «...да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты...» (Мф., 26:39).

Стихотворение «Русская революция», из которого взяты приведенные выше строки, написано в 1919 году. Со спокойствием стойка оставаясь у себя дома в Коктебеле, Волошин, по древнему русскому обычаю, помогал всем, кто в беде: спасал белых от красных, красных от белых... Это не была равнодушная позиция над схваткой, нет, — «молюсь за тех и за других» — жизненная позиция пророка и гуманиста.

Оценка событий и глубинных причин их находит параллельное выражение в поэме «Протопоп Аввакум». Эпиграфом к ней взяты слова самого Аввакума: «Выпросил у Бога светлую Россию Сатана, да очервленил ю кровью мученической». Для Волошина это воплощается в противоборении двух конкретно-исторических начал: светлой, Европейской, Руси, порожденной варяжско-новгородским духом, воскresающим из пепла снова и снова, с темной «палаческой, имперской и мятежной» Русью, воплотившейся в образе московского периода нашей истории — самого страшного и позорного (если не считать периода «новомосковского», лишь начинавшегося в те годы). Монгольский дух породил «азиатчину без азиатов». Уже не было татарских владык, но дух рабства и палачества воплотился в темной мощи Ивана IV, а потом в никоновском расколе, рвавшем страну на части почти так же, как в XX веке: *«расплясались, разгулялись бесы / по России вдоль и поперек...»*.

Антропософское мирозерцание позволяет поэту не проводить простых литературных параллелей, а оживлять образы вневременные. Из любого времени Волошин выхватывает тип или характер, который видит как судьбоносный. И палаческое бесовство азиатчины на тронах неотделимо от бесовства мятежей — от красного петуха Стеньки, Емельки и Гришки Отрепьева.

Вспоминается, как у Достоевского в «Бесах» заявляет Шигалев: «Начав с безграничной свободы, я заканчиваю безграничным деспотизмом».

Мятеж и тирания переходят друг в друга, ибо главное в их сходстве — нет, в их тождестве — вседозволенность.

Деспотия вызывает мятеж, а он ведет к новой деспотии. Еще большей. И с течением истории все сильнее и сильнее раскачивается маятник исторических судеб страны и мира, пока не изживут себя обе крайности, слившись в верхней точке, пока не возникнет иной вид движения...

Цепь смертей и рождений Дмитрия Императора — Гришки, Тушинского Вора и т. д. становится воплощением этих все расширяющихся взмахов маятника судьбы. «Убийственный много и восставый», Отрепьев сам и мятеж, и тирания. Не самозванец — законный наследник Грозного, порождение деспотизма, он же — «бунт бессмысленный и беспощадный», вседозволенность власти и мятежа. Зло, пресекаемое злом, вырастает в новое, большее. Все шире амплитуда — от безграничности анархии до безграничности власти: *«Так смущая Русь судьбою дивной, / Четверть века мертвый, неизбывный / Правил я лихой годиною бед / И опять приду. Чрез триста лет»*. Написано это стихотворение в декабре 1917 года когда от февральской революции, которую Волошин принимал как закономерный акт исторического возмездия, осталось одно воспоминание. Период безответственной свободы уже сменился периодом столь же безответственной деспотии. Для Волошина это — неизбежность, продиктованная самой сутью России: *«Я сам — огонь. Мятеж в моей природе, / Но цель и грань нужны ему. / Не в первый раз мечтая о свободе / Мы строим новую тюрьму»*. Вот эти-то «цель и грань» невозможны, пока обе крайности не самоуничтожатся в борьбе незаконной и яростной. *«Так семя, чтобы прорасти, должно истлеть. / Истлей, Россия, / и царством духа расцвети»*.

В знаменитом стихотворении, написанном 23 ноября 1917 года, поэт провидит дальнейший рок, хотя после октябрьского переворота прошло чуть более двух недель:

С Россией кончено. На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях.
Распродали на улицах — не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав... И родину народ
Сам выволоч на гноище, как падаль...

Но для поэта-пророка это все же не гибель, но переход той смертельной черты, последней грани, за которой только и возможно возрождение. Надо стать пеплом, чтобы из него восстать, «смертию смерть поправ». В одном из ранних стихов («Ангел мщения») Волошин писал: *«Кто раз познал хмельной отравы гнева, / Тот станет палачом иль жертвой палача»*. Россия стала и тем, и другим. И палачом и жертвой. И только пройдя через это, она воскреснет, свершив крестный путь за те страны и народы, которые будут искуплены распятием России.

В. Бетаки

«СТАЛЬНАЯ ПТИЦА»

Одиннадцать лет тому назад в Москве, в Центральном доме литераторов, состоялось очередное заседание клуба рассказчиков. Обычно подобные мероприятия собирали мало народу, ибо рассказы, рекомендованные секцией прозы (а рекомендация должна быть обязательно), почему-то мало интересовали публику. Но на этот раз восьмая комната, где по традиции проводились обсуждения, была набита битком. Ажиотаж объяснялся просто: с новой своей вещью должен был выступать Василий Аксенов, один из самых популярных наших прозаиков.

Так получилось, что мне было поручено вести этот вечер, и я предложил автору прочесть несколько десятков страниц из его новой рукописи — а потом займемся обсуждением. Все знают, как тяжело слушать прозу на слух, и думалось, что примерно через час публика устанет. ...Прошел час, другой, третий, публика не проявляла признаков усталости, и несмотря на заманчивый гул, доносящийся снизу, из ресторана, никто не уходил. Кончилось тем, что Аксенов прочел всю свою повесть, более ста страниц, установив тем самым неофициальный «рекорд» по продолжительности чтения в ЦДЛ.

Повесть называлась «Стальная птица». И сюжет ее был в общем-то нехитрый: в доме № 14 по Фонарному переулку появляется некий гражданин Попенкин и, странным обра-

Василий Аксенов. Стальная птица. — В журн.: «Глагол», 1, 1977.

зом завоевав доверие управдома, поселяется в лифте. Причем, чтоб не мешать жильцам, он занимает лифт только по ночам, втаскивая в него свою раскладушку, а днем скромно хоронится в темном углу, изучая жизнь обитателей дома. Однако постепенно, умело применяя шантаж и лесть, Попенкин становится фактическим хозяином дома: вестибюль переоборудован в его роскошные апартаменты, лифт закрыт для общего пользования, парадная лестница забита, и жители ходят через «черный ход». Часть жильцов работает на Попенкина, изготавливая фальшивые французские гобелены, а сам Попенкин настолько преуспевает, что даже отбивает жену у замминистра, красотку Зину. Все было бы ничего, но деятельность Попенкина разрушает основы дома в буквальном смысле этого слова: в стенах появляются трещины, катастрофа неминуема. И только тогда жильцы взбунтовались, сомкнутыми рядами они идут на Попенкина, но в этот критический момент из райжилуправления верхом на белой лошади возвращается управдом, который, играя на корнет-а-пистоне, торжественно объявляет радостную весть: «Граждане родные, сестры и братишки! Райжилуправление выделило дом! Дом восьмиэтажный, весь почти стеклянный, весь почти пластмассовый, уверяю вас! В сказочном квартале, экспериментальном, всем на загляденье высится чертог! Голубые ванны, рядом унитаза, мусоропроводы ожидают вас! Каждому солярий, каждому дендрарий, каждому столовую, каждому бассейн!...» Счастливые жильцы мигом переехали на новое место жительства, и через пять минут после их отъезда дом № 14 рухнул, оставив в целости и сохранности лишь шахту лифта. На верху ее, в течение долгих месяцев, совершенно без движений, сидел товарищ Попенкин, а потом, однажды, востропел, прыгнул и полетел над Москвой. За ним тянулись две темные полосы. Потом их развеял ветер.

История карьеры гражданина Попенкина была написана задорно и весело, в типичной для Аксенова манере «рассказа с преувеличениями» (так, например, научным мужам не удалось выяснить, кем же был на самом деле Попенкин — человеком, птицей или... самолетом, посему его и прозвали «Стальной птицей»). Заодно Аксенов экспериментировал, вводя в прозу белый стих (обратим внимание, что приведенная выше речь домуправа вполне ложится на мотив

известной песни «И по эскадронам бойцы-кавалеристы...»). Но в сущности повесть Аксенова, по своей идейной направленности, не выходила из рамок советской литературы, и начальству можно было объяснить (а нашему литературному начальству надо все объяснять и разжёвывать, иначе нельзя) — дескать, это сатира на мещанство, и, дескать, нельзя мещанину уступать, иначе мещанин разрушит и испоганит все вокруг, в том числе и светлое будущее наших людей... Поэтому писатели, собравшиеся в тот день в восьмой комнате ЦДЛА долго спорили о литературных достоинствах «Стальной птицы» (повесть почти всем понравилась, но некоторых раздражал «модерновый стиль»), однако никому из них не пришло в голову усомниться, напечатают повесть или нет. Все были абсолютно уверены, что повесть, естественно, напечатают, разногласия лишь возникали по поводу журналов: куда ее предлагать — в «Новый мир» или в «Юность»? «Новый мир» — журнал посмелее, но там любят традиционную прозу... «Юность», вроде бы, «родила» Аксенова, но сейчас там начальство малость напугано...

Прошло одиннадцать лет. Ни «Новый мир», ни «Юность», и вообще ни один советский журнал не решился опубликовать «Стальную птицу». Почему? Почему в советских журналах нельзя печатать вполне «просоветскую» повесть известного советского писателя? Где логика? Странно устроено человеческое мышление. Советской власти вот уже 60 лет, и каждый день эта власть совершает поступки, противоречащие логике и здравому смыслу, — кажется, к этому пора бы привыкнуть — но мы, хотя бы в мелочах, продолжаем искать логику, продолжаем искать смысл...

Итак, прошло одиннадцать лет, и «Стальная птица» наконец опубликована, но, увы, не на страницах советского издания. Она появилась в первом номере журнала «Глагол», выпущенном в Америке на русском языке издательством «Ардис». Критика справедливо полагает, что лицо литературного журнала определяет проза, и то, что «Глагол» решил дебютировать с аксеновской повести, говорит о многом.

Что еще можно добавить к разговору о «Стальной птице»? Подробно разбирать литературные достоинства этой вещи? Однако, признаюсь, я не могу быть объективным критиком — исключая первой повести Аксенова «Коллеги», мне все нравится в его прозе, более того, лично я

считаю Аксенова одним из лучших современных русских писателей. Я уже отмечал, что для советского начальства повесть можно объяснить как вполне «просоветскую». Но «Стальную птицу» можно понять и по-другому и найти там... чур, меня, чур! Не буду помогать товарищам из определенного ведомства «шить дело» на Аксенова. И вообще, настоящее художественное произведение не поддается плоской политической оценке, на него нельзя наклеить ярлык. Об этом, кстати, сказал в свое время Булат Окуджава в стихотворении «Живописцы»:

«Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
Нашу зиму, наше лето и весну...
Ничего, что мы чужие, вы рисуйте,
Я потом, что непонятно, объясню».

Анатолий Гладилин

«АПОЛЛОН» НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Нужно быть побольше любопытным и не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов. Поэзия не манная каша, которую глотают не жуя и о которой тотчас забывают.

«Афиши Ленинградского дома печати», 1928 г.

Скоро исполнится год со времени выхода в свет альманаха «Аполлон-77», вызвавшего уже немало откликов (и окриков). В предисловии к альманаху («В порядке информации») В. Петров так определяет цели этого издания:

«Почему альманах? Потому что он — бомба, тогда как все антологии — лишь умножение книжной пыли в библиотеках... Не жаждем понравиться, угодить... Это — ПАМЯТНИК искусству, которое удалось вынести на свет Божий и суд человеческий из глубокого подполья.

...чудовищный «сюр» советской действительности, атмосфера «смердящего духа» нашли достойных выразителей.

Сейчас мы дадим им слово. Какое впечатляющее оживление породил неостывающий накал вывернутой наизнанку жизни!

Мы не лицейскую «изящную словесность» Пушкина вкушали, а проломный, чугунный жаргон двора и улицы, невероятный слэнг производства и общежития, немыслимый «советский язык» учрежденческой новоречи. Мы честны и бескомпромиссны в нашей связи с этим исторгнувшим нас миром, а потому сознательно представляем здесь целую группу мастеров «этого варварского языка».

На пороге ли времен Апокалипсиса смотреть на мир сквозь лорнет состарившихся тургеневских барышень?»

В соответствии с этим «кредо», и Аполлон — в прошлом олицетворявший собою красоту и гармонию мира бог-покровитель искусства — ныне предстает перед нами в образе человека, воспринимающего мир обнаженными нервами (ибо кожа у него — содрана), человека с головой, обритой наголо, с наглухо завязанным ртом и криком ужаса, боли и гнева, рвущимся из глаз. Безусловно, восприятие жизни и искусства — дело сугубо индивидуальное, но безусловно и то, что сегодня нельзя отрицать *право* человека и на такую интерпретацию Аполлона (у каждого века, у каждого поколения, он, видимо, — свой). В мире, где человек превращен не то в колесико, не то в винтик; где брат убивает брата, а жена доносит на мужа; где возможно безнаказанное варварское истребление десятков миллионов людей; где бандит, получивший баснословный выкуп и не убивший свою жертву, считается чуть ли не благодетелем; в мире, где библейские грешники кажутся просто святыми людьми, — разве может искусство сохранять величавость, гармонию и созерцательность античных времен?..

Надо, однако, сказать, что состав авторов альманаха весьма разнообразен, и к некоторым из них «кредо», изложенное в предисловии, можно отнести только с очень большой натяжкой. Таковы, например, элегические, просветленные стихи Р. Мандельштама:

Я нечаянно здесь — я смотрел
В отраженья серебряных крыш
И совсем от весны заболел,
Как от снега летучая мышь.

Захотелось прийти и сказать:
— Извини, это было давно,
И на ветер рукой показать,
И раскрыть голубое окно...
— Извини, это было давно...

пронизанные причудливым переплетением цитат и ассоциаций стихи И. Бурихина:

И все-таки взойдет она —
песчинка пагубная смерти.
И, бездна, коими полна,
звездами на большом конверте
напишут наши имена,

как слышит мальчик, сам-четверг,
Гомера новый провожатый,
как с лишним членом стюардесса
иль Карл Стюарт без головы,
но в пыльном шлеме. Так сказать —
самой войны Патрокл военнопленный!..

очень женская (хотя, увы, и заставляющая думать, что это лишь первые поэтические опыты автора) лирика С. Радзиевской:

Приходит женщина, не радуя,
И повторяясь, как рыданье,
И руки медленные падают,
Переплетаясь в ожиданье...

Сказочный голубовато-розовый мир художника А. Тышлера, с его девочками-куклами и парусниками (у него даже «Одиночество» — не тоска и отчаяние, а скорее — мечта, мечтательность...), невольно заставляющий вспомнить романтику гриновских «Алых парусов»; словно пригрезившийся в сладком «сне подмосковного бытия» зыбкий и благостный мир — в рисунках А. Харитонова; радостная игра красок и своевольное смешение предметов — в картинах И. Тюльпанова; прозрачность и умиротворенное свечение картин Э. Зеленина — никак не позволяют рассматривать их как выразителей «чудовищного «сюра» и атмосферы «смердящего духа».

Многие авторы альманаха смотрят на мир сугубо реалистически. Выросшие в условиях советской действительности, неприемлющие ее аморализма, насилия, лжи, они открыто восстают против нее.

О варварском уничтожении духовных ценностей человечества пишет талантливый поэт-романтик В. Кривулин:

Пью вино архаизмов. О солнце, горевшем когда-то,
говорит, заплетаясь, и бредит язык.

До сих пор на губах моих красная пена заката,
всюду — отблески зарева, языки сожигаемых книг!
Гибнет каждое слово, но весело гибнет, крылато,
отлетая в объятия Логоса-брата,
от какого огонь изгоняемой жизни возник.

Место уничтоженных слов, «братом» которых был Логос, занял изобретенный советскими бюрократами немислимый жаргон, над которым остроумно издевается В. Гаврильчик:

Период захсолнца. Пора лирмгновений,
Законные чувства вторгаются в грудь.
С любдевой стою в коллективе растений,
Волнуюсь за родину, гордый чуть-чуть...

(Или — его же — «Я прибыл к тебе на предмет поцелуя»!)

Тупость и примитивность советской системы, ее античеловечность, извращение ею самых простых человеческих слов и понятий подчеркивает и В. Бахчанян:

«Спутник» летит.
Время бежит.
Суд идет.
Стража стоит.
Буковский сидит.
Ленин лежит.

С горьким сарказмом пишет о сталинщине И. Холин:

...А что если вы не умерли
А притворились неживым
На время
Что если явитесь

ВНОВЬ

С вашим-то опытом
И умением
Крови я думаю
натечет

Целое
Цимлянское море...

Вам бы товарищ Сталин
Овец пасти
На вершинах альпийских
Или кавказских гор
Стричь их
и резать
А вы взяли пасти
Человеческое стадо
А его резать не надо...

Эта «резня» людей нашла отражение и в творчестве художников (иллюстрации М. Шемякина к солженицынскому «Архипелагу ГУЛАг», лагерные рисунки Б. Свешникова — очень удачно названные А. Синаевским «Белым эпосом» — и др.).

Стремясь дать глубоко психологические образы простых русских людей, показать «строй души» народа, его быт, многие художники придерживаются вполне реалистических традиций (таковы, например, картины В. Калинина, посвященные Замоскворечью, «Сибирский поезд» фотографа Л. Полякова...)

Но, пожалуй, бóльшую часть альманаха, действительно, занимают произведения, в которых реалистическое видение пороков окружающего мира трансформируется в подсознательный ужас перед ним, стремление убежать от него, скрыться; люди представляются лишь олицетворением зла, омерзительного до предела, до невероятия. Авторы ужасаются этому миру так, как ужасается человек, внезапно разбуженный убийцей и увидевший во тьме ночи занесенный над собою нож: нет сил ни пошевелить рукой, ни даже вскрикнуть... Органическое, животное неприятие этого сатанинского зла и панический страх перед ним рвется из каждой строки этих произведений, обуславливая их язык и стиль. Таковы рассказы А. Ровнера («Сладкая жизнь»,

«Пузыри земли»), «сцена из народной жизни» Н. Воронель («На дебаркадере»), «героическая драма» А. Волохонского («Буденный»), стихи Е. Мнацакановой, Е. Шаповой и др. Ярче же всего это направление (настроение?) выражено в творчестве Ю. Мамлеева, которое и представлено в альманахе наиболее полно (рассказы «Последний знак Спинозы», «Нога», «Смерть матери», «Шиши», «Человек с лошадиным бегом»). Пересказывать их «своими словами» невозможно, вернее — бессмысленно, ибо основной смысл их не в композиции и сюжете, а пожалуй, в интонациях, в настроении, создаваемом не столько фабулой, сколько мельчайшими деталями. Творчество Мамлеева довольно объективно (хотя и несколько примитивно) оценено в книге Ю. Мальцева «Вольная русская литература» («Посев», 1976): «Произведения Мамлеева двуплановы. Один план — это изображение определенных сторон современной русской жизни: патологический быт коммунальных квартир, душевные надломы, секс, скука и жестокость убогого бессмысленного существования. Другой план — изображение скрытых метафизических ситуаций, некоторые люди оказываются даже не людьми, а монстрами или сверхчеловеческими существами. Исследование феномена человека, говорит Мамлев, ведет в трансцендентную область к потусторонней модели человека, к «невидимому человеку».

В какой-то мере та же «двуплановость» свойственна и творчеству некоторых художников, таких, как В. Янкилевский (цикл «Город — маски»), Е. Михнов, А. Леонов...

В краткой рецензии, безусловно, нет никакой возможности даже бегло охарактеризовать особенности творческого почерка каждого из участников альманаха (их больше восьмидесяти!), поэтому невольно приходится ограничиться «классификацией» их по такому примитивному принципу, как «отношение к окружающему миру», абсолютно игнорируя различия в художественных приемах отображения этого мира, в поисках формы и т. п. Но — нельзя объять необъятное — диапазон «охвата» альманаха уж очень велик: представители «старшего поколения» — Филонов, Введенский, Хармс, Ремизов, Кузмин (не могу не оговорить, что его «Печка в бане» мне представляется просто записями-«заготовками», не предназначавшимися автором для печати); группа «Конкрет» и «малый круг поэзии», поэты, писа-

тели, художники, скульпторы, фотографы, не входящие вообще ни в какие группы...

Почти каждое произведение в разделах прозы и поэзии снабжено вступительными статьями-рецензиями, фотографиями авторов, а также рисунками-иллюстрациями. М. Шемякина (нельзя не поблагодарить его за этот огромный труд!).

Необходимо отметить и высокое качество издания альманаха, что особенно, конечно, важно при воспроизведении живописных, графических и фото- работ. В этом отношении альманах — явление уникальное: за 60 лет своего полномочного правления советские власти не удосужились выпустить ни одного издания (пусть бы составленного из произведений своих архипросоветских служителей), качество которого могло бы хоть сколько-нибудь потягаться с этим. Эмиграция русская сделать этого тоже не смогла: не по вине своей (и талантов, и знаний, и вкуса-то хватало с лихвой!), а по беде — по бедности... В разделах прозы и поэзии (а особенно в предпосланных им кратких рецензиях и сведениях об авторах), увы, встречаются досадные опечатки; ничем, кроме небрежности верстки, не объяснимые «просветы»; не всегда понятное употребление курсивного шрифта...

Составителей альманаха можно упрекнуть в том, что не все авторы представлены «равномерно»: так, например, невозможно судить о творчестве В. Марамзина или Н. Бокова по одной крохотной публикации (на мой взгляд, и не очень для них характерной); то же можно сказать и о художнике М. Шварцмане (всего одна репродукция! — и это при том, что В. Петров провозглашает его «апостолом катакомбного искусства»!). Можно, увы, предъявить претензии и к недостаточно тщательному отбору материалов с точки зрения подлинной их художественной ценности и талантливости авторов: некоторые произведения словно взяты из студенческой стенгазеты или «капустника», а некоторые просто вызывают досадное сожаление (кто в юности не пишет стихи? — но не всё же надо тащить на «свет Божий», да еще со столь хвалебными комментариями!) Кстати, о «комментариях»: немалый, мне кажется, вред альманаху причинил излишне задиристый тон вводной статьи В. Петрова (а в его же рецензиях — потеря вкуса и чувства меры, рекламно-застывательная разухабистость). Кроме того, увлекшись полеми-

кой с (тогда еще воображаемыми) врагами «Аполлона-77», В. Петров противоречит сам себе буквально на соседних же страницах: первоначально провозгласив, что альманах выносятся на свет Божий и суд человеческий, в последнем абзаце он пишет: «Предпринимая эту, не имеющую прецедента акцию на свои личные деньги... художник Михаил Шемякин считает ее своей СВЯТОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ перед всеми соратниками и единомышленниками «здесь» и «там». Обязанностью, освобождающей его от необходимости считаться с чьим бы то ни было мнением, будь то в аспекте политическом, идеологическом или, тем более, эстетическом». «Суд человеческий» и «освобождение от необходимости считаться с чьим бы то ни было мнением»... — ей-же-ей — одно с другим никак не согласуется! Не говоря уже о том, что читателя не может не покоробить и не очень-то тактичное выступление от лица М. Шемякина (разве сам издатель лишен права голоса?!), да еще когда главным аргументом «затыкания ртов» выступает такой довод, как «личные деньги»... Такого рода высказывания, да еще явно неумеренные эпитеты типа «океаническая глубина, необъятность мысли и немислимость интуиции», увы, видимо, и сыграли роль той «красной тряпки», на которую в бешенстве накинудись многие «критики» (без кавычек обойтись тут трудно). Забыв про прецеденты с множеством авангардных манифестов начала века, про намеренное «эпатирование буржуа», про пресловутую «желтую кофту» и т. п. аксессуары авангарда, — они ринулись в бой с такой перевозданной яростью, что не постыдились даже прибегнуть к худшим из худших советских методов ошельмовывания инакомыслящих (см., например, беспрецедентные в этом отношении выпады И. Синявина против М. Шемякина — «Новый журнал», № 127, — которые просто стыдно цитировать. Скажем только, что сведение сугубо личных счетов и беспардонная брань в разговоре об искусстве характеризует лишь того, кто пытается выдать это за полемику...) «Критики» настолько увлеклись собственными бранными перлами по адресу альманаха, что как-то и не заметили, что они — пустопорожни, что они ничего не говорят *по сути*. Ругая того же Мамлеева, они даже не замечают, что «моют косточки» не его творчеству, а — сказанному о нем тем же В. Петровым... Претензии же, предъявляемые ими ко всему «Аполлону-77», наводят на печальную

мысль, что в большинстве случаев «критики» не только альманах не смотрели и не читали, но даже и с предисловием к нему не ознакомились (ну, зачем бы тогда ломиться в открытую дверь и вопрошать, почему «Аполлон» назван «Аполлоном»?!)

Не стоило бы, пожалуй, на этом и останавливаться, но уж слишком грустно, выехав из СССР, видеть, как люди, провозглашающие себя поборниками свободы, исповедуют всё тот же волчий закон: «кто не с нами, тот против нас»!

Но кто бы и как бы ни рассматривал альманах, с какими бы чувствами ни относился к нему, ясно одно: он уже стал одним из фактов истории нашей культуры. Вполне объективно и четко сказал об этом В. Максимов: «После долгой и, казалось бы невосполнимой уже пустоты в области русского авангарда, перед нами вдруг возникает внушительная и волнующая панорама нового, ищущего, непокорного искусства»... И кому же, как не нам, современникам, отлично знающим, каких трудов стоило предпринять и завершить выпуск такого альманаха, — следует сказать большое спасибо и издателю, и всем «аполлоновцам»!

Д. Черн



**Обращение
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО
АРХИЕПИСКОПА ГЕОРГИЯ**

Дорогие братья и сестры,
приближаются дни поминаения усопших.

5-го ноября/23 октября в Дмитриевскую — Родительскую Субботу мы творим поминовение на поле брани убиенных воинов. Это поминовение было установлено в 1380 году — в год Куликовской битвы — Благоверным Великим Князем Димитрием Донским. Куликовская победа озарила все историческое бытие древней Руси.

На следующий день — в воскресенье 6-го ноября/24 октября в этом году к шестидесятилетию Октябрьского переворота мы будем помянуть всех погибших, всех мученический венец приявших сынов России. Перед нашим мысленным взором великое множество русских людей — расстрелянных, замученных, в междуусобной брани убиенных, на горьких непосильных работах умерших, от голода скончавшихся, любое гонение и смерть за Веру претерпевших.

Наши молитвы об усопших сродниках и соотечественниках наших не умолкают. Память о них — открытая рана в нашем сердце.

Благословляю совершить в воскресенье 6-го ноября, после Божественной Литургии, панихиду во всех храмах нашей Архиепископии.

Помяни Господи всех представших пред Тобою.

Со Святыми Упокой

Вечная Память

† *Архиепископ ГЕОРГИЙ*

28-го октября 1977 г.
Кафедральный Свято-Троицкий
Александро-Невский Собор
Париж

Коротко о книгах

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ

МОСКВА-ПЕТУШКИ

ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1977

Венедикт Ерофеев назвал свое произведение поэмой, и поскольку он имел на это не только право, но и основания, то и мы будем называть «Москва-Петушки» поэмой. Впервые она была напечатана в Израиле, в русском журнале «Ами» № 3 за 1973 год, и с тех пор журнал давно прекратил свое существование. Но публикацией поэмы Венедикта Ерофеева он застраховал себя от забвения. Десятки журналов и журнальчиков, вскормленных замыслами столь же грандиозными, сколь тощими были карманы их основателей, обречены были вымереть почти безымянно; «Ами» избежал — не гибли, нет, — но братской могилы. Он не был отправлен в литературное небытие с номерной биркой на ноге: с ним связано появление на Западе имени и поэмы Венедикта Ерофеева.

Весьма любопытный факт:

отдельным изданием «Москва-Петушки» вышла вначале по-французски, а не по-русски. Похоже на то, что увенчанные благородными седидами зарубежные русские издательства сочли своего московского соотечественника слишком «не комильфо» — даже газета «Русская мысль» напечатала рецензию на поэму Ерофеева только после выхода французского издания. Причем, рецензент читал ее по-французски: русской публикации, о которой всем было хорошо известно, как бы и не существовало. Она казалась слишком неприличной. Впрочем, французская тоже казалась неприличной, но молчать было уже неудобно, потому что французы слишком громко восхищались. И вот, наконец, через четыре года книга «Москва-Петушки» увидела свет на родной кириллице: издательство ИМКА-ПРЕСС сделало оф-

сетную копию с публикации в «Ами» и одело ее в обложку с фотографией картины В. Калинина «Человек жаждущий».

Надо признаться, что увидевшие в поэме Ерофеева непристойность, имели на это некоторые основания (а любители стыдливо натягивать на Венеру сиреневые трико разве не имеют на это оснований?): «Москва-Петушки» трактует философский вопрос об отношениях между материей и сознанием в аспекте, для неподготовленного читателя несколько экстравагантном. В самом деле, — воплощенная в форму спиртного, материя исчезает (но не в никуда, как известно из физики) и немедленно переходит в энергию «достать еще». Однако совершенно ясно, что появлению материи (спиртного) предшествует сознание того, что надо выпить (мучительное сознание). Таким образом, Ерофеев предстает перед нами несомненным идеалистом. С изысканной изворотливостью гражданина первого в мире материалистического государства Ерофеев пользуется услугами материализма, дабы кормить криминальный идеализм: он отодвигает окружающий его мир в хмельное небытие, созидая

в своем сознании мир иной, где скорбь и страх, мучающие его, не только не постыдны, но поразительно, очищенно прекрасны; где человеческие образы и реальные жизненные ситуации приобретают дивную способность испаряться даже без «сгинь!», по одному только непознанному движению души; где Бог лучезарно близок, а дьявол смраден и никогда не торжествует; где есть земля обетованная, зовущаяся «Петушки», и там на перроне стоит рыжая с белыми ресницами и длинными косами, а еще чуть дальше за Петушками — восхитительный трехлетний мальчик, знающий букву Ю. И нет никакого сомнения в том, что рай с рыжей царицей и мальчиком, знающим букву Ю, может существовать только в сознании, укрепленном двумя четвертинками российской, двумя бутылками кубанской и розовым крепким за рупь тридцать семь, потому что иначе — вне — все ценности оказываются расщепленными на химические элементы, каждый из которых ничем не напоминает целого, и вообще целого не существует, а существуют только горечь и смрад душевного запустения. Живое и

буквальное ощущение слов «мировая скорбь», в котором признается автор, делает его книгу — его поэму — при всей непереносимости для розовых дамских ушек некоторых слов, обозначен-

ных отнюдь не многоточиями, — одним из самых целомудренных, самых трагических и самых правдивых произведений нашего времени.

Е. ЭТКИНД

ЗАПИСКИ НЕЗАГОВОРЩИКА

«Оверсиз» и «Оксфорд Пресс», Лондон, 1977

Казалось бы — много ли можно написать о таком негромком деле, как исключение человека из Союза писателей? А о таком заурядном событии, да нет, не событии, скромнее — просто о таком заурядном факте, как увольнение с работы преподавателя, пусть даже профессора?

Оказывается, можно об этом написать толстую книгу. Незаговорщик? Что это такое? «Не бывает такого животного», — сказал скептик, увидев в зоопарке жирафа. В данном случае в роли скептика — партийное начальство, ленинградские власти разных уровней. В заговорщики рядят любого, кто на дороге попадается — по принципу: «Кто не с нами, тот против нас». Кто не стукач и не карьерист — тот

уже и заговорщик. Вроде и не числится ничего за чело-
веком — а всё же... Вот это «всё же» и есть психология люмпенов у власти. Описание этой психологии, широко документированное, и делает книгу Эткин-
да объемистой. В данном случае невозможно иначе. Не в масштабе событий дело, а в точных деталях и подробностях, в четких характеристиках людей, которых автор знал на протяжении многих лет. И он далек от того, чтобы превращать одних из них в ангелов, а других в бешеных. Живые люди намного сложнее, крайностями тут не обойтись. Поэтому ни лживые утверждения, что советская действительность идеальна, ни полное отрицание всего, что в ней есть, автору не подходят. Он ви-

дит односторонность и неправоту многих людей, которые, живя давно на Западе, отрицают даже лучшее из того, что появилось в России за шестьдесят лет. Он видит и ложь, и — что еще важнее — полуправду, в которой живут такие же, как он, «незаговорщики», обы-

кновенные люди...

Лейтмотив книги — чувство стыда за себя и за свою страну, за всех нас, ибо все в той или иной степени соучастники. Стыд за соучастие, тот «черный стыд», о котором писала А. А. Ахматова, — вот позиция автора.

В. ЧАЛИДЗЕ

ЛЕКЦИИ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ РАБОЧИХ В СССР

«Хроника», Нью-Йорк, 1976

В этой небольшой книжке собраны записи четырех лекций, прочитанных в свое время на семинаре о положении различных социальных групп в СССР (Йельский Университет, США).

В наше время, когда уже невозможно скрывать размах притеснений и нарушений Прав Человека в Советском Союзе, те, кто руководит работой по дезинформации, особенное внимание стали уделять пропаганде того сомнительного положения, что социально-экономические права (как право на труд, на образование, на пенсию и т. д.) должны иметь вообще и действительно имеют в СССР приоритет перед правами гражд-

данскими и политическими. Гражданские права, которые якобы беспокоят лишь интеллигенцию, не освободившуюся от влияния «буржуазной идеологии» (это за 60-то лет!), как бы отодвигаются в тень, что весьма удобно для партийного руководства. Утверждая, что социально-экономические права, данные трудящимся в СССР, куда более широки, чем в странах «капитала», советское руководство не только пытается отвлечь внимание мировой общественности от психушек и лагерей, но продолжать (и не без успеха иногда, особенно в странах «третьего мира») пропагандировать социалистический образ жизни.

Книга В. Чалидзе, показывая конкретно положение рабочих, тех, кого советская пропаганда называет хозяевами («диктатура пролетариата»), описывает положение этих «диктаторов», которое даже при самом поверхностном анализе обнаруживается как полностью зависимое и, по сути, просто бесправное.

Право на труд превращено в обязанность, невыполнение которой преследуется: «...почти все обеспечены трудом, но не правом на труд, — пишет автор, — некорректно говорить о праве, когда нет свободы выбора и даже права работать по специальности». Что же касается, например, права на образование, то тут Чалидзе точно и справедливо замечает, что оно «особенно тесно связано с правом на свободный поиск информации» и тем самым принадлежит уже не только к правам социально-экономическим, но

и к правам чисто политическим. Таким образом, противопоставление одной группы прав другой, устраивающее как руководство СССР, так и руководство многих «развивающихся стран», оказывается лишь несложным пропагандистским трюком: во-первых, выясняется неделимость Прав Человека, а во-вторых, конкретное описание положения рабочих в различных отраслях советского производства показывает, что те социально-экономические права, которыми на самом деле пользуются советские рабочие, сравнимы разве что с положением западных рабочих в начале нашего века, а то и в прошлом столетии. Тем более, что профсоюзы, на Западе защищающие интересы рабочих, в СССР стоят «на страже государственных интересов», т. е. на страже интересов работодателя, и попросту являются «частичей власти».

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУШАНИЕ САХАРОВА В КОПЕНГАГЕНЕ

Издание Комитета Слушания Сахарова. Копенгаген, 1977

В книге собраны все материалы Слушания, все выступления свидетелей, отно-

сящиеся к преследованию инакомыслящих, нарушениям Прав Человека в СССР,

нарушением прав национальных меньшинств, преследованию религии и практике помещения инакомыслящих в психиатрические больницы.

Кроме стенограмм выступлений, в сборнике помещены резюме Слушания, обращение академика Сахарова ко всем собравшимся в Копенгагене, а также заявления С. Визенталя и В. Максимова.

В предисловии к сборнику один из активных организаторов Слушания, Бернард Караватский, пишет: «Настоящее издание документов на русском языке предназначается в первую очередь для жителей СССР, не имеющих доступа к источникам информации».

Сила этой книги, прежде всего, в том, что она состоит из одних документов. И

поэтому она — не только собрание ценной информации для современников, но и незаменимый материал для историка, который будет заниматься 70-ми годами XX века.

В своем обращении к Слушанию А. Д. Сахаров, отмечая исключительно важную роль самиздатской «Хроники текущих событий», ссылается на нее как на подробный и точный документ о положении в стране и призывает участников Слушания сделать всё, чтобы облегчить судьбы тех, кто подвергается преследованиям за инакомыслие в СССР. Он пишет:

«Надеюсь, что это Слушание привлечет самое пристальное внимание датской и мировой прессы и явится важным этапом усиления борьбы за права человека в СССР».

АННА АХМАТОВА

СТИХИ, ПЕРЕПИСКА, ВОСПОМИНАНИЯ, ИКОНОГРАФИЯ.

Сост. Э. ПРОФФЕР

«Ардис», Анн Арбор, США

Уже само по себе название книги, перечисляющее столь разнородные материалы,

могло бы стоять на титуле собрания сочинений, а не тонкой книжки в сто с лиш-

ним страниц. Но полного собрания сочинений Ахматовой в СССР не выпускают. И даже вышедшая в серии «Библиотека поэта» объемистая книга стихотворений и поэм никак не может претендовать на полноту — да она и не претендует, она только «наиболее полное и научно подготовленное собрание» из числа нескольких советских изданий последних лет.

Собранные в книжке, составленной Э. Проффер, материалы всей своей разнообразностью говорят о том, что составитель предпринял попытку — и на данный момент весьма успешную — дополнить то, что отсутствует в советских изданиях по причинам «идеологическим», а в зарубежном — по нехватке некоторых малодоступных материалов.

Внимание читателя привлекает впервые изданный полный рукописный текст главного (как считал и сам автор) из поэтических произведений Ахматовой — «Поэмы без героя». Известно, что поэма эта, и поныне представляющая комплекс загадок для текстологов, писалась на протяжении многих лет и многократно перерабатывалась. Рукопись, опубликованная в настоящем из-

дании, выполнена Н. Я. Мандельштам и вычитана самой Ахматовой, чьи карандашные поправки и пометки немало могут подсказать будущим исследователям.

Кроме того, впервые в одной книге собрано такое количество фотографий А. Ахматовой и близких к ней людей за весь период ее долгой и нелегкой жизни. Естественно, что некоторые из этих фотографий и поныне представляют собой нежелательный для советских цензоров материал. Невероятно было бы, чтобы, допустим, в книге, изданной «Библиотекой поэта» и снабженной скользкой полуправдой статьи А. Суркова, могли бы появиться фотографии Н. Гумилева или О. Глебовой-Судейкиной — одной из героинь «Поэмы без героя». (В советском издании зато помещена фотография, где рядом с Ахматовой находятся О. Берггольц, М. Дудин, Н. Тихонов — фотография явно помещена с целью показать, что Ахматова — вполне *советский* поэт.)

Вот эта иконографическая ложь и опровергается впервые изданными в ардисовской книжке фотографиями, где Ахматова находится в естественном окружении — О. и Н. Мандельштамов,

Б. Пастернака, Н. Пунина... И. Бродский, Д. Бобышев у гроба А. Ахматовой, ее сын Л. Гумилев около могилы — все эти фотографии становятся деталями одного обвинительного акта.

В книге опубликовано значительное количество писем, ранее неизвестных. Письма Ахматовой-гимназистки к известному переводчику древнеславянской литературы С. В. фон-Штейну с комментариями и статьей Э. Герштейн представляют как ли-

тературный, так и просто человеческий интерес. Тем более заслуживают внимания впервые публикуемые несколько писем Б. Пастернака и его рецензия на книгу А. Ахматовой «Избранное» (1943).

Издание, предпринятое «Ардисом», — очень ценный вклад в работу по исследованию и изучению наследия поэта. Тем более, что такое изучение еще только делает свои первые шаги.

НЕИЗДАНЫЙ БУЛГАКОВ

ТЕКСТЫ И МАТЕРИАЛЫ

«Ардис», Анн-Арбор, США, 1977

В этой книге собраны самые разнообразные материалы, касающиеся личной жизни Булгакова, его взаимоотношений с Московским Художественным театром в период репетиций «Мольера»; воспоминания о нем его первой жены Т. Н. Лаппа, его друзей, работавших над его пьесами актеров МХАТ; записи репетиций на квартире Станиславского.

Наиболее любопытна из публикаций — впервые изданная пьеса Булгакова «Батум», в первоначальной ре-

дакции носившая название «Пастырь». Это пьеса о Сталине, задуманная и начатая Булгаковым в 1936 году и законченная им в 1939. Любопытен не только сам факт написания пьесы на подобную тему (в этом нет ничего удивительного, если учесть положение Булгакова, постоянного упрекаемого в симпатиях к «белогвардейщине». И кто бросит камень в него за это?), любопытно то, что, во-первых, пьеса у него не получилась, а во-вторых, постановка ее

была запрещена еще до того, как пьеса была закончена. Нет никаких сомнений в том, что запрещение исходило от самого Сталина. По мнению одного из критиков, В. Петелина, Сталин решил, что все молодые люди похожи друг на друга и, следовательно, нет необходимости в пьесе о его молодости. Объяснение это представляется крайне слабым: очень маловероятно, что Сталин к тому времени еще был способен отождествлять себя со «всеми молодыми людьми». Кроме того, он был прекрасно знаком с апологетической литературой о себе и хорошо знал, как она делается и какой процент в ней реальности. Быть может, зная Булгакова, он как раз того и боялся, что в пьесе он получится похожим на всех молодых людей? Или опасался еще живых (хотя к тому времени уже весьма немногочисленных) свидетелей своей юности — в том случае, если пьеса окажется слишком сусальна? Или он понимал, зачем Булгаков пишет пьесу о нем, и пожалел писателя в одном из приступов капризного деспотического великодушия? Или вдруг решил дать своему окружению урок скромности?

Вряд ли кто-нибудь на се-

годняшний день в состоянии разрешить эту загадку. Быть может, придет время, когда в числе множества других и она дождется ответа.

Что касается самой пьесы Булгакова, то она, несомненно, самое слабое его произведение. В ней нет решительно ничего, что могло бы служить мотивом написания пьесы, — в ней нет проблемы, более того, нет даже любопытства к образу центрального героя. Сталин у Булгакова действительно получился молодым человеком «как все», пьеса же построена по стереотипу «биографических пьес», которых потом развелось великое множество и которые существовали только за счет априорного утверждения, что речь идет о гениальной личности. У Булгакова же, написавшего Сталина весьма живым, но отнюдь не выходящим из ряда вон юношей, исчезает главное: основание для написания пьесы, мотивировка. Пьеса становится совершенно беспомощной, и явственно выплывают на поверхность усилия автора сделать ее хотя бы занимательной. Он пытается ввести в нее живые детали, живые черточки — в образы персонажей, и ему — мастеру диалога — это удается. Но де-

тали так и остаются деталями, они не соединяются в целое, они не могут ни создать, ни заменить стержня. Действие не движется, каждая предыдущая картина не создает предпосылок для возникновения последующих, толчок, стимул действия отсутствует в пьесе. Каждый из персонажей может быть легко перенесен в любое другое драматургическое произведение, от этого ничего не изменится. Отрицательные герои — в частности, губернатор — написаны с попыткой гротеска. Гротеска не получилось, получился

неуместный и неловкий фарс. Возникает впечатление, что автор стыдится собственных героев, собственного произведения стыдится, потому и пишет его какой-то стеснительной скороговоркой, смущенно пробалтывая вяжущие рот слова.

Нет ничего более поучительного в плане чисто психологическом, чем эта пьеса Булгакова. Ибо ничто не может с такой явственностью свидетельствовать о порядочности писателя, как неловкость его попытки совершить непорядочный поступок.

Ю. КАРЯКИН

САМООБМАН РАСКОЛЬНИКОВА

Москва, изд. Художественной литературы, 1976

Ю. Карякин начинает свою книгу с неожиданного эпиграфа — цитаты из школьного сочинения: «Читать Достоевского очень трудно, и с первого раза очень многого не понимаешь, и даже понимаешь всё наоборот. Особенно насчет Раскольникова».

Этим детски непосредственным признанием он определяет действительное положение вещей в многочислен-

ной литературе о романе Достоевского «Преступление и наказание». Мнения разных исследователей, критиков, литераторов о побудительных причинах поступка Раскольникова не только существенно отличаются друг от друга, но зачастую противоположны. Между тем, исследование этих причин далеко выходит за рамки одного только академического интереса к филоло-

гической проблеме: вопрос о том, властен ли один человек решать, достоин ли другой земного существования, был и остается вечным вопросом. Он влечет за собой великое множество проблем нравственного характера, которые заложены в основу взаимоотношений между людьми в обществе, между личностью и обществом. Если довести эту проблему до конкретизации в пределах злобы дня, то мы, скажем, придем к теме современного терроризма, сделавшего оружием политической борьбы «безличный» террор, основанный на мести обществу через *любого* из его членов, без поисков «виноватого».

Достоевский приводит Раскольникова к убеждению в том, что ни один из смертных не может отнять у другого жизни, не поплатившись за это тяжелой болезнью совести. Но что же все-таки привело Раскольникова к осуществленному им кровавому эксперименту? Желание почувствовать себя всемогущим? Желание уничтожить зло как таковое — пусть всего лишь воплощенное в образе отвратительной старухи, но удайся эксперимент — и не стал ли бы он отмычкой к уничтожению зла в более крупных мас-

штабах, и не это ли двигало рукой Родиона Раскольникова? А раз уничтожение зла открывает путь добру, то не получилось ли бы так, что убийство есть служение добру? И если вопрос этот слишком абстрактен, то не видел ли Раскольников служения добру в том, чтобы избавить людей, реально рядом с ним существующих, от мучившей их мерзкой ста-рухи?

Ю. Карякин рассматривает в своей книге очень подробно все возможные стимулы поступка Раскольникова и обращает внимание читателя на то, что в мотивации его существует весьма скользкий аспект: в самом деле, если Раскольников убил из любви к людям, из желания избавить их от зла, стало быть, существует некая его правота? Скажем, именно альтруизмом руководствовался Раскольников; и, совершив «подвиг братства», не смог выдержать мук совести. Как же, однако, уговорил он свою совесть на убийство, столь хладнокровно и детально продуманное? Многие исследователи полагают, что сам Достоевский очень неопределенно замотивировал действия Раскольникова, чем и создал воз-

можность для разных интерпретаций.

Ю. Карякин показывает, что Достоевский не колебался в определении и оценке причин. Что, как и Пушкин, он был убежден в несовместимости гения и злодейства. Что он ясно показал в романе, как Раскольников строит плотину самообмана между разумом и совестью, как с почти детским ослеплением изменяет заложен-

ным в каждом человеке законам бытия, чтобы на месте их выстроить натужную и недужную схему, разваливающуюся тотчас же по совершении поступка. Раскольников — в сущности, жертва идеи, не самим им созданной, но уловленной им в атмосфере времени и сформулированной для себя со всей соблазнительной и жестокой простотой, на которую может толкнуть идея.

СТРАННИК

ПОЭМА О РУССКОЙ ЛЮБВИ

Париж, 1977

Впервые поэма эта была издана (не полностью) в 1968 году в Нью-Йорке. Тогда называлась она «Упразднение месяца».

Написанная большей частью октавами, весьма располагающими к легкому и ничем не стесненному разговору с читателем, к свободному переходу от темы к теме, к разговорной и слегка ироничной речи, поэма была своеобразным откликом на юбилейную шумиху в СССР в связи с 50-летием октябрьского переворота. Упразднение месяца — имеется в виду октябрь — происходит не-

минуемо, само собой: уж слишком название его затерто и затаскано теми, кто «...говорит пред миром, не краснея, / С полей и рек земли своей богатой / В мир вывозя октябрьские цитаты» в обмен на пшеницу и технологию.

Сюжета поэма не имеет, да и не нуждается в нем — это размышления, порой грустные, порой иронические, и на темы советской действительности, и на темы истории, и на философские темы. Дополненная новыми главами, поэма стала беседой, где автор и читатель

спокойно разговаривают о самых различных предметах, и единство ее в том, что все темы так или иначе сводятся к размышлениям о судьбах России. Потому-то поэма и получила теперь название

«Поэма о русской любви».

И главная беда наша в том, как пишет автор, что «свободу люди полюбить успели, / Но не успели с ней побыть вдвоем».

ЗАПИСЬ—2. ZAPIS—2. — ЗАПИСЬ—3. ZAPIS—3

(Машинопись, Варшава, 1977)

В то время как первый выпуск самиздатского литературного сборника вышел в лондонском издательстве, варшавские читатели уже читали его следующие выпуски. Что же касается первого — все-таки через границу возить книги трудно, а машинописью всех не обеспечишь, — то он попросту был напечатан в количестве 400 экземпляров в ВОЛЬНОЙ (не будем называть ее подпольной, и это не из тактических соображений) типографии в Польше. В обход той самой всемогущей цензуры, одолевать — а еще точнее, игнорировать которую и есть назначение сборника «Запись».

Второй выпуск сборника опять, как и первый, составлен, главным образом, из произведений, которые не прошли через рогатки цензуры. Представлены многие авторы, участвовавшие уже

в первом выпуске: Яцек Бохенский, Ежи Анджеевский, Рышард Криницкий (стихи которого будут напечатаны в следующем номере «Континента»), Виктор Ворошильский (выступающий здесь в более привычной нам роли поэта — в то время как автобиографическая повесть «Литература», отрывки из которой были напечатаны в первом выпуске, уже вышла целиком в Библиотеке «Культуры»), Ежи Нарбут, Казимеж Орлось, Марек Новаковский (оба эти прозаика, первый из которых известен читателям «Континента», представляют так наз. «черную» литературу — литературу об ужасе и унынии повседневной польской жизни), Станислав Баранчак, Якуб Карпинский, Анджей Дравич. Из новых авторов прибавились поэты Адам Загавевский и Лех Дымарский.

Но в сборнике появились и некоторые новые разделы. Это, прежде всего, публикации. Во втором выпуске напечатаны письма недавно скончавшегося профессора Яна Паточки польской исследовательнице, тоже покойной, Ирене Кронской. В 1973 году, когда ни одна строка Яна Паточки уже не могла появиться в Чехословакии, Ирена Кронская сумела опубликовать в Польше одну из его философских работ. Вторая публикация — вернее, «перепубликация» — глава из книги довоенного историка Яна Кухажевского о цензуре в России во времена Николая I. Публикация озаглавлена «Ничего нового под солнцем». Что же, если польская цензура не представляет «ничего нового» по сравнению с николаевской, то советский писатель и читатель могут только позавидовать.

Наиболее интересные, почти журнального типа разделы — это цензурная хроника («Из общих принципов деятельности цензуры», «Из деятельности цензуры в последний период», «Ограничение свободы слова в области религиозной литературы», «Запрет на работу для театрального режиссера») и письма читателей с оценкой

и критикой первого выпуска сборника. Лейтмотив почти всех писем — необходимость превратить «Запись» из альманаха отвергнутых цензурой произведений в регулярный журнал свободной литературы и общественной мысли. Казалось, что именно в этом направлении и пойдет редакция. Но нет, третий выпуск опроверг эти ожидания и продемонстрировал гибкость избранной составителями формы.

Весь третий выпуск целиком занимает роман Тадеуша Конвицкого «Польский комплекс». Тадеуш Конвицкий — официально признанный писатель, которому удавалось затрагивать даже полужапретные темы (кстати, он был признан и в Советском Союзе, его «Современный сонник» вышел в Москве по-русски), но и к нему протянула свою лапу цензура. И вместо того чтобы делать поправки и вычеркивания, стараясь хоть что-то довести до читателя, Конвицкий с помощью сборника «Запись» отдал читателю свой роман в неповрежденном виде. Роман Конвицкого псевдоавтобиографичен: писатель Конвицкий стоит в очереди в ювелирном магазине за советскими обручальными кольцами (приво-

зят советские же, но самовары); в этой очереди он встречает человека, который после войны, будучи в подполье, ходил за писателем с намерением его убить, а позднее следил за его судьбой и читал все его книги; этот человек пришел в очередь со своим старым другом, гебистом, который когда-то пытал его на следствии (этот-то арест и спас тогда Конвицкого); тут же стоит весьма р-р-революционно настроенный французский студент, получивший в Польше политическое убежище (ну, уж это

явно художественное преувеличение!); не покидая ювелирного магазина, писатель переживает грандиозный роман; затем вместе с людьми из очереди, включая молодого неопытного стукача, он встречает Рождество. И всё это переплетено размышлениями о том, как же он, ощущающий себя таким внешне-национальным, таким космополитом, по рукам и ногам повязан «комплексом Польши», этого маленького клочка земли на крохотной планете, затерявшейся в огромной Вселенной.

ПЕСНИ РУССКИХ БАРДОВ

Серия I. *То же*. Серия II. *То же*. Серия III.

ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1977

Три маленьких сборничка — тексты песен с тридцати имеющихся в распоряжении издательства кассет современных русских, можно сказать, бардов, а можно и шансонье, трубадуров, разве что «барды» — более обрусевшее слово.

Придирчивый эстет мог бы вздохнуть по поводу поверхностности и эпигонства бардов второго, третьего и n-го разряда, по поводу разрыва между ними и такими

настоящими поэтами, как Окуджава, Галич, Ким, Высоцкий (парадоксально выигрывающий в чтении — даже не любитель его песен обнаруживает стихийную изобретательность его поэтики). Но издание не задумано как антология, как лучшее из лучшего, оно верно и объективно отражает картину того, что поют сейчас в России. И кто поет сейчас в России. Каждый — особенно каждый юный — читатель

сам разберется, что ему нравится, что он сам запоет, зная теперь точный текст и подыгрывая себе на гитаре, или подпоет одной из подобных же кассет. Кажется, особенно полезно будет это издание для «эмигрантских детей»: даже у бардов мало-го калибра они найдут сегод-няшний, живой, иногда за-бористый, насыщенный улич-ным жаргоном русский язык.

Одно обидно: кассетные барды полностью отождест-влены с текстами, которые они поют. Только одному Хлебникову повезло: над песней Евгений Бачурина «Как по речке по Ирану» написано — «стихотворенье Велимира Хлебникова» (ве-роятно, эти слова взяты прямо с пленки, все осталь-ные песни Бачурина — на его собственные тексты). Но Бертольт Брехт и Иосиф Бродский, Борис Слуцкий и Андрей Вознесенский, пре-лестный детский поэт Эдуард Успенский и совершенно офольклоренный Юрий Алеш-ковский — вот первые по-павшиеся имена не удостоен-ных упоминания авторов текстов. Даже «Очи черные» и «Утро туманное, утро се-дое» попали в песни Высоц-

кого, раз уж он их спел и записал. Конечно, не всегда легко установить реальное авторство некоторых песен, но стоило, во-первых, сде-лать это во всех поддающих-ся определению случаях, во-вторых, поместить хотя бы краткое издательское приме-чание о том, что наличие пе-сен на кассетах того или иного барда не всегда озна-чает авторство текстов. К слову, об авторстве двух пе-сен, то признаваемых за ла-герный фольклор, то оспа-риваемых разными автора-ми. Уже упомянутому Алеш-ковскому принадлежит напи-санная в начале 60-х годов песня «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Зна-менитая песня «Стою я раз на стреме» сочинена в 1946 году ленинградским филоло-гом-германистом Ахиллом Левинтоном, который в тот момент отнюдь не предпо-лагал, что и ему придется скитаться по тюрьмам, но вскоре получил свои двад-цать пять (свидетель обвине-ния — провокатор Север Гансовский). Обе песни, вой-дя в фольклор, обросли мно-гочисленными вариантами, не всегда совпадающими с изначальным текстом.

По страницам журналов

«Глагол», I.

«Ардис», Анн Арбор, Мичиган, США

Еще один журнал прибавился к списку русской зарубежной периодики. Первому номеру нового издания не предпослано никакого редакционного заявления, никакой декларации — видимо, само название журнала должно говорить за себя.

«Глагол» открывается фрагментом новой работы Саши Соколова — романа «Между собакой и волком». Соколов обратил на себя внимание читающей публики и специалистов повестью «Школа для дураков». Была отмечена филигранная работа молодого прозаика, ныне живущего в США, над текстом, над словом, его необычный слог, нерасхожее видение мира и человека в нем. Все эти качества присутствуют и в новом тексте, можно даже сказать, что Саша Соколов прогрессирует в технике владения художественным словом. Но судить по публикуемому фрагменту, о чем и зачем будет новый роман Саши Соколова, к сожалению, пока нельзя.

Большую подборку стихов опубликовал в «Глаголе» Алексей Цветков. Среди них попадаются и стихотворения, над которыми, может, надо было еще поработать, дать им «отлежаться». Но перед читателем несомненно предстает цельный облик поэта, которому есть что сказать своим читателям. То, о чем Цветков рассказывает своими стихами, позволяет угадать биографический фон его творчества, но личная канва жизни под пером стихотворца преобразилась в факт поэзии. У читателя есть основания верить поэту и соотносить ему свои души. При чтении стихов Алексея Цветкова чувствуется, что автор уже стоит на пороге какого-то иного жанра: то ли просится поэма, то ли Цветкову предстоит окунуться в прозу, — уже сейчас его стихи не изолированы друг от друга, а читаются как осколки какого-то целого.

Вышел на зарубежную издательскую сцену Василий

Аксенов: в «Глаголе» опубликована его повесть «Стальная птица». Это повесть-сказка, стоящая в ряду фантастических повествований о страшном и сильном существе, угнетающем людей, которое на самом деле держится лишь на привычке людей к страху, к подчинению (как Дракон у Шварца). Повесть написана в 1965 году, и сейчас от Аксенова можно ждать чего-то более значительного.

Еще один автор из Советского Союза появляется на страницах «Глагола» — харьковский поэт Борис Чичибабин. «Я от кривды устал, Я от горнего голода высох», — горько восклицает стихотворец, и это признание — ключ к его стихам, в которых есть всё: и отчаянье, и вера, и любовь, и надежда, и разочарование, и стремление к тем самым горным высотам. Как сообщает редакция, Чичибабин был членом Союза писателей.

И кровь и крылья дал стихам я,
и сердцу стало холодней:
мои стихи, мое дыханье
не долетело до людей.

А затем он — шофер такси, контролер в трамвайном управлении.

Давным-давно когда-то
под песни воровские
я в звании солдата
бродяжил по России.

.....

В моей дневной одышке,
в моей ночи бессонной
мне вечно снятся вышки
над лагерною зоной.

Читатель «Глагола» больше узнаёт о поэте из его стихов, чем из краткой биографической справки, редакции неизвестен точно даже год рождения поэта: стихи пришли из самиздата. И не зря пришли.

Известный русский зарубежный поэт Иван Елагин продолжает серьезно работать над переводами стихов американских поэтов. В «Континенте» № 11 были опубликованы в

его переводе части поэмы Ст. В. Бене «Тело Джона Брауна», в «Глаголе» — стихи шести американских поэтов. Иосиф Бродский выступает в «Глаголе» в новой роли переводчика прозы, знакомя русского читателя с не переводившимся рассказом Дж. Орвелла «Убивая слона». Лейтмотив этой реалистической прозы английского писателя укладывается в одну фразу: «Когда... человек превращается в тирана, он уничтожает тем самым собственную свободу». Владимир Козловский перевел на русский язык самый знаменитый рассказ известной американской писательницы Кэтрин Энн Портер «Цвет иудина дерева», действие которого происходит в Мексике 30-х годов, а действующие лица — «профессиональные революционеры».

В разделе «Архив» опубликованы два стихотворения малоизвестного, но очень интересного ленинградского поэта 30-х годов Александра Ривина; письмо Б. Пастернака Ю. Юркуну и письмо Иванова-Разумника Андрею Белому (о кончине Федора Сологуба). К сожалению, письма писателей не снабжены комментарием.

Новый, строго литературный журнал, почти альманах, «Глагол» вносит свою ноту в разноголосое звучание русской печати за рубежом.

«Религия в коммунистических странах»

Пять лет назад в Англии был создан специальный центр по изучению религии в коммунистических странах — «Кестон колледж». Его председателем стал известный журналист и общественный деятель — сэр Джон Лоуренс, который во время войны и некоторое время после нее был редактором издававшейся в Москве газеты «Британский союзник». Директором центра стал священник Майкл Бурдо, хорошо известный своими книгами о религии в СССР. Кестон колледж с самого своего возникновения стал издавать небольшой кварталный бюллетень «Религия в коммунистических странах» («Religion in Communist Lands»), который за пять лет превратился в прекрасный научный журнал, причем в сферу его интереса входят все религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Экуменический характер работы центра и издаваемого им журнала подчеркивает состав патронов центра:

президент Либерии Уильям Толберт; архиепископ Кентерберийский; глава Англиканской Церкви; главный раввин Англии; кардинал Кениг; профессор Георгий Флоровский и другие. Среди референтов журнала мы видим таких людей, как проф. Богдан Бочуркив (Оттава); проф. Дональд Тредгольд (Сизтл); д-р Герхард Симон (Кёльн); проф. Густав Веттер (Рим), Н. А. Струве (Париж) и другие известные специалисты в области истории религии и идеологии.

В 1977 году вышло уже три номера журнала. Все они отличаются высоким научным уровнем, который сочетается с твердой позицией защиты прав человека в коммунистических странах. В число коммунистических стран, находящихся в сфере интереса центра, входят не только европейские, но и азиатские страны, и к их списку журнал с определенным правом добавил и одну африканскую страну — Анголу, не говоря уже о латиноамериканской Кубе.

В первом номере журнала за 1977 год проф. Богдан Бочуркив публикует статью об украинских униатах, которая называется: «Катакомбная Церковь». В ней он подробно освещает их послевоенную историю. Большое значение в ней имели так называемые «нелегальные» священники и монахи, которые перешли на светскую работу или же, напротив, получали свой сан, будучи наружно мирянами. Особо останавливается Бочуркив на «покутниках», особом течении среди униатов, которое отделилось от «катакомбной» униатской церкви, и отличается полным отрицанием советского строя. По словам Бочуркива, они сочетают эсхатологию и радикальные националистические взгляды. Бочуркив ссылается на одну советскую статью против покутников, где им приписывается вера в богоизбранность украинского народа. Бочуркив освещает также конфликт между униатами и римской курией, которая признает так называемое «воссоединение» униатов с Московской патриархией и вообще игнорирует их интересы. Проф. Питер Стефенс, преподаватель Весли колледжа в Бристоле в статье «Методистская церковь в Восточной Европе» приводит основные сведения об этом ответвлении протестанства в коммунистическом мире. Наибольшая методистская община находится в ГДР; она насчитывает 34000 членов. Она имеет 4 больницы, школу медсестер, дом престарелых и другие заведения, включая богословский колледж, книжный магазин, и издает два раза в

месяц газету тиражом 10000 экземпляров. В СССР методистская церковь имеется только в Эстонии. Численность ее возросла после войны с 750 до 2350 членов, причем самая многочисленная и развивающаяся община имеется в Таллине, где есть как эстонский, так и русский хоры. По праздникам в церкви собирается до 700 человек.

Проф. Фэри фон Лилиенфельд, известный немецкий специалист в области русского Православия (Эрлангенский университет), сообщает свои впечатления от недавнего посещения группой немецких лютеран одного из святых мест Грузии — Мукамета. Она рассказывает о том, с каким недоверием грузинские верующие отнеслись к группе, казалось, праздных туристов, пока не убедились в том, что среди них есть священники.

Сотрудник Кестон колледжа Милена Калиновска публикует статью «Чешская метафизическая поэзия 60-х годов». По существу, она посвящена лишь поэзии Владимира Голана, чешского поэта старшего поколения. После того, как в 1963-1964 годах почти одновременно вышло десять его сборников, Голан был внезапно объявлен главным живущим чешским поэтом. По словам Калиновской, Голан не является религиозным поэтом в строгом смысле этого слова. Он, по ее выражению, просто заинтересован в загадке Божественного присутствия в безбожном и незаконном мире и изображает таинственный характер религии. В настоящее время Голан критикуется официальной критикой за отсутствие положительных, оптимистических взглядов на жизнь. Но несмотря на то, что Голан ощущает себя в двусмысленном, опустошенном мире, он находит в нем место для Бога, красоты, любви, невинности и не теряет таким образом надежды.

Научный сотрудник одного из колледжей Кэмбриджа Филип Уолтерс в своей статье «Новые русские революционеры» комментирует две книги проф. Джона Данлопа о ВСХСОН. Он очень положительно оценивает их, называя ориентацию этого кружка — «неославянофильской», но говоря, однако, что это не славянофильство Ивана Аксакова, Данилевского и других крайних националистов, а славянофильство Соловьева и Бердяева.

Особый интерес вызывают помещенные в данном номере, как и во втором номере журнала, архивные публи-

кации нацистской разведки времен войны о религиозном положении в оккупированных немецкими войсками районах СССР. Этой публикации предшествует статья Василия Алексеева и Кейт Армс (оба — из Миннесотского университета) «Немецкая разведка: религиозное возрождение на советской территории». В. Алексеев — известный специалист, первый на Западе приоткрывший эту страницу истории Церкви в условиях немецкой оккупации. Это было темой его диссертации, защищенной в США много лет назад. В настоящее время он и Кейт Армс приступили к публикации части немецких архивов, попавших в руки американской армии в 1945 году и хранящихся ныне в ее архивах. Алексеев и Армс указывают в своем предисловии к публикациям, что конечной целью Гитлера после его предполагаемой победы было уничтожение христианских Церквей. Но до этого официальной политикой на Востоке была «деполитизация», «дерусификация», «атомизация» церковной жизни. Особенно важной задачей считалось не допустить того, чтобы Православная Церковь могла оказаться опорой «великорусского национального сознания». С этой целью немцы активно поддерживали автокефальные Православные Церкви на Украине и Белоруссии, стремясь ограничить сферу влияния Русской Православной Церкви только собственно русскими районами. Ни одна религиозная организация также не имела права осуществлять какую-либо юрисдикцию вне обусловленного административного округа, который примерно соответствовал епархии. Но, как явствует из публикуемых документов, эта политика не удалась.

Вначале вермахт поощрял религиозную жизнь, которая бурно развивалась на территориях, оставленных советскими войсками. Повсюду открывались закрытые церкви, а некрещенные дети массами крестились. Однако новый поворот религиозной политики Сталина, который явно учитывал это стихийное движение на оккупированных территориях, до некоторой степени отнял у Гитлера психологическое оружие, с помощью которого он представлял себя как религиозного освободителя. Кроме того, немецкая политика вмешательства в религиозную жизнь и опасение перед тем, что Церковь может оказаться источником национального сопротивления, повели к дальнейшей дискредитации этой политики. Наконец, как на Украине, так, в особенности, и в Белоруссии,

стали явно проявляться тенденции считать себя частью русского Православия.

Публикуемые документы представляют собой исключительно ценный материал не только по истории периода 1941-1943 годов. Они дают также представление об истории религиозной жизни и антирелигиозных преследований в довоенный период. Примером этого служит дополнительная информация по истории обновленчества. Оказывается, что в некоторых районах страны, в частности на Кубани, обновленческие церкви сохранялись и в период оккупации, причем, несмотря на всеобщее убеждение в том, что обновленческое духовенство было агентурой советской власти, обновленцы в Краснодаре, Пятигорске, станице Анастасьевской утверждали, что советская власть не делала никаких различий, преследуя как обновленцев, так и тихоновцев. Фактом остается то, что часть паствы поддерживала обновленцев в этих районах, что показывает, что обновленческое движение не было лишено некоторых, хотя и очень ограниченных, симпатий населения.

Документы лишний раз показывают двойственную роль, которую играл митрополит Сергей (Воскресенский), который незадолго перед войной был назначен экзархом Московской Патриархии в прибалтийских районах.

Как известно, незадолго до отступления немцев из Литвы он был загадочно убит, причем немцы утверждали, что это было делом рук советских партизан, а советские органы пропаганды доказывали, что это было делом рук немцев. В свете новых документов представляется более вероятным, что Сергея (Воскресенского), скорее всего, убили немцы, несмотря на то, что он был осужден Московским Собором 1943 года. Во всяком случае нет однозначных оснований приписывать это Москве.

В целом публикация документов немецких архивов приводит к следующим соображениям. Как Сталин, так и Гитлер пытались использовать религиозное возрождение в своих политических целях. И это, быть может, самое опасное, что могло ожидать любое религиозное течение. Сам религиозный порыв, который охватил широкие круги населения, показал также всю тщетность того крайнего антирелигиозного террора, который, казалось, мог торжествовать свою полную победу накануне войны.

Однако справедливости ради следует отметить, что Сталин начал осторожное изменение своей религиозной политики уже в конце 1939 года, когда разрешил посвятить новых епископов для вновь присоединенных западных районов страны. Кроме того, после окончания войны, когда, казалось бы, отпала необходимость в покровительстве религии в целях мобилизации населения на войну с врагом, Сталин не только не уничтожил свой «конкордат», но продолжил свою политику, которая была изменена лишь после его смерти. Этот парадокс сталинской политики не должен быть замалчиваем, а его объяснение лежит в планах государственного использования религии в интересах тоталитарного общества.

Во втором номере журнала публикуется статья Джона Лоуренса о советских евреях. Сэр Джон Лоуренс анализирует самиздатский журнал «Евреи в СССР» всячески подчеркивая благородство его духа и отсутствие неприязни к русскому. С этим можно согласиться, заметив, однако, что журнал представляет одну, хотя и очень влиятельную тенденцию среди русских евреев. В то же время среди них можно было обнаружить и отрицательные изоляционистские тенденции, как, например, на страницах израильского журнала «Возрождение», не нашедшие своего выражения на страницах журнала «Евреи в СССР», продолжателем которого в настоящее время являются журнал «Сион» (во всяком случае начиная с номера 16) и журнал «Время и мы». Интересно, что Лоуренс критикует некоторых анонимных представителей русского православного духовенства, которые, по его словам, совмещают «глубокую духовность» с пугающим антисемитизмом.

Во втором номере журнала публикуется также статья Л. Блита «Польский епископат: общественный глашатай», где рассказывается, что в последнее время католический епископат Польши стал защищать не только религиозные, но и социальные интересы населения.

Статья Катарин Маррей «Советские адвентисты седьмого дня» рассказывает об истории этой религиозной группы.

Несмотря на то, что в 1924 году адвентисты утверждали, что благодать Божия почиет в настоящее время на Ленине и его соратниках, они в 1928 году подверглись жестокому

преследованию. Катарин Маррей рассматривает также историю группы адвентистов во главе с Шелковым, которые выступали против сотрудничества с советской властью. Сам Шелков почти всю свою жизнь (а он родился в 1895 году) провел в советских тюрьмах и лагерях.

Алан Скарф рассказывает о съезде румынских баптистов (численность которых насчитывает примерно 160 000 человек), где руководство этой группы было обвинено в том, что оно не защищало ее интересов перед лицом различных преследований. Наиболее последовательным критиком оказался пастор Иосиф Тон.

В третьем номере журнала тот же Алан Скарф рассматривает социальное учение недавно скончавшегося патриарха Румынской Православной Церкви Юстиниана. Патриарх Юстиниан мог в свое время торжествовать свою правоту. Его лояльность к коммунистической власти в Румынии была, казалось, полностью отблагодарена. К 1958 году в Румынской Православной Церкви насчитывалось более, чем 10 000 приходов, что значительно превышает нынешние несколько тысяч приходов Русской Церкви. Кроме того, имелись две православные академии, несколько журналов, много монастырей с числом монахов более, чем 7 000.

Но в 1958 году внезапно начались гонения. Было арестовано более 1 500 священников, монахов и мирян, а сам Юстиниан вплоть до 1959 года содержался под домашним арестом. Число монахов сократилось на 2 000.

Впоследствии, однако, гонения прекратились, и Румынская Церковь, по-видимому, снова достигла наиболее благополучного по сравнению с другими Православными Церквами положения в коммунистическом мире.

Алан Скарф полагает, что Юстиниан твердо верил, что Церковь должна осуществлять в условиях коммунизма так называемый «социальный апостолат».

Согласно Юстиниану, коммунистическая власть в Румынии, как, по-видимому, и в других коммунистических странах, являла собой будто бы идеал социальной справедливости, что должно было примирить с ней христиан, утративших этот идеал. Однако если бы это было именно так, то Юстиниан был бы, вероятно, прав. Но на самом деле коммунистическая власть и в Румынии, и в любой другой коммунистической стране не имела ничего общего с социальной справедливостью, лишь

ухудшая пороки отрицаемого ею капитализма. Наконец, о какой социальной справедливости может идти речь в стране, где царил массовый террор?

Вместе с тем вопрос об отношениях Церкви с властью в коммунистических странах не столь прост, в особенности в условиях послевоенного времени, когда прямая антирелигиозная атака прекратилась, а Православные Церкви пользовались даже относительными привилегиями по сравнению с другими Церквями. Если Юстиниан и ошибался, то эта ошибка не имела злонамеренного характера, чего нельзя сказать о некоторых современных религиозных деятелях в коммунистических странах.

В статье об эмиграционном движении среди пятидесятников Майкл Роу отмечает, что мотивы этого движения чисто религиозные. Они даже вызваны не непосредственно религиозными гонениями, а представлением, что СССР — это Вавилон, из которого следует выйти. Это толкование принадлежит, по-видимому, пресвитеру Николаю Горетому. Роу отмечает также важную роль Лидии Ворониной, члена Хельсинкской группы, которая совершила опасную поездку на Дальний Восток и в другие места, чтобы обследовать положение пятидесятников.

Милена Калиновска публикует статью «Религиозное положение в Чехословакии», где показывает, какое давление оказывалось властями на религиозные организации, чтобы те публично осудили Хартию-77. В большинстве случаев эти организации отделались заявлениями, что они не поддерживают эту Хартию, но нашлись и такие религиозные лидеры, как, например, патриарх Гуситской Церкви, которые отозвались о Хартии в выражениях «Руде Право».

Из приводимых Калиновской материалов видно, что власти в Чехословакии отнюдь не контролируют положения так, как им бы этого хотелось.

В заключение обзора следует отметить, что помимо статей и документов журнал дает прекрасную библиографию, включая краткие аннотации на материалы, публикуемые в коммунистических странах, как в государственных органах печати, так и в органах печати, издаваемых религиозными организациями.

В частности, советская официальная печать, рецензируемая журналом, включает и республиканские газеты и

журналы. Разумеется, публикуются и аннотации религиозного самиздата.

Далее, постоянно публикуются рецензии на новые книги по религии в коммунистических странах. Здесь, к сожалению, приходится возразить на рецензию Малькольма Хаслетта на небезызвестную книгу «Демократические альтернативы», которая отличается большой разнородностью материала. Непонятно, что дало возможность автору рецензии считать, например, статью Белоцерковского «терпимой», когда она почти в явном виде содержит крайнюю нетерпимость советского стиля к течениям, которые автор считает несогласными со своими взглядами. Наконец, публикация «Гуманистического манифеста», по отношению к которому академик Сахаров сделал серьезные оговорки, также содержит потенциальную нетерпимость, формулируемую почти догматически. Неверно также, что сборник отражает взгляды Григоренко, Орлова и Турчина. По крайней мере, они таких заявлений не делали.

Читайте в следующем номере «Континента»

прозу

**Я. Березина, В. Казакова,
С. Мотовиловой**

СТИХИ

Д. Бобышева, А. Галича, Р. Криницкого

публицистику

**С. Визенталя, М. Джиласа, В. Иверни,
В. Михальчука, В. Турчина,
А. Федосеева**

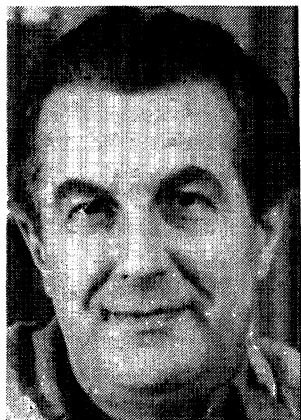
Наша анкета

ПО ОБЕ СТОРОНЫ СПАССКИХ ВОРОТ

Интервью со Зденеком Млынаржем

Наталья Горбаневская: В один прекрасный полдень — если его можно назвать прекрасным — августа 68-го, когда мы провели свои короткие минуты на Красной площади, по ту сторону Спасских ворот в Кремле шли переговоры, участником которых были и вы. Потом ходили легенды: будто бы нас спешили убрать с площади, потому что якобы в этот момент мимо должна была проезжать чехословацкая делегация. Мы начали демонстрацию в 12 часов, а в четверть первого всё уже было кончено, меня последнюю увозили с площади. И люди, которые не участвовали в

демонстрации, но просто присутствовали тогда на площади, рассказывали, что вскоре после этого действительно проехала вереница машин и вроде бы в них везли чехословацкую делегацию. Впервые у меня есть возможность это выяснить.



Зденек Млынарж: Точно ответить, конечно, не так легко, но я сомневаюсь, хотя это звучит заманчиво, что мы могли бы там встретиться. На самом деле

тут невозможно говорить не только об «одном прекрасном дне», или о «чехословацкой делегации», но и

вообще о «переговорах», если под переговорами понимать, что люди говорят, выясняют свои точки зрения и о чем-то договариваются. К сожалению, с «той» стороны Спасских ворот наше положение не так уж отличалось от вашего. Половина этой так называемой делегации состояла из людей, которые скорее находились в плену, чем в делегации. Известно, что Дубчек, Смрковский, Черник, Шпачек, Шимон, Кригель были просто арестованными. Их увезли, как уголовников, затащили в Москву против их воли, против их согласия. Это делалось оккупационными силами, которые на самолетах доставили наших лидеров в Москву. А потом туда же подвезли другую часть «делегации». Об этом достаточно обстоятельно рассказано в интервью Йосефа Смрковского, широко опубликованном на Западе и, в частности, у вас в «Континенте». Какие уж тут переговоры! Повторяю, на самом-то деле положение Дубчека и его товарищей не так уж сильно отличалось от вашего, по другую сторону Спасских ворот. Думаю, не так уж важно, могли бы мы там встретиться или нет, — важнее другое: несмотря на существование между нами той Кремлевской стены, духовно мы всё равно стояли на одной стороне, на той, где отстаивались ценности гуманные и демократические. Мы, конечно, не знали тогда, что группа граждан Советского Союза, который только что развязал агрессию против нашей страны, нашла мужество высказать, что она об этом думает. Но когда народ в Чехословакии (который, конечно же, был настроен недружелюбно к тем же русским солдатам, которые даже не знали, в какую страну они попали) узнал, что в Москве было такое явление, как ваша демонстрация, то это очень-очень помогло нам всем в моральном отношении и сохранило среди нас чувство солидарности, единства и человеческого взаимопонимания.

Н. Горбаневская: Я хотела бы сказать, что в тот

момент, наверно, мы были даже счастливее вас. Наша ситуация выглядела более определенной: нас, по крайней мере, просто забирали и с нами не разыгрывали никакого спектакля, не вели «переговоры», не притворялись. У нас оставалась возможность говорить прямо и открыто: мы ведь решали в тот момент только свою собственную судьбу. На вас, мы все это знали, лежала тогда страшная ответственность за страну, за народ, которая еще утяжелялась положением пленников. Мы знаем, чем всё это кончилось, — удушливой нормализацией. Но сейчас я хотела бы вернуться к тому, с чего это началось. С чего это началось *до* так называемой Пражской весны? Потому что, как мы понимаем, Пражская весна возникла не на пустом месте.

3. *Млынарж*: Пражская весна — действительно, результат не только политического развития, а определенного процесса, который начался уже давно, в 50-е годы, при Сталине, когда люди увидели, в какие формы обращается то, что первоначально делалось с убеждением, с энтузиазмом. Надо сказать, что все-таки в Чехословакии обстановка для строительства социализма была немного иная, чем в некоторых других странах. Тут действительно имелись внутренние народные силы, которые убежденно, памятуя социалистическую, демократическую традицию Чехословакии, думали, что этот путь, начатый в феврале 48-го года, приведет к какой-то более справедливой, более гуманной, более человеческой перемене в жизни простых людей. Но постепенно стало выясняться, что эта система, называющая себя самой гуманной, на самом деле является жестокой политической диктатурой, которая не только подавляет разные политически ей враждебные мысли, а и вообще всё свободное и творческое в человеке. Она превращает человека в инструмент своих собственных политических, диктаторских целей. Тогда-то и началось определенное сопротивление.

ние, которое развивалось годами и с изменением политической обстановки принимало разные формы. Толчком был 56-й год, тогдашний съезд КПСС, разоблачения некоторых моментов сталинской системы. В течение последующих десяти лет в Чехословакии возникло определенное объединение демократических тенденций — как со стороны людей, которые состояли в коммунистической партии, но имели гуманистические убеждения, так и со стороны тех, у кого политические представления были совсем другие, но тоже демократические. В последние годы правления Новотного гнилость сложившейся политической системы стала столь явной, что больше нельзя было подавлять критические голоса. Нам удалось тогда объединить эти стремления, найти и внутри коммунистической партии, и в стране определенные силы, которые встали на путь политических реформ. Нашей целью было построить общество, которое не измерялось бы какими-то схемами, кем-то и где-то начертанными, в котором бы люди сами сказали, что, по их мнению, является социалистическим, демократическим, и сами могли определить, как же они представляют себе строй — как политический, так и общественный. Это и оказалось слишком опасным не только для догматиков в Чехословакии, но и для правителей некоторых других стран, в особенности в Польше, в Восточном Берлине и, конечно, в Москве. И система, до сих пор утверждающая, что она является единственным нравственным социализмом, не нашла более убедительного ответа, чем танки. Поэтому и кончилось тем, что мы теперь знаем: идеи, которые стремились соединить социалистическое движение с демократией, с человеческой свободой, были просто подавлены, и система, господствующая сегодня в Чехословакии, снова приспособилась к той же советской, к той же сегодняшней польской, к той же сегодняшней болгарской и т. д., то есть стала системой, которая не позволяет человеку

сказать, что же он сам считает для себя важным, а диктует ему определенные представления о том, что́ является его счастьем, — подавляет его свободу, подавляет его творческие силы. От этого страдает, если хотите, тот же социализм — если принимать его как понятие, за которое люди стояли и некоторые из нас продолжают стоять убежденно. Когда теряются морально-политические ценности, остается строй, подавляющий народ в интересах правящей группы, правящей политической диктатуры.

Н. Горбаневская: Мы сравнительно много знаем о сегодняшней Чехословакии, представляем себе гнетущую атмосферу нормализации. Вацлав Гавел в своем известном письме Гусаку (оно напечатано по-русски в сборнике «Социалистическая оппозиция в Чехословакии») говорит об атмосфере всеобщего страха. Это не тот тотальный страх, какой царил в нашей стране в 30-40-е годы, когда любой человек каждый день ждал ареста, но, тем не менее, сегодняшним гражданам Чехословакии всё время есть чего бояться, каждый неверный шаг может им дорого обойтись: кусок хлеба для семьи, учеба и судьба детей — всё ставится на карту. И каждый человек чувствует себя неуверенно, и почти каждый и всё общество в целом лицемерят и лгут, и все боятся высказаться. На этом фоне появление Хартии-77 выглядит почти неожиданностью. Как же так, все боялись, боялись — а теперь уже больше 800 человек подписали этот документ. Насколько это неожиданность? И насколько этого можно было ожидать?

З. Млынарж: Это смотря с какой точки зрения мы свое мнение формулируем. Понимаете, Хартия-77 лишний раз подтверждает, что нельзя повторять некоторые вещи. Можно повторять разные формы подавления и запугивания, но все-таки трудно подавить

в людях чувство человеческого достоинства. Человеческое достоинство, как известно, трудно подавить даже в лагерях. Есть, конечно, люди, на которых давление диктатуры оказывает достаточное воздействие, и они сдаются. Но, я думаю, Хартия-77 — свидетельство того, что люди всё же хотят во весь голос высказать свое мнение. Составляя и подписывая эту Хартию, мы не питали иллюзий, что Гусак, Биляк или сегодняшнее чехословацкое правительство согласятся вести с нами какой-нибудь демократический диалог. Но мы считали своим долгом сказать общественному мнению и Запада, и своей страны, что наши правители лгут, несмотря на подписанные ими в Хельсинках документы: люди преследуются по-старому и по-новому за свои убеждения — политические, религиозные, нравственные, если эти убеждения режиму не нравятся. Тут и возникает у людей обязанность взять на себя риск сказать во весь голос: «Видите, всё не так, как они говорят, а всё, что они говорят, — ложь». Вам это не трудно понять. Когда вы шли на Красную площадь, вы тоже не ожидали, что выйдет Брежнев и будет с вами говорить. Вы знали, что, по всей вероятности, за этим последует. Но, тем не менее, вы это сделали, и здесь, я думаю, налицо то же единство, единство причин, когда люди в определенной ситуации должны, если они не хотят потерять человеческого облика, сказать слово протеста, хоть и знают, что это повлечет для них какие-то неприятные, а иногда и очень тяжелые последствия. Если мы верим, что в человеке есть такая потребность и что ее нельзя уничтожить политическим насилием, тогда появление Хартии-77 не может быть для нас неожиданностью. Но если ситуацию рассматривать только с той точки зрения, что люди всегда заботятся лишь о своем благополучии, — тогда это, конечно, неожиданность. Для таких людей это вообще выглядит бессмысленным: «Дураки! зачем они это делают? знают же наперед,

что ни к чему не приведет!» Общественность в Чехословакии уже так не рассуждает, и влияние Хартии-77 довольно велико именно в этом, моральном смысле. К тому же, надо сказать, что у людей, которые в большинстве своем покорились обстоятельствам, — тоже есть совесть. И если есть хоть немного, но конкретных, живых людей, которые, как видят остальные, сделали то, что надо было сделать, то и у тех возникает множество скрытых вопросов. Они, конечно, их в голос не произносят, но они об этом думают. Так нравственная проблема возникает в народном сознании, и это, на мой взгляд, впоследствии становится также политическим фактором, потому что диктатуры разного типа могут существовать без больших трудностей только тогда, когда им подчиняются. Для этих диктатур протест опасен — даже когда он исходит от меньшинства. Даже если он исходит от одного человека. И это знают этатические диктатуры. Поэтому Хартия для них опасна этим своим нравственным смыслом. Но в Чехословакии она опасна также и политически, потому что — и это очень уместно сказать здесь — в Чехословакии вопрос прав человека снова поднимает проблему советского военного вмешательства, снова напоминает, что режим держится на силе, навязанной извне. Если бы дать сейчас в Чехословакии право выразить свое мнение всему народу, то в Праге и в Москве знают, что сказал бы народ по поводу августа 68-го года. Поэтому для них требование соблюдать права человека — политическое требование с неизбежными политическими последствиями. Поэтому они не пошли, не пойдут и дальше будут стараться не идти ни на какой диалог о правах человека.

Н. Горбаневская: Мне кажется, что в Хартии-77, как и в нашем движении за права человека, очень важно, что в строгом смысле слова это не политиче-

ская, не партийная и не организационная структура. Мне кажется, именно это пугает власти и делает проблему политической. Будь это просто нелегальная организация, они были бы задеты гораздо меньше.

3. Млынарж: Я с вами согласен, что в этом сила. А еще и в том — и они это знают, — что движение типа Хартии-77 развивает опасную для диктатуры терпимость между людьми, взаимную терпимость людей разных взглядов, оно учит людей уважать чужое мнение, и это истинная основа демократии. Если нет уважения к мнению другого, если нет, например, у убежденных марксистов уважения к убежденным христианам, то не может быть и речи о том, что это гуманистический марксизм. Хартия-77 — как раз яркий пример такого объединения, которое является не тактическим шагом, а выражением общечеловеческих ценностей, которые принимают потом политическо-правовые формы. Думаю, именно поэтому Хартия имеет поддержку молодежи в ЧССР. Из 800 людей, подписавших Хартию, человек 400 — молодежь от 20 до 30 лет. Эта молодежь не поддержала бы никакого тактического документа, потому что она не доверяет политической тактике. Молодежь оценила в Хартии прежде всего ее моральное содержание, ее человеческую ответственность и поэтому так охотно присоединяется к ней. Молодежь эта — тоже совершенно разных убеждений в смысле политическом, философском, мировоззренческом, но на этой платформе она готова объединиться.

Н. Горбаневская: Первоначальная идея Хартии-77, как я слышала, возникла в связи с процессом молодых музыкантов. Это была как бы последняя капля, формальный толчок к возникновению Хартии.

3. Млынарж: Да, процесс музыкантов сыграл действительно важную роль: он совершенно ясно по-

казал, что полиция и судебные власти преследуют уже не политические рассуждения, программы, высказывания, мысли, а просто жизнь как таковую. Ведь эти люди ничего другого не делали, они только жили иначе, нежели предписано властями. Ну, если такое послужило причиной судебного преследования, тут уже все увидели, что от каждого требуется высказать свое мнение о правах человека в каком бы то ни было государстве. Это была, действительно, последняя, как вы сказали, капля или, можно сказать, объединяющий момент, который привел к сплочению совершенно поразному политически или философски ориентированных людей.

Н. Горбаневская: То, что существующее как у вас, так и у нас единство самых разных течений не является тактическим, — это, кажется, ясно уже каждому. Но мне приходилось слышать мнение, что это единство достигается перед лицом общего врага, что поэтому и только поэтому оно и возникло и что при первой демократической проверке от этого единства и от этой взаимной терпимости ничего не останется. Что вы думаете об этом?

3. Млынарж: Это отражает только одну сторону истины. Конечно, если бы не было полицейского преследования и диктаторской системы, тогда, вероятно, люди разных мнений спорили бы. Теперь они не спорят, и их объединяет требование права высказаться. Если б дать им это право, они бы, разумеется, начали спорить. Но я не думаю, что теперь это неизбежно привело бы Чехословакию на ту грань, где споры превращаются в конфликт, где один стремится уничтожить другого и опять господствовать над ним в политическом и правовом отношении. Я думаю, мы ушли от такого варианта, развивая взаимную терпимость. Не надо всегда спорить, просто можно жить друг

с другом, имея совершенно разные убеждения. Спор часто является следствием такого образа мыслей: я должен победить в споре — значит, другой должен молчать, потому что он неправ. А очень многих вопросов нельзя разрешить так, что или я прав, или другой. Может, оба правы по-своему, и почему не жить рядом, даже в условиях того же экономического строя, социалистического например? Я думаю, это вполне совместимо. И в этом смысле я, конечно, не могу согласиться, что при первой возможности демократических дебатов всё повторилось бы снова — и снова были бы люди, которые стремятся других подавить, отобрать у них свободу выражать свое мнение. Думаю, что продолжалась бы демократическая дискуссия, — или вообще люди разных убеждений оставались бы рядом, не имея при этом потребности к конфронтации по некоторым вопросам. Надо же научиться жить в мире, независимо от различия убеждений.

Н. Горбаневская: Да и мы не согласны с этой точкой зрения, но с ней приходится сталкиваться, потому я и задала этот, пожалуй, провокационный вопрос. Я думаю, что в развитии этой терпимости важна та точка отсчета, которой стали для нас права человека (начиная с Декларации Прав Человека, через Пакты о правах и даже вплоть до Хельсинкского соглашения). Для нас эти права приняли формулу прав каждого человека: не абстрактного «человека» вообще, а каждого, конкретного, любого. Тогда и воспитывается уважение к каждому, как бы он, по твоему мнению, ни ошибался. Тогда и не возникает желания взять его за шиворот и переубедить во что бы то ни стало.

З. Млынарж: Остается, конечно, один вопрос, но это уже вопрос исторический, известный и не до конца решенный: права человека, каждого человека приводят

иногда к конфликту, ибо правами одного человека нельзя злоупотреблять за счет прав другого. Но вот именно эту грань, эту границу осуществления прав одного и нарушения прав другого — всегда ли ее можно точно определить?

Владимир Максимов: Как вы правильно сказали, мы можем при разных мнениях жить вместе и жить очень согласно, но возникает и другой вопрос, более широкий. В связи с агрессией советского правительства в Венгрии, в Германии, в Польше и, наконец в Чехословакии некоторые силы как внутри тоталитарного лагеря (по принципу «разделяй и властвуй»), так и здесь, на Западе, пытаются стравить наши народы: чехов и словаков с немцами — ведь они тоже участвовали в этой агрессии; немцев с поляками — в связи с границей по Одру-Нейссе; и всех вместе в Восточной Европе с русскими — «источником всех бедствий». Поэтому мы, оказавшись на Западе, задумали «Континент» как такой всеобщий форум — попытку найти новые формы межнациональных отношений в будущей демократической Восточной Европе, включая Украину, Белоруссию, прибалтийские страны, и в России. Считаете ли вы такое начинание плодотворным, надеетесь ли на возникновение таких новых форм и стоит ли этим заниматься, перспективна ли наша работа в этом направлении?

Н. Горбаневская: Я хотела бы только добавить, что, собственно, и вторжение в Чехословакию было организовано иначе, чем, скажем, вторжение в Венгрию. Советских войск вполне хватило бы для захвата и подавления Чехословакии, но нужно было повязать остальные восточноевропейские страны бандитской круговой порукой и взаимной ненавистью.

З. Млынарж: Вопрос очень важный и уместный. Важный не только политически, но и человечески. В

наших странах есть родственные исторические традиции, есть общие интересы, в том числе и у простых людей. Так что стремление объединять людей на этих демократических гуманных основах я считаю очень полезным. Но мы должны видеть, если уж хотим этим заниматься, что дело это очень трудное. Тут очень много препятствий. Надо не только иметь терпение, но и видеть силы, выступающие против. И это не только власть имеющие, но нередко и простонародное рассуждение. Легче всего всегда вину глобально на кого-то сваливать: то на евреев, то на русских, то на поляков. Это серьезное препятствие, но надо, думаю, не сдаваться и продолжать. Нельзя закрывать глаза и на то, что даже мы, кто живет вне границ своих государств по политическим причинам, тоже имеем разные убеждения. Есть в политическом смысле левые, есть и правые, есть и какая-то середина. Живя за границей, где уже не действует то самое давление общего врага, люди начинают недооценивать необходимость терпимости, толерантности, начинают ссориться. И общая цель отступает на задний план. Я уже заметил по нашей эмиграции, что, живя в разных западноевропейских странах, люди начинают приспосабливаться к спектру здешних политических сил. И в то время как в Чехословакии произошел процесс сближения людей с разными убеждениями, здесь отчасти наблюдается тенденция к разъединению. Это надо как-то преодолевать. И если бы удалось на базе такого начинания, каким хочет быть «Континент», действительно создать и в политическом и в философском смысле толерантную демократическую группировку, это было бы очень полезно. Здесь еще много трудностей, но я лично готов помогать каждому, кто серьезно стремится к этой цели — стремится не из соображений политической тактики, а именно так, как мы в начале говорили: как к цели, которая содержит в себе человеческие ценности, что перспективно для будущего и для новых

поколений, которые в наших странах придут за нами.

Н. Горбаневская: Скажите, а в Чехословакии за эти годы удавалось ли вам видеть «Континент» или слышать от людей, что они его читали? Мы знаем, что «Континент» довольно хорошо попадает в Польшу, и понимаем, что с Чехословакией это гораздо труднее. Но все-таки?

З. Млынарж: Труднее, но попадает. Хочу сказать, что первый номер «Континента», с его слишком определенной концепцией, для очень многих людей в Чехословакии показался журналом односторонне ориентированным: единство формировалось на базе, которая давала, к примеру, не слишком много простора для убежденных социалистов и марксистов. В Чехословакии эта сила действительно существует, люди не притворно, а искренне ощущают себя социалистами или марксистами. И для этой силы в первых номерах «Континента» не было, с нашей точки зрения, достаточно простора. Но я думаю, что это можно устранить с развитием дела в целом, можно найти такую основу для объединения наших сил, которая принимала бы в расчет все имеющиеся демократически гуманные тенденции при полном равноправии, чтобы они могли сосуществовать друг с другом, преследуя общую цель — гуманистическую и политическую. И тогда, конечно, это нашло бы активную поддержку в Чехословакии.

В. Максимов: Мне понятно, что именно вызывало возражения и недоверие. Из всех пунктов редакционной программы — это пункт о религиозном идеализме. Но, тем не менее, мы сразу же ввели в редколлегию Джиласа, который представляет в ней марксистскую точку зрения, мы печатали Пьера Декса, Йосефа Смрковского. В целом вы всё же правы. Этот пункт

не без оснований некоторых насторожил, в том числе видных представителей чешской социалистической эмиграции. Но и нас, в свою очередь, насторожило такое априорное неприятие именно с их стороны. Я сразу же предложил этим критикам: давайте, если хотите — входите в редколлегию, представляйте свои позиции, у нас каждый член редколлегии имеет право предложить или отвергнуть материал. Любой марксист может выступить в журнале, и мы не исправляем ни запятой, оставляя за собой, конечно, право на ответ.

Н. Горбаневская: Запятые исправляем...

В. Максимов: Но, в общем, вы правы, и очень важно услышать критическое мнение от вас, от человека, который, во-первых, олицетворяет собой самые представительные круги социалистической оппозиции, а к тому же — только что оттуда, из Чехословакии. И ваши опасения мы обязательно учтем.

З. Млынарж: Я думаю, это вообще не предмет спора. Важнее, что само это начинание полезно для путей развития во всех наших странах и что этому надо помогать. Конечно, «Континент» один не может решить все проблемы, но он одна из сил, способствующих этому решению.

Н. Горбаневская: Я хотела бы задать еще один вопрос. После того как была составлена и подписана Хартия-77, появилось письмо большой группы советских защитников прав человека, в том числе академика Сахарова — в поддержку Хартии. Дошло ли до вас в Чехословакию это письмо или хотя бы известие о нем?

З. Млынарж: Да. Через иностранные радиостанции, конечно. То же самое было и с проявлениями

солидарности со стороны польских защитников прав человека, венгерских, румынских и т. д. И услышав об этом по радио — тут опять можно вернуться к началу этого разговора, — мы испытали чувство единства с людьми в наших странах, придерживающимися тех же позиций, и это чувство одушевило нас не только политически, но и человечески.

Н. Горбаневская: И последний, так сказать, стандартный вопрос: что хотели бы вы сказать русским читателям «Континента», вообще его читателям в Советском Союзе?

3. Млынарж: Чтобы они как можно внимательнее его читали и думали о том, что читают, для того чтобы в какой-то момент решить для себя по совести — что же следует делать.

Зденек Млынарж в 1946 шестнадцатилетним подростком вступил в Коммунистическую партию Чехословакии. В 1950 он был направлен на учебу в Московский университет и в 1955 закончил его юридический факультет, после чего тринадцать лет проработал в Институте права Чехословацкой АН. В 1968 он был одним из ведущих деятелей Пражской весны, соавтором Программы действий КПЧ и несколько месяцев (с 1 июня по 30 ноября) секретарем ЦК КПЧ. В этом качестве он был во время вторжения привезен из Праги в Москву для участия в «переговорах». Млынарж был едва ли не первым из тех, кто понял смысл надвигающейся нормализации и, не желая разделять ответственности за начинающееся отступление, осенью 1968 сам отошел от политической деятельности. В 1970 вместе с десятками тысяч других был исключен из партии. С 1969 года и до последних месяцев жизни в стране работал научным сотрудником в отделе энтомологии Народного музея. В январе 1977 в числе первых подписал Хартию-77, подвергся ряду репрессий (увольнение с работы, допросы, обыски, полицейский надзор) и в июне эмигрировал. Сейчас живет в Вене.

Специальное приложение

Публикуемое ниже открытое письмо Лидии Финкельштейн является ответом на статью В. Соловьева и Е. Клепиковой, напечатанную в номере «Нью-Йорк таймс» от 4 октября 1977 г. Авторы статьи утверждают, что правозащитное движение в СССР обречено и бессмысленно, и называют академика А. Д. Сахарова генералом без армии.

К сожалению, политическая безответственность В. Соловьева и Е. Клепиковой была немедленно и надлежащим образом использована: их статья помещена непосредственно под обращением А. Д. Сахарова к Белградскому совещанию, что не может быть ничем иным, как попыткой дискредитировать этот документ, имеющий огромное значение для правозащитного движения во всем мире.

Р е д.

Господа!

Ваша статья написана с соблюдением трех классицистических единств: места (Америка, «Нью-Йорк таймс»), времени (канун Белградского Совещания) и действия («отмена» и «закрытие» диссидентского движения в России). Жанр — некролог, стиль — парадоксы и максимы.

Я убеждена, что всё, что автор хотел сказать, заключено в его тексте. Поэтому я — сторонник текстологического анализа.

В вашем тексте говорится о том, что «диссидентство в России доживает свой короткий срок», что «пора, наконец, взглянуть правде в лицо» и признать «очевидное поражение» диссидентов и абсолютную победу КГБ. Заявив о своей причастности к диссидентскому движению, вы публично кончаете самоубийством и... всё же остаетесь настолько живыми, чтобы порисоваться на фоне собственных по-

хорон. Не свидетельствует ли это о своеобразном раздвоении личности? Знает ли ваша левая рука, которую вы «не можете протянуть из зрительской ложи павшему воину, генералу без армии, Дон-Кихоту, академику Сахарову», что делает ваша правая рука, пишущая эту статью? На одной и той же странице «Нью-Йорк таймс» Сахаров убеждает Запад в необходимости помнить о живой боли России, борется за каждого ее мученика, а вы уверяете, что мученики России не имеют к ней никакого отношения, и вообще они уже отмучились. И добавляете, что Россия вовсе не хочет, «чтобы для нее делали то, что она не может сделать для себя сама». Вы совершенно точно знаете, чего хочет Россия?

Вы усматриваете в упорном нежелании диссидентов «посмотреть правде в лицо» сходство с советской властью, которая тоже этого не умеет. Я думаю, вашей «правде» советские власти смотрели бы в лицо не отрываясь...

Сходство между диссидентами и партийной верхушкой вы видите также и в полном отчуждении их от народа. Ваш парадокс банален и заимствован из источников полувековой давности. Со времен Ленина, сказавшего те же слова о диссидентах XIX века — декабристах («Узок был круг этих революционеров, страшно далеки они были от народа»), многое изменилось. Революция всех свалила в один кипящий котел, размешала дубиной насилия и выварила в людской крови все бывшие иерархические традиции.

От почвы оторвана вся Россия, вместе с ее интеллигенцией и правительством. Диссиденты — это те, кто ищет твердую точку опоры в нашем новом беспочвенном мире. Не случайно они посвятили себя «защите прав человека». Ведь это — противостояние безличности, апелляция к самой устойчивой традиции человечества.

Партийные бюрократы хотят для себя устойчивости совершенно иного качества. Им важно удержаться, не сдвинуться с насиженного места. Чтобы усидеть сами, они готовы «посадить» полстраны, если понадобится.

Сейчас настали тяжелые времена. (Они, впрочем, всегда были тяжелыми. Сегоднешняя диктатура застоя ничуть не лучше вчерашнего агрессивного тоталитаризма.) Под ветром, дующим с Запада, что-то гнется и потрескивает в правительственном «аппарате», что-то расшаталось, и надо срочно «закручивать гайки». Это верный признак того, что советским правителям страшно. Вы согласны со мной? Если да, то почему именно в данный момент диссиденты должны посмотреть «в лицо правде» и увидеть в этом лице отражение собственной гибели? Действительно, «лицо правды» имеет тревожное выражение: за нее уже многих отправили в тюрьмы, изгнали из страны, залечили в психушках. Трудно даже представить себе, что случится, когда люди, страдающие за эту правду, узнают о вашем решении «отменить» русское демократическое движение!

По ком звонит ваш колокол?

*В Мордовии, Париже, Перми, Тель-Авиве и Нью-Йорке живут, мыслят, борются, любят и проклинают Россию ее лучшие, ее непокорные дети. Границ много, но мир — один! И те, кто приходят на смену ушедшим, теперь не одиноки, у них везде есть друзья. Не всё ли равно, где сказано слово истины: в «Континенте», лагерной листовке или на кухне академика Сахарова? Оно стало слышимым миру. Разве это не победа русских диссидентов?**

* Простите, но не воспользовались ли и вы плодами этой победы, получив такую великолепную возможность объявить о том, что никакой победы нет, на страницах одной из крупнейших газет мира?

Ваша «правда» имеет вашу же «изнанку», которую вы также пожелали предъявить русскому диссидентству. Вот он, ваш очередной парадокс: «КГБ — главный рассадник неконформистских идей и воспитатель диссидентов». По-вашему, отношения диссидентов и КГБ — это симбиоз, где паразитирующим организмом является... диссидентство. Дьявольски-хитрое КГБ играет с джином оппозиции, то приоткрывая, то затыкая горлышко бутылки. Так эта организация зарабатывает свой паек. Что ж, вы и тут рветесь в мальчики, которые кричат, что «король — голый». Но мальчики наивны, а вы — нет, и вам это зачем-то нужно. Зачем наделять КГБ демоническим обликом и даже творческой фантазией? Вы ведь прекрасно знаете, что это — заурядное казенное заведение, где чиновники так же безыдейны и бездарны, как во всяком другом советском учреждении. Не КГБ «придумало» диссидентов, и не КГБ их «упразднить». (Поскольку это пытаетесь сделать вы, возникает некая мысль... Нужно усилие, чтобы не поддаваться этой мысли и тем самым не определить ваши идеи как не совсем ваши. Усилие это нужно сделать для того, чтобы, подобно вам, не переоценить качество работы КГБ.)

Есть, однако, среди диссидентов, как и во всякой идейной группировке, люди из разряда игроков. Для них КГБ — и противник, и партнер. Как правило, несмотря на тщательно разработанную тактику поведения с КГБешниками, они проигрывают, так как им приходится играть на чужом поле. Эти люди напоминают неопытных картежников, честно состязающихся с профессиональными шулерами. От них, вероятно, и пошел слух о нечеловеческой прозорливости КГБ.

Из этого же ряда избитых парадоксов ваши рассуждения о том, что Россия имеет правительство, гораздо лучшее, чем она заслуживает. Дюжина урод-

ливых стариков, вцепившихся в свои кресла, это всё, что вы оставляете России? Посмотрите на их лица! Вы приговариваете свою страну к пожизненному заключению в одной камере с этими «креслочеловеками» и считаете, что приговор мог бы быть строже?

Вам этого мало. Вы и академика Сахарова считаете «слишком хорошим для России». И правительство, и Сахаров, и Пушкин, и Солженицын, и Петр I, и Ленин — все слишком хороши для этого странного народа, от которого все всегда далеки, который «милосердие принимает за слабость» и любое добро превращает в зло. Вы воздержались бы от большей части своих (и заимствованных) парадоксов, если бы не строили умозрительных историсофских концепций, а занялись бы простым наблюдением того, что происходит сейчас внутри России. Вы бы увидели тогда, что в народе растет угрюмая вражда к его правителям, что возникли мощные религиозные и оборонительно-националистические силы, что страдательный опыт подневольной жизни начисто лишил этот народ доверия к государству и его идеологии. Недаром нет более непримиримых противников коммунизма, чем те, кто знает, что он собой представляет в реальности.

Вы называете академика Сахарова «островом», «экзотическим теплолюбивым растением», описываете его беспомощность и одиночество, предсказываете ему «неизбежное фиаско». Наконец, вы сравниваете его с Дон-Кихотом, который сражается не с ветряными мельницами, а «с Молохом государства», и наделяете его чином генерала без армии. Это — ваша «правда».

А это — не ваша... СССР — гигантский материк, огромный сумасшедший дом за колючей проволокой. На этом материке — всё наоборот: администрация и «лечащий персонал» безумны, а пациенты — либо запуганы, либо сидят в смиренных рубаш-

ках. Связь с разумным человечеством держится только на таких людях, как Сахаров. И это — не простая телефонная связь, которую КГБ, конечно, в силах прервать в любую минуту (тут вы правы). Это связь общемирового нравственного родства. Сахаровские идеи, его моральная позиция, обаяние его стоицизма — это явление мирового масштаба, не требующее никакого «искусственного микроклимата, специальной заботы и подходящих условий». В том-то и сила этого человека, что он живет не в микроклимате, искусственно навязанном огромной стране. Он — нормальный. Он — не Дон-Кихот! Дон-Кихотом его объявили сумасшедшие! (Во время присуждения Сахарову Нобелевской премии советские газеты писали о том, что он «наивный прожектор, Дон-Кихот, генерал без армии». Вы повторяетесь.)

Вы цитируете французского путешественника Кюстина, заметившего из окна своего дорожного экипажа, что «милосердие в России воспринимается как проявление слабости». Если бы вы говорили о ненормальных наших правителях, которые «детант» трактуют как поблажку своему своеволию, я бы с вами согласилась. Но у вас речь идет о «приученном к террору народе» и о «дон-кихотском» милосердии Сахарова, которое воспринимается народом как слабость и вообще приносит «зло». Это — неправда! Нет более безусловно уважаемого в России человека, чем Сахаров. И давно уже русский человек ни на что не надеется в этом мире, кроме как на чудесного заступника и Богом посланного избавителя. И если не соблюдаются в стране законы, то как не желать хотя бы милосердия? И если столько лет творилось только зло, то кому в этой стране бояться добра? Генералом без армии Сахарова видят генералы с армиями. Народ терпит генералов, но верит только праведникам. А праведникам армии не обязательны,

у них есть добровольные последователи (и иуды, как водится).

Академик Сахаров получил премию как защитник мира. Так не мешайте же миру защитить своего защитника.

Сахаров, возможно, самая экзистенциалистская фигура нашего времени, самая трудная и благородная жизнь из всех жизней, которые сейчас живут на Земле. От того, будет ли понят этот человек, найдет ли он опору и помощь в мире, зависит многое, в том числе и способность одной части человечества сострадать другой. Неужели вы искренне считаете, что России это не нужно?

Ваша статья — это игра поверхностными парадоксами, за которыми скрыто что-то очень темное и циничное. Не вам объявлять о гибели русского диссидентства, не вам решать, что хорошо, и что вредно для России. Ведь вы ее предали анафеме.

Оставайтесь в своей зрительской ложе и никому не протягивайте руки. Руки очень нужны, но не «умывные», а — чистые.

Лидия Финкельштейн

10 октября 1977 г.

Далее мы приводим полный текст «Обращения к Белградской конференции» А. Сахарова, а также его письмо в «Нью-Йорк таймс» с припиской Е. Боннер. Пользуясь случаем, уведомляем наших читателей, что уважаемая газета, не утруждая себя какими-либо объяснениями, отказалась напечатать письмо Нобелевского лауреата.

Парламентарам всех стран, подписавших Заключительный Акт Конференции в Хельсинки

ОБРАЩЕНИЕ

2 года назад подписан Заключительный Акт Конференции в Хельсинки. Его историческое значение — провозглашение неразрывной связи международной безопасности и открытости общества, т. е. свободы передвижения людей через государственные границы, свободы информационного обмена, свободы убеждений.

Готов ли Запад защищать эти высокие и жизненно важные принципы? Или он готов постепенно и поэтапно, втихомолку принять ту трактовку принципов Хельсинки и разрядки в целом, которую стремятся навязать руководители СССР и Восточной Европы?

Что принципы Хельсинки придется защищать, было ясно с самого начала. Советские и восточноевропейские представители всегда пытались нейтрализовать гуманитарные статьи Соглашения в Хельсинки ссылками на принцип невмешательства во внутренние дела других стран. Эти ссылки на самом деле неуместны, противоречат Уставу ООН, Пактам и Декларации о правах и самому Акту, когда речь идет о нарушениях прав человека, принятых международных норм гражданских свобод, открытости общества.

В то же время СССР и другие социалистические страны считают допустимой самую беспардонную кампанию по поводу реальных или мнимых нарушений прав человека на Западе.

Такое одностороннее понимание разрядки не ограничивается словами (я пишу при этом только о том, что имеет отношение к правам человека). Каждый человек, отбывающий заключение в аду современного ГУЛага за свои убеждения и критические высказывания,

каждая жертва политических психиатрических репрессий, каждый, не получивший разрешения на эмиграцию или поездку, — это прямое нарушение соглашений в Хельсинки.

Я напоминаю тут о преследованиях за религиозную деятельность, об отказе на эмиграцию пятидесятникам и баптистам, многим немцам и евреям, людям других национальностей, о репрессированных за их гуманную и законную деятельность Ковалеве, Глузмани, Винсе, Романюке, Солдатове, Огурцове, Семеновой, Сергеевко, Кийренде, Осипове, Суперфине, Гаяускасе, Черноволле, Рубане и сотнях других; я напоминаю о страдающих за попытку покинуть страну. Чрезвычайно тревожный факт — репрессии за сбор и публикацию материалов о нарушениях гуманитарных статей Соглашения в Хельсинки, за организацию групп содействия выполнению Соглашения в Хельсинки и членство в них.

Чудовищно жестокие приговоры Руденко и Тихому, вынесенные при нарушении гласности и права на защиту, арест Орлова, Гинзбурга, Шаранского, Мариновича, Матусевича, Гамсахурдия, Коставы, Серебровва, Пяткуса, ссылка М. Ланда — не просто очередное нарушение права на свободу убеждений, а вызывающий акт со стороны советских властей, испытание твердости Запада в защите провозглашенных в Хельсинки принципов. Игнорировать этот вызов означало бы тихую капитуляцию перед шантажом. Вероятно, не нужно пояснять, что это имело бы далекоидущие негативные последствия во всех без исключения аспектах взаимоотношений Востока и Запада, в том числе в основных вопросах международной безопасности.

Я считаю, что парламенты Западных стран должны настаивать на таких инструкциях делегациям на открывающемся в Белграде совещании, которые исключили бы подобную капитуляцию. Необходимо настаивать на немедленном освобождении осужденных и

арестованных за критику, на пересмотре несправедливых приговоров (включая приговоры Руденко и Тихому), на облегчении эмиграции и поездок, на свободной продаже издаваемых за рубежом книг, газет и журналов — в качестве условия успешного проведения и завершения Белградской Конференции.

Я особо обращаюсь к Конгрессу США. Президент США, опираясь на огромную мощь и влияние этой страны, опираясь на ясно выраженную волю и традиции свободолюбивого народа, провозгласил защиту прав человека во всем мире моральной основой политики США. Сейчас необходимо активно поддерживать эти принципы.

Сейчас мы переживаем такой момент истории, когда решительная поддержка принципов свободы убеждений, открытости общества, прав человека является абсолютной необходимостью. Альтернатива — капитуляция перед тоталитаризмом, потеря всех ценностей свободы, политическая, экономическая и нравственная деградация.

Сегодня Запад, его политические и идеологические руководители, его честный и свободный народ могут не допустить этого.

3. 10. 1977

*Андрей Сахаров,
лауреат Нобелевской премии Мира*

Главному редактору газеты «Нью-Йорк таймс»

Копии: Редакции «Геральд трибюн».
Редактору передач на СССР Голоса Америки

27 сент. 77 я передал корреспонденту Вашей газеты текст моего «Обращения к Парламентам всех стран, подписавших Заключительный Акт Конферен-

ции в Хельсинки» для публикации в день открытия конференции в Белграде. Я был рад, что эта публикация состоялась, рассматривая ее как выполнение моего и Вашего долга по отношению к защите прав человека. Естественно, подобный текст должен быть опубликован в точном соответствии с оригиналом. К сожалению, в публикациях в «Нью-Йорк таймс», «Геральд трибюн» и в передаче Голоса Америки на СССР содержатся существенные изменения текста, которые не были согласованы с автором Обращения. Публикации и в этом виде имели определенное положительное значение, но оно оказалось сильно ослабленным. Я прошу опубликовать в названных газетах и по радио это письмо, содержащее необходимые исправления.

1. Восстановить мое заглавие. В газете: «Односторонний взгляд Москвы на права». Я писал не статью для газеты, а «Обращение» к парламентам, имеющее определенного адресата и требующее определенной реакции. Уместно упомянуть, что текст «Обращения» был лично передан мною в посольства 8-ми стран-участниц Хельсинки. Это было необычное в наших условиях действие.

2. Мой текст: «Я особо обращаюсь к Конгрессу США. Президент США, опираясь на огромную мощь и влияние этой страны, опираясь на ясно выраженную волю и традиции свободолюбивого народа, провозгласил защиту прав человека во всем мире моральной основой политики США. Сейчас необходимо активно поддерживать эти принципы». В газете якобы от моего имени написано: «Я особо обращаюсь к Конгрессу США и к Президенту Картеру, поддержанным мощью и влиянием страны, ясно выраженным мнением и традициями свободного народа, объявить защиту прав человека во всем мире основой моральной политики США». Т. е. призыв к действиям заменен призывом к повторным декларациям. Я считаю такое обращение

с моим текстом совершенно недопустимым, искажающим его политический смысл.

3. Восстановить мой текст (с незначительной правкой, отмеченной подчеркиванием): «Я напоминаю тут о преследованиях за религиозную деятельность, об отказе на эмиграцию пятидесятникам и баптистам, многим немцам и евреям, людям других национальностей, о репрессированных за их гуманную и законную деятельность Ковалева, Глузмана, Винсе, Романюке, Солдатове, Огурцове, Семеновой, Сергеевко, Кийренде, Осипове, Суперфине, *Гаяускасе, Черноволе, Рубане* и сотнях других; я напоминаю о страдающих за попытку покинуть страну. *Чрезвычайно тревожный* факт — репрессии за *сбор и публикацию* материалов о нарушениях гуманитарных статей Соглашения в Хельсинки... Чудовищно жестокие приговоры Руденко и Тихому, арест Орлова, Гинзбурга, Щаранского, Мариновича, Матусевича, Гамсахурдия, Коставы, Пяткуса, Сереброва, ссылка М. Ланда — не просто очередное нарушение права на свободу убеждений, а вызывающий акт советских властей, испытание твердости Запада в защите провозглашенных в Хельсинки принципов.» В газете опущены все фамилии, кроме пяти фамилий членов Хельсинкской группы, и недопустимым образом искажен общий смысл абзаца. Борьба и страдания Ковалева и других, упомянутых мною, заслуживает более уважительного отношения. Мы здесь убеждены, что упоминание в прессе и по радио конкретных людей очень важно, имеет реальный практический смысл. Любой западной редакции доступны материалы об упомянутых мной и других инакомыслящих (напр., они есть в издательстве «Хроника-Пресс», Нью-Йорк). При желании прокомментировать мой текст, сделать это очень легко. Сейчас, в дни Белграда, политзаключенные СССР проводят голодовку, борясь не за себя, а за принципы, которые дол-

жны быть дороги всем свободолюбивым людям. Будем достойны их!

Я придаю исправлениям допущенных искажений принципиальное значение. Подобные эпизоды с публикациями моими и других диссидентов происходят слишком часто. Мы здесь ведем трудную борьбу за гласность, сопровождающуюся тяжелыми жертвами. Недопустимо, когда искажение наших голосов, так трудно доходящих до Запада, лишает нас, хотя бы частично, плодов этой борьбы.

15. 10. 1977

С уважением

Андрей Сахаров

В ГАЗЕТУ «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»

*Главному редактору, всем сотрудникам
и в первую очередь тем, с кем я знакома.*

Сегодня я получила от мужа письмо в вашу газету от 15/Х. Я улетаю в Москву и не знаю, в каком состоянии застану своих близких.

Вы искажаете текст «Обращения» Андрея Сахарова. Вы как комментарий печатаете статью двух эмигрантов, получивших возможность выехать благодаря деятельности Сахарова и тех, кто гибнет в советских лагерях или убивается в нашем «свободном» обществе.

Вы считаете себя частью свободной прессы и присваиваете себе право исказить авторов. И при этом считаетесь одной из самых уважаемых газет мира!

Что же стоит за вашей уважаемостью? Узкое политиканство, стремление быть в модном русле

некоторой оппозиции ко всему, что сказано не вами, полуобман своего читателя?

Сегодня Сахаров под обстрелом не только со стороны советского государства, но и с вашей стороны, потому что каждое умолчание о том, что с ним происходит, каждое искажение его слов — это убийство и человека, и идеи — идеи вашего демократического государства, идеи Прав Человека.

Так что же, кроме респектабельности, стоит за вами? И стоит ли за ней — этой респектабельностью — нравственность, гуманизм и разум?

21/XI-77

Елена Боннэр-Сахарова



22 сентября после длительного обыска был арестован у себя на квартире в Киеве писатель Гелий Снегирев. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Гелий Снегирев — в свое время автор журнала «Новый мир», а теперь и нашего «Континента», — не только талантливый писатель, но и бесстрашный человек, позволивший себе во всеуслышанье обвинить советское государство во лжи и обмане. Он отказался от советского гражданства и возвратил свой паспорт. Этого оказалось достаточно, чтобы пожилого, больного человека лишить свободы.

Мы призываем всех объединить свои усилия, чтобы добиться свободы для Гелия Снегирева — человека, избравшего путь, единственно достойный настоящего писателя, — путь борьбы за правду.

*Расширенная конференция
редколлегии журнала «Континент»*

ФОНД «АССОЦИАЦИИ ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

Основан Фонд «Ассоциации друзей журнала «Континент» Средства этого Фонда будут использоваться в соответствии с целями и практикой, провозглашенными в редакционной декларации в первом номере настоящего периодического издания, то есть на расширение его дальнейшего финансирования, пропаганду его идей, а также в целях оказания материальной и моральной помощи деятелям культуры России и Восточной Европы.

В правление Фонда вошли:

Раймон Арон, Джордж Бейли, Корнелия Герстенмайер, Дональд Джеймсон, Эжен Ионеско, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Виктор Некрасов, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Лейф Ховельсон, Иозеф Чапский, Карл-Густав Штрём.

Взносы направлять только через банковский счёт по адресу:

«Les amis de la revue «Continent» compte 3.726130.8
Société Générale, Agence AG
45 avenue Kléber Paris 16 France